

PA1273880



Нина Веселова
Годовые кольца

Областной
Библиотеке
от автора
с надеждой
на издание
книжки...

ДЗ

29.6.98

Нина Веселова

ГODOVЫЕ КОЛЬЦА

роман



Вологда 1997

«ГОДОВЫЕ КОЛЬЦА» - первая часть большого романа-исповеди Нины Веселовой, носящего общее название «Я»

От автора

Я не хотела бы вводить в заблуждение будущих читателей и придумывать для своей книги броский заголовок, предвещающий заманчивое чтение. Она - далеко не детектив, и если есть в ней увлекательность, то скорее психологического, нежели логического свойства. И неяркое с виду название, на мой взгляд, наиболее полно отражает ее истинное содержание. Я рассказываю о становлении собственной души, о взрослении ее, сопряженном с жизненным опытом и возрастом. Именно так - новым годовым кольцом - ставит время отметины на стволе дерева. И на сердцах наших.

Книга моя менее всего повествует о событиях, хотя и о них тоже. Однако события - лишь фон, на котором идет столкновение с разными человеческими типами и характерами и происходит восприятие или отторжение тех или иных жизненных взглядов. Рассказать об этом я стремилась предельно искренне, вот почему повествование имеет подзаголовок «роман-исповедь».

Долгие годы вынашивая этот замысел и, наконец, на пороге сорокалетия перед листом бумаги оглянувшись на пройденный мной путь, я в сомнении подумала вот о чем: а может ли мой личный опыт быть интересен кому-то, кроме меня и моих близких? И ответила себе: да. Все проходят путь становления, разве что с иными подробностями. И такое исследование, на мой взгляд, стократ полезней самого захватывающего детектива. Ведь как ни крутись, как ни уходи от этого, а всех людей на свете обычно волнует один единственный вопрос - о собственной недолговечности. Долгие годы с молодыми почти не говорили об этом, предлагая им жить в бурном, лишенном тишины и раздумий мире развлечений. Однако душа человеческая, как ни тягостны ей потрясения, стремится к ним и только ими очищается. И возвысить ее не может ничто другое, кроме осознания конечности земного бытия и неизбежных вопросов о том, ЗАЧЕМ все и КАК надо жить.

Именно ими старалась я пронизать все свое повествование. И не нарочно, а потому, что эти вопросы действительно мучили меня на протяжении четверти века. Ими жили все, с кем сводила меня судьба. Вот почему книга моя - это низжайший поклон тем, кто опытом своим лепил меня и мою душу, тем добрым и честным людям, порядочность и совестливость которых до недавнего времени считалась чуть ли не глупостью, а в лучшем случае чудачеством. Формировали меня в основном люди, по нынешним меркам, малообразованные. Но у них была чистая и светлая душа, и они без дипломов знали, что такое хорошо и что такое плохо, и не умели, в отличие от некоторых «грамотных», поступать не в согласии со своим сердцем.

Среди множества поклонов, отвешенных своим предкам и землякам современными писателями, я не боюсь показаться неоригинальной. У всех нас в детстве и юности, на заре разума и чувств, все - похожее, но и - свое, неповторимое. Не имея этого своего, личного, не охраняя его, мы никогда не поймем, не оценим и того общего, чем силен и жив наш - как и

всякий другой - народ. И это мне особенно ясно теперь, когда наконец публично начали возводить в ранг добродетелей то, что прежде мне как журналисту и человеку приходилось яростно защищать. Не всегда я выступала защитницей разумно и не всегда могла объяснить, почему надо жить и поступать так, а не иначе. Просто и н а ч е не принимала душа моя, и я знала, КАК надо, - знала не умом, а интуицией, памятью сердца, памятью предков.

Сегодня на наших глазах уходят из жизни последние носители корневой нравственности русского народа, уходят деревенские старухи, благодаря мужеству и великотерпению которых мы выстояли не только в войну и в годы безвременья, но живы еще и сегодня. Кем мы будем без них? Сможем ли полностью или частично воспринять тот урок, который они преподавали нам своими судьбами? Об этом думала и думаю я, вглядываясь в лица тех, кто стоит на пороге небытия. Я знаю: они стоят рядом с нами не просто так, а для того, чтобы душа наша, плача, трудилась, и очищалась, и возвышалась...

Именно такого воздействия своей книги желала бы я. Ведь чем раньше страдание и сострадание станут необходимыми для молодых людей, тем больше у нас надежды на всеобщее выздоровление и возрождение. Столько у выходящих сегодня на самостоятельную дорогу дешевых соблазнов уклониться в сторону, позабыть, от кого мы родом!.. И если большинству уже не посчастливится в жизни встретиться с такими людьми, о которых я рассказала, пусть они познакомятся с ними хотя бы на страницах романа.

Нина Веселова

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Нина Павловна Веселова родилась в Ленинграде в 1950 году. Закончила Ленинградский университет, факультет журналистики. Жила и работала в Вологде - в газете "Вологодский комсомолец", затем училась на Высших сценарных курсах в Москве. Автор сценариев документальных фильмов "А жизнь короткая такая" ("Леннаучфильм", реж.Ю. Половников), "Годовые кольца" (Центральная студия документальных фильмов, реж. Ю. Половников).

Организовала и провела совещание пишущих женщин Северо-Западного региона в Вологде в 1990 году. Широко публиковалась в областной печати, а также в газетах "Литературная Россия", в журналах "Советская женщина", "Север", "Наш современник", "Дружба народов", "Друг", "Памир", "Сибирские огни", в альманахах "Поэзия", "Мария", "Свеча". Автор многих неопубликованных рукописей в различных жанрах.

ГODOVЫЕ КОЛЬЦА

роман-исповедь

«Сын мой! в продолжение жизни испытывай твою душу и наблюдай, что для нее вредно, и не давай ей того; ибо не все полезно для всех, и не всякая душа ко всему расположена».

Ветхий Завет, Сирах, 37: 30-31

«Мы склонны забывать, что писатель, в сущности, всегда говорит от первого лица. Я не говорил бы так много о себе, если бы знал кого-нибудь другого так же хорошо, как знаю себя. Недостаток опыта, к сожалению, ограничивает меня этой темой. Со своей стороны, я жду от каждого писателя, плохого или хорошего, простой и искренней повести о его собственной жизни, а не только о том, что он понаслышке знает о жизни других людей».

Генри Дэвид Торо, «Уолден, или Жизнь в лесу»

«Человека не стало. Всю ночь я лежал потом с пустой душой, хотел сосредоточиться на одной какой-то главной мысли, хотел - не понять, нет, понять я и раньше пытался, не мог - почувствовать хоть на миг, хоть кратко, хоть как тот следок тусклый, - чуть-чуть бы хоть высветлилось в разуме, в душе ли: что же это такое было - жил человек...»

Василий Шукшин, «Жил человек»

ВСТУПЛЕНИЕ. УРАНОВЫЙ ВОЗРАСТ

Еще вчера мне не хотелось жить. Лежала, глядя в потолок, и горько думала; как рано кончается все на свете! Ни работы, ни борьбы, ни любви - ничего мне уже не надо. Даже - покоя. И суeta наша - бессмысленна. И исправить в этом мире ничего нельзя. А потому - стоит ли пребывать в нем после того, как ты понял эту печальную истину?

Говорят, что подобное случается к сорока годам почти со всеми. Планета Уран завершает полцикла индивидуального гороскопа и доходит до места, противоположного тому, в котором была в момент рождения человека. Поэтому он и прозревает, и начинает видеть настоящую цену своих достижений. Хорошо, если они есть. А когда - пусто? Страшно... Так бывает и около тридцати. Тоже из-за какой-то планеты. А потом - во второй и последний раз - к сорока. В эти моменты человек может либо сотворить себя, либо - сломаться. Все зависит от его внутренних сил.

Есть ли они у меня? Не знаю... Но не хочу верить, что иссякли окончательно. Не я ли для себя была надеждой? Не я ли почти коснулась же-

ланных небес?!...И вот - лежу, тускло глядя в потолок и бичуя себя последними словами. Доигралась! А все потому, что забыла житейское напутствие отца: «Смотри, дочка, не залетай высоко - оттуда падать больно!» Все равно рванулась! И поделом теперь. Доживай неудачницей. Да-да, именно так! И лучше самой себе сознаться в этом, нежели очнуться от злорадного шепота за спиной. А время застоя - оно тут не при чем, как бы ни было заманчиво сослаться на него. Кому дано было Богом - тот свое сделал. А я - я просто хотела ухватить чужой куш. Хотела славы. Разве не так? Почета!..Оглянуться не успела, как приходится уступать место молодым. И не только в деле, но и под солнцем: закон жизни. А уйти туда, откуда пришел, всегда лучше пораньше. Может, еще пожалеет и всплакнет кто...

Вчера, всего лишь вчера я думала так! И нешутейно перебирала в памяти всех, кто почему-либо самостоятельно сводил счеты с жизнью. Нет, меня совсем не прельщал такой исход. Но и другого я не видела. И вдруг...

И вдруг я поняла, что надо делать. Я поняла! И все в мире мигом встало на свои места. Хотя, конечно, не вдруг. Долго мне было трудно. И об этом не скажешь одной фразой - смешно и парадно она прозвучит. А потому всех, кто захочет понять, отчего так поет во мне сладкая боль моя, я приглашаю в долгое путешествие по прожитым мною годам. Я не обещаю в нем изысканной завлекательности, зато полную искренность гарантирую.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЗАВЯЗЬ

Итак, зачали меня в 1949 году я Ленинграде. Именно в этот город в поисках лучшей доли приехали мои будущие родители. Приехали, покинув свои деревни, мать - под Тверью, отец - под Костромой. Папа закончил школу фабрично-заводского ученичества, в память о которой у нас до сих пор хранится форменный ремень; им не раз в свое время учили жить меня, а я, какаясь, свою дочку... После ФЗУ отец пришел на завод обрубщиком металла. Мать моя до знакомства с ним работала трамвайным кондуктором. Узнав об этом, я навсегда стала равнодушной к трамваям. Ведь там, в дребезжащем вагончике, и случилась встреча, повлекшая за собой мое появление на свет...Летом 1949-го за круглым столом Веселов Павел Николаевич и Сысоев Этолия/Евстолия/ Корниловна втроем /была еще мамина мама/ отметили рождение новой семьи. А в апреле 1950-го мир принял в свои пленительные сети восторженную меня.

Жизнь каждого из людей - такой многолюдный и волнующий роман, что из нее вполне можно вычленить несколько самостоятельных сюжетов. И чтобы мне не заплутать в ее дебрях, я возьму здесь пока одну только ветвь, однако - самую плодоносящую. Пусть сначала этот побег не покажется вам недостойным внимания: он зацветет и зазеленет, когда настанет тому срок. Надо лишь потерпеть и довериться. Ведь задача моя - отнюдь не выделить свою судьбу. Она типична, и я мечтаю помочь таким же заблудшим, какой до вчерашнего дня была сама...

До десяти лет я жила в Ленинграде на знаменитой Обуховской заставе, в окружении заводских труб и рабочего класса. Рядом с нашим домом беспрестанно чадил мыловаренный завод, неподалеку надрывался гудками вагоноремонтный, а в полчасе езды высились корпуса отцовского литейного. По утрам, едва замолкал по радио Гимн нашей страны, меня с братом сонных вытаскивали из постели, облачали во что-нибудь и волокли на трамвай. В

вагончике, зажатые меж людских коленей, мы покачивались в такт движению и досыпали свое. Детский сад так и остался в нашей памяти самым ненавистным воспоминанием...

Жили мы в ту пору в коммунальной квартире, шумно и не всегда дружно. В нашей комнате на 16 квадратных метрах утились 8 человек, кроме нас еще семья маминой сестры - получалось четверо взрослых и четверо детей. Все было заставлено шкафами, столами и кроватями. Только ребята могут находить в подобном прелесть, взрослым - понимаю теперь - было тошненько. И отец отважился строить свой дом. В ту пору на окраине Ленинграда многим выделяли участки, их цеху выделили тоже. Помню, как на нашей земле появилась временка, потом - фундамент, а незаметно и дом - из кирпича, чужой и гулкий, пока его не заполнили вещами... Таким образом, с десяти лет я поселилась не то в Ленинграде, не то в деревне, от которой сравнительно недалеко было до Невского проспекта. Теперь в этих местах кварталы высотных домов, толпы людей. А поначалу простирались пустые поля, не засаженные даже картошкой, и по ним гуляли коровы. Основная моя обязанность заключалась в том, чтобы собирать навозные лепешки для удобрения нашего огорода. На нем росло все, что может произрастать в северных широтах благодаря трудолюбию вчерашних крестьян, коими были мои родители.

Однако во всем остальном я жила типичной городской жизнью. По выходным мы ездили по музеям и паркам, ходили в кино и в цирк, смотрели по праздникам салюты на Дворцовой площади. На елках я не раз бывала в городском Дворце пионеров, а в заводском пионерском лагере нас, случалось, подкармливали красной икрой. Так что жизнь была не из худших, хотя иногда нам и приходилось дома заменять сливочное масло маргарином. Но ведь то бы настоящий маргарин!..

Когда пришло время выбирать себе дорогу, я прямехонько направилась в университет. Оценки в аттестате это позволяли, а учителя давно мне прочили карьеру журналиста. Правда, на дневное отделение подать документы я не успела - ждала, когда в газете «Ленинские искры» напечатают мою первую заметку. Зато месяцем позже меня с радостью приняли на вечернее. А два года спустя, имея хорошую зачетку, я перевелась на дневное. Вот там и началось то, о чем я хочу рассказать.

...В том ноябре 1969-го лил и лил нудный холодный дождь. Что это такое, знают только ленинградцы. Ночь напролет потоки барабанили по шиферу на нашей крыше, били по листьям малинника в саду, переливались через края бочки у крыльца. По утру я с тоской выходила в промозглость, добредала до электрички и втискивалась в душное чрево вагона. Накрашенные дамы болтали о тряпках, сытые мужчины благоухали одеколонами. Как тошно мне было в этой беспроектной сырости, в этой бредовой давке! Толпа выносила меня на Невский, она же заталкивала в троллейбус, а затем выплевывала на набережной, как лишний груз. И все это ежедневно, четко, бесстрастно. Кто я, зачем и откуда, было неважно. Песчинка в потоке кому заметна? Исчезла - и ладно, достанет других. Но можно ли в юности смириться с этим без боли? И я страдала, как страдает каждый, пока он еще не любим. Я стала сомневаться во всем, что когда-то ценила. И прежде всего - в себе. Доходило до абсурда. Я боялась, что меня остановят и спросят: а вы почему на факультете журналистики? как вы туда попали, если ничего не знаете о жизни? есть ли у вас право писать? да и

потребность - есть ли?

Ах, когда бы я знала, что не одна я потерянна и не ведаю, что дорого мне в жизни и к чему лежит мое сердце! Быть может, мне было бы теплее. Но я боялась своих однокурсников. Модно одетые, с сигаретами, они то и дело щеголяли видными именами и знакомствами. Мне же кивали сдержанно и свысока, не допуская до себя. *«Мы бессмысленно толпимся, присматриваемся друг к другу и ведем умные разговоры, - прочитаю я через десять лет у Василия Макаровича Шукшина про его ощущения от вступительных экзаменов во ВГИК. И запоздало удивлюсь и обрадуюсь общности наших чувств! - Лица наши хотят выражать спокойствие и зрелость мысли. Мы очень самостоятельные люди и всем своим видом показываем, что мы родились для искусства...Каждый знает, что он талантливее других, и доказывает это каждым словом, каждым своим движением...»*.

Как нужны были мне эти слова в слякотную осень 1969-го! Но - никто не помог мне тогда обрести себя, никто не поспешил убедить, что пришла я в этот мир на зря. И я жила тенью, равно готовая быть и - не быть... И все-таки случалась у меня изредка радость: занятия по стилистике русского языка. Мне так нравилось копаться в словарях, сравнивать оттенки слов, узнавать новые их значения! В такие минуты я чувствовала себя человеком.

И вот однажды нас попросили дома написать небольшой рассказ.

- О чем? - насторожились мы.

- О чем угодно, лишь бы вам было интересно писать, а нам - читать!

- А какая цель?

- Узнать ваши способности...Только не забудьте - слова надо выбирать самые необходимые, единственные!

Поисчем!! Кровь хлынула к моей голове. Так бывало в детстве, когда я тянула я классе руку, зная правильный ответ. Вот и теперь я поняла, что спасена. Как, чем, от чего, я не могла бы сказать. Но ожидание чего-то огромного и важного поселилось во мне и согревало несколько дней. Я себя не торопила - знала, что тема и слова могут придти в последний миг.

Но вот последний день наступил. А я так ничего и не написала. С камнем на сердце я возвращалась в тот вечер домой. Прижалась в электричке лбом к окну, глядела, как бьются о стекло мокрые хлопья снега, и желала уехать в теплом вагоне куда-нибудь далеко-далеко, где не будет этой звериной беспросветной тоски.

Снег сопровождал меня и на улице. Он валил и тут же таял. От порывов ветра качались лампы на столбах, и вместе с ними металась во тьме желтые пирамиды света. Я избегала попутчиков - хотелось молчать и поскорее забиться в постель. Я воображала, что понимаю, как чувствуют себя осужденные накануне казни. Этот день еще надо было дожить, но - зачем?

Мое отчаяние было не зряшным. Во всех своих записных книжках я не нашла ни одной пометки, которая отозвалась бы в моей душе: все они были следами наивных неглубоких переживаний. А мне-то казалось, что я являю собой нечто необыкновенное! Это был крах...

Впрочем, я нашла один сюжетец. Про старушку. Я не раз встречала ее в кафе-булочной на Невском. Она была лицом белая, точно мраморная, и сильно пахла пудрой. Ей всегда без очереди подавали в трясущиеся руки одно и то же: два стакана чая и две булочки. Она садилась за стол в уголке и там, не торопясь, съедала свой завтрак. А может, обед. И так же молча, лишь кивнув продавцам, исчезала. Я не смела спросить у работниц булочной,

кто она. Оставалось гадать. Старая дева? Вдова? Мать, потерявшая всех в блокаду? Блаженная, питавшаяся крохами, как птицы небесные?...Я чувствовала, что могу пофантазировать на эту тему, поискать яркие слова, нагнести страсти. Я и готовилась это сделать. Но я знала заранее, что это не то. ~~Что~~ не то! Не от этого предчувствия возликовало недавно мое сердце. И опять мне становилось страшно от безысходности.

В доме у нас света не было - все спали. Я тихо разделась, нашла на плите остатки ужина, нехотя поела и скрылась в своей комнате. На столе я заметила письмо с пляшущими закорючками. «От деда», - подумала тепло, но равнодушно: это был голос из другой, меня не касавшейся жизни. А в моей все было тускло, и не хотелось ничего, кроме как поскорее забыться. Я принялась разбирать постель.

В нашем каменном доме постоянно жила сырость. Обои в углах чернели в первую зиму после оклейки, а двойные рамы замерзали даже изнутри. Когда печи нагревались, лед на стеклах оттаивал, и вода стекала на подоконники. Приходилось то и дело отжимать лежавшие там тряпки. Из-за этого мы не раз ругались с отцом. «Вам бы только в кино да книжки читать, а дома хоть трава не расти! - ворчал он, выкручивая над раковиной старые чулки и полотенца. - Все на бабу с маткой надеетесь!» Это была правда, но выслушивать ее в сотый раз было противно. Мать старалась предупредить ссоры и сделать все сама. Но находились другие причины для упреков. По весне, например, нам с братом некогда было выйти в огород - экзамены на носу. И отец включал другую, тоже до боли знакомую пластинку. «Такие- рассякие, да я в ваши годы...» - «Знаем, - сдерживаясь, отвечали мы, - ты с тринадцати лет пахал и был оставлен в войну за бригадира. Но ведь было другое время!» - «А вы теперь ученые слишком, боитесь ручки замарать!» И так до бесконечности...

Чего не вспомнится в печальную минуту, когда нырнешь под одеяло, сожмешься комочком и пытаешься заснуть! Можно было налить грелку, но вода на плите едва теплая, а на керосинке греть долго. Да и забрякаю... Когда-то у нас была электрическая грелка, с ней и спали. Но однажды я проснулась от запаха гари: она тлела у моих ног! Слетев с постели, я выдернула вилку и стала мочить грелку в пустом тазу... Поднялись родители. Словом, было суматохи. С тех пор не покупаем такого добра и другим не советуем. Мать надевает на ночь носки, а у меня кровь молодая, и так согреюсь. Конечно, если бы сейчас на русскую печку, дело пошло бы веселее, - и спине уютно и хорошо, как в детстве на руках, и душе радостно. Но такие печки только в деревне...

И вот тут я вскочила. Ведь я не прочитала письмо от стариков! Это надо ж!.. Включив лампу, я поразглядывала веселую летнюю картинку на конверте и вытаскила двойной листок в клетку. Исписана была, как всегда, лишь половина его, другая предназначалась для ответа.

«Привет изпочинка вленинград здравствуйте дорогие детки дорогой сын Павел и дорогая наша сношка Тося и мнучата Нина и Коля, - прочитала я. И вдруг так обрадовалась, как если бы я безжизненным декабре выглянуло весеннее солнце! - Спасибо дорогой мнучек за письмо вседаки низабыл известил стариков. Сердечно благодарим затвое сознание уведошил что кончаешь учебу в техникуме дай Бог успехом завершить начатое дело еще хорошо постарайся здати напять чтобы быть нипоследнему...»

Что же сделали со мной корявые строки?! Я улыбалась.

«Спасибо Павлик записью и запоздаление пишешь что чувствуешь себя ничего слава Богу мы очень этому рады Или може скрываете ни хочешь выяснить чтобы ни растраивать нас пиши все чисто сердечно ни скрывай...»

Конечно, скрывает отец, думала я. Как-никак, инвалидность, целый год просидел на второй группе, только-только выпустили на работу с третьей. А силикоз ведь никуда не делся, легкие все равно в металлической пыли, всю жизнь придется по диспансерам бегать. Но какой смысл писать об этом старикам, у которых еле душа в теле?

«Ну вот и мы вседаки бродим и matka бродит и надвор ходит по памяти одилит скотину и поросенку унесет хотя с трудом вот как дождемся ваших писем сразу и оздоровляем».

Я представила, как дед высматривает в окошко почтальонку, как выходит на крыльцо и глядит ждуще: только газетку принесла или письма есть? А дома бабка слепо заглянет ему в лицо.

- Нету! - огрызнется он. - Пишут еще!

И оба разбредутся по своим углам...

Я выключила свет и легла.

Пожалела! А сама сколько времени не писала? То лекции, то контрольные, то экзамены, то свидания. Десять минут не выкроить для стариков. А ведь когда-то, уезжая из деревни, я клялась, что буду писать им каждую неделю!

Я снова поднялась и прокралась в комнату к брату. Там открыла шкаф - дверцы коротко скрипнули - и, не дыша, нащупала наш старый альбом. Брат перевернулся на другой бок, но не проснулся. Зато в прихожей я столкнулась с отцом.

- Явилась? - буркнул он, чиркая спичкой. - Где опять шастала?

Я смолчала и торопливо шмыгнула к себе.

- Ела? - спросил он вслед.

Усевшись в постели, я дрожащими руками открыла альбом. Вот, вот эти снимки! Вот сани, а в них в тулупе лежим мы с братом, совсем маленькие. Наверное, по дороге со станции. В те годы автобусы еще не ходили, и к поезду ездили на лошадях. Дед всегда встречал и провожал нас сам. Мне кажется, я помню, как с сосен сыпался нам на лица снег, а зеленые ветки бежали и бежали по небу... А вот раскидистый калиновый куст. В углу дедушкиного сада. Он в облаке цветов, а под ним - все мы, ветви и веточки от стариковского ствола... А вот и сами старики возле дома: пристроились вдвоем на один табурет и застыли, глядя в объектив. Под ногами у них - трава-мурава, упругая и духмяная, ухоженная. Это мы, малыши, чистили и скоблили ее - чтобы ни опилочки, ни щепочки, ни камешка не осталось, чтобы босиком можно было пройти, не боясь...

В кухне брякнул чайником отец. Я вздрогнула, и вспугнутое сердце долго трепыхалось. Листая альбом дальше, я все больше удивлялась, что на снимках почти нет меня. Нарочно отец выбирал такие моменты или... Конечно «или»! Где я была все годы? Зимой - школа, летом - лагерь, и снова: школа - лагерь, школа - лагерь. Я приехала к старикам только после десятого класса. Меня отважились наконец отпустить одну. «Я буду помогать! Ну пожалуйста!» - «Как дома?» - недовольствовал отец. Но отправил. Однако заботы достались моим двоюродным братьям и сестрам: те жили на станции,

в деревне бывали часто и понимали толк в хозяйстве. Зато вечерами мы были на равных - вместе бегали в кино, а потом стояли под черным небом, выискивая среди звезд бегущие спутники Земли. И хохотали, хохотали на повети почти до рассвета, мешая старикам спать. И чего нам было тогда так смешно?! В эти самые дни я мечтала...да-да, ведь я же мечтала написать повесть! И мы вместе даже придумали название - «Деревенские вечера». Как же я могла забыть об этом? Как я могла забыть про две одинокие фигурки на дороге? Автобус отъезжал, увозя меня, а дед с бабушкой все стояли и стояли, пока не слились в моих глазах с горизонтом...Я же мечтала написать... Так почему теперь я должна сочинять о какой-то старушке из булочной, если есть у меня свои старики?!

Неведомая сила подняла меня, заставила включить свет и устроиться за столом.

А через несколько дней преподаватель по стилистике зашла в аудиторию с лицом, которое ничего не выражало. И я похолодела. Я знала, что в папке у нее лежат наши этюды. Прочитанные ею этюды! Но она не взглянула на меня. Побоялась выказать жалость. Значит, все. Значит, я действительно случайный на факультете человек! И зря она тянет время, разбирая всякие синонимы и антонимы... Я прижалась затылком к холодной стене, закрыла глаза и никого не слушала. Жизнь во мне остановилась. И снова вздрогнула, когда зазвучал текст.

«Я просыпаюсь от грохота ухватов. На потемневшем от времени бревенчатом потолке - яркие солнечные блики. Русская печь приятно греет спину. На полатях в валенках дозревают помидоры, как много лет назад. Ароматно пахнет сушеной свеклой - детьми мы часто таскали ее тайком от бабушки. Русская печь таила для нас особую прелесть: в глубине печурок, заткнутых старыми рабочими рукавицами, прятались дикie вяленые яблоки. Набив ими карманы, мы убежали из дому до вечера.

На выгоне росли огромные черемухи. Забираясь на самую макушку, мы с жадностью обрывали с пахучих ветвей темно-коричневые вяжущие ягоды. Теперь эти деревья не кажутся высокими, залезть на них хотя и так же заманчиво, но совсем не трудно. И с колодца-журавля я могу сейчас принести сразу три ведра, а раньше не могла даже приподнять коромысло. Воду носил дедушка.

С каждым годом ходить ему все труднее: напоминает ранение ноги в Великую Отечественную. Он сильно прихрамывает и большую часть дня лежит на печи, а по утрам вот возится с чугунами. Да ворчит на бабу. Она почти не видит, но не может сидеть без дела и пытается помогать, получается же, что только вертится у деда под руками...»

Сердце мое колотилось. Я слушала и не верила, что это сочинила я. Просто у читавшего был такой голос, что даже мне становилось жаль собственных деда и бабу.

«Я спускаюсь с печки, умываюсь под глухо бренчащим ручомойником и сажусь чистить картошку. В растворенное окно веет утренней прохладой. Теплые лучи солнца пробиваются сквозь трепещущие листья осин.

Старики недовольны, что я поднялась рано. Никак не могут привыкнуть к тому, что я уже взрослая. В детстве мы спали почти до обеда, и бабушка, приходя нас будить, настойчиво и ласково тянула: «Со-они, вставайте... Я поросенка уже два раза оделила!» Заспанные, мы садились в

сумрачной кухоньке за скрипучий стол и пили свежее коровье молоко. Почти каждый год в нехитром стариновском хозяйстве менялась корова, но имя оставалось прежним - Миленка. Вечерами, лежа на повети, мы с наслаждением слушали ее тяжелые вздохи и аппетитное похрустывание сена на зубах. Последние годы в хлеву только коза да несколько овец, но старики все равно умудряются рассылать детям посылки с солонинами.

А дети их давно выросли и разлетелись по земле. Уже взрослеют внуки. Когда же большой и пустынный деревенский дом к лету оглашается вдруг множеством долгожданных голосов, старики вновь чувствуют себя молодыми. Не переставая носить в залу блюда с овсяным киселем, пюре-топтанку, «яблочницу» из картофеля, творог, достают из подполья, поздешинему, голбца, соленые грибы. Собирают на стол раз шесть в день и постоянно потчуют молоком.

К вечеру в конце огорода задымится ветхая банька, одиноко прижавшаяся к стволу ссутулившейся березы. На кухне запыхтит дышащий жаром, поющий самовар. Раскрасневшиеся, блаженные, гости будут звонко нацеживать стаканы, шумно прихлебывать из блюдец обжигающий кипяток. Перед сном все рассядутся веселой гурьбой по лавкам и станут вспоминать былые дни. Дед пригладит ершистые белые волосы, одернет застиранную гимнастерку и с достоинством включится в разговор мужчин. Бабушка, достав из старинного, съеденного жучком сундука слежавшийся праздничный платок, прикроет им тонкий пучок на затылке и сядет на край кровати. Ее маленькие морщинистые руки, всегда пахнущие молоком и ягнятами, будут часто подносить к подслеповатым глазам кончик цветастого передника.

Но счастливые шумные вечера пролетят незаметно, и придет время расставаться...

Вдруг я вообразила, что никто не слушает, всем надоело и нужно прекратить чтение! Открыв глаза, я огляделась. Но никто не дрогнул, не поднял на меня взора.

«В этот день по комнатам разойдется запах топленого масла, блинов и подорожников, забулряют в большом чугуне домашние пельмени. Бабушка, притворно спокойная и радостная, будет суетливо хлопотать над гостинцами и только укрядкой тормозить деда: «Время-то сколь таперя?» Собрав чемоданы, по русскому обычаю все молча, степенно присядут перед дорогой. Вот тут она не выдержит и по-старушечьи бессильно заплачет - тихо и тонко. Но откажется остаться дома и, тяжело опираясь на подог, медленно побредет за всеми к автобусу. Дед, наслушавшись ее причитаний, незлобно заворчит: «Полно тебе, матка, полно!» А сам долго потом будет стоять посреди пыльной дороги, смотря вслед ушедшему автобусу. Его густые, до сих пор черные брови сурово сойдутся на переносице и скроют нечаянную слезу.

В доме покажется невыносимо гулко и пусто. Старик уйдет на волю и до вечера проговорит со своим одноухим рыжим псом. Тот, виляя хвостом и повизгивая, будет ласково лизать его жилистые руки и доверчиво заглядывать в лицо. Бабушка нашарит по-за печкой железную миску, нальет молока тощей черной кошке, которую зовут просто Кошкой, и сиротливо прикорнет на постели, накрыв ноги одеялом из ярких лоскутков...

Каждая минута неумолимо приближает время и моего отъезда. В обезлюдевшем мрачном доме потянутся одинокие старческие дни. Звеня-

щую тишину комнат станет нарушать только тиканье ходиков. Бабушка будет часто выходить за калитку и глядеть невидящими глазами в сторону дороги - не приехал ли в гости сын или внук. А дед на печке-попрежнему ворчать, что ей, старой, не сидится на месте».

Вот и все...Воцарилась тишина. Я открыла глаза и увидела не добрые бревна бабушкиного дома, а холодные стены тесной аудитории. Какие-то далекие, невнятные голоса стали недоумевать, почему повествование разделено на три части, почему образы стариков туманны и вторичны, почему у меня есть то, а нет этого...«Вот и действительно все, - обреченно подумала я. - Пора собирать манатки!»

Очень кстати прозвенел звонок. Однокурсники покинули аудиторию. Шагнула к дверям и я.

- Подождите! - остановила меня преподавательница. Она положила мне руку на плечо и, заглядывая в глаза, спросила: - Вы хоть поняли, что написали великолепную вещь?

Ноги мои обмякли.

- Но ребята...

- Они еще не все понимают, вы не обращайтесь внимания! У вас есть то, что нужно для начала: звуки, краски, запахи, детали. Вы очень неплохо знаете деревню!

- Да что вы! Я ведь и не была там никогда толком!

- А вы поезжайте, обязательно поезжайте! И еще - читайте. Бунина, например, знаете? «Антоновские яблоки» у него...Федора Абрамова - нашего, университетского...Еще в Вологде появился интересный писатель - Василий Белов. Я вам принесу завтра книжечку...Договорились? И пишите. Вы обязательно должны писать! У вас есть главное - сердце...Ну? Ну что такое случилось?

Я плакала.

Да простится мне открытость и наивность давних чувств!

Я и сама отношусь к ним теперь иронично. Но когда я замыслила говорить только правду, как мне выкинуть эти слова из песни? Ведь не будь у меня того дня, вся бы жизнь моя пошла по иному руслу. Она и так-то кривляла-петляла по земле, а куда могла бы забрести, не случилось того, что случилось?

Да, судьба не в нашей власти. Но и в нашей немного тоже. Ведь в промозглый тот вечер, решая, о чем писать, я подчинилась голосу сердца. И выбрала боль. Всегда нас сердце бережет и подталкивает, только не любим мы его слушать, не научены. Лихая гордыня не дает нам отказаться от намеренных планов. Вот они-то и губят нас - мертвые, застывшие. А в жизни все так переплетено и так пронизано одно другим, что нам лишь на последнем повороте дается понять, откуда тебя несло, куда и зачем...

19.7.1963. СТАНЦИЯ НЕЯ

На маленькой станции Нея
Минуто стоят поезда.

И лица вагонов светлеют,
 Когда прибывают туда.
 Гудок пропоет ей: «Как живы?
 Сегодня спешим на восток!»
 Из окон глядят пассажиры
 На сосны, на чистый песок...
 Минута - и тронулись снова,
 И станция смотрит им вслед.
 И ловит последнее слово,
 Последний гудок и привет.

Н.Топникова.

(Здесь и далее цитируются публикации Нейской районной газеты, выходившей под разными названиями с 1931 года.)

ГЛАВА ВТОРАЯ. ЖИЛИ-БЫЛИ

Я приехала в деревню сразу после экзаменов, в январе.

Несколько дней, заслышав возню в кухне, я убеждала себя подняться - и не могла! Это было как наваждение: в дреме я окуналась в детство и верила, что мне можно валяться до обеда; а когда я выбегу босиком на волю, то найду в огороде таз с водой; она уже нагрелась на солнце, и в ней можно вымочиться с визгом; а потом на повети я заберу из корзины теплые яйца и появлюсь с ними в кухне; а улыбчивая бабушка сунет мне прямо в рот блин, смазанный топленым маслом... Так когда-то было. И теперь все было так и - не так.

В кухне громынул ухват, потом поленья, и послышался дедов матюк. Спустия время, скрипнула дверь ко мне в залу. Вместе с бабушкой прошмыгнула кошка, задев ее за ноги, и старуха присела, шаря вокруг руками.

- Чего ты, баб? - спросила я в тревоге.

- Да, кажись, кошка, черная, должно быть, матка... Ластится, вишь, ко мне, жалиит, что батька зря обругал.

- А чего он?

- Да глухая тетеря! Я ему вечор наказывала этта печку затопить, чтобы тебе вставать тепляе. А он в прихожей наладил, почто- не знаю. И слова поперек не скажи... Как рявкнул на меня: «Залью!» Аж сердце у меня захолонуло. Кы-ыс, кы-ыс...

- Да ладно его!

- Конечно, ладно. Дурак он и есть дурак... Буде затопить тапере и тута?

- Да тепло мне, баб! Я дома-то привыкла. У нас, бывает, и пар изо рта идет утром, а у вас вон - даже стекла чистые, безо льда.

- А мы рябину, вишь, по-за окнами кладем, да калину - оне и не леде-неют. Видко всю зиму хорошо.

Бабушка подошла к окну и слепо выглянула на улицу:

- Ровно кто проехал...

- А тебе видно разве?

- Маненько. На белом-то вижу - черниется когда.

- Это бабы на санях поехали,- поднялась наконец я.

- На мельницу, поди-ка... Оне зерно таперь мелют.

В залу заглянул дед.

- Завтрикать идите!

На столе в кухне дымился чугунок с картошкой, стояла кринка с молоком, жареный лук на сковородке. Мы с бабушкой сделали топтанку. Старик сидел в прихожей у окна, чинил свои ботинки.

- Дед! - позвала я. - А ты-то иди!

- Кушай, золотко, желанное мое! - отозвался он. - Я погожу. Таблетки твои только выпил. Спасибо Павлику, что послал. Сдает мой желудок-от...

Бабушка ела молча, думая о своем, и вдруг с подковыркой молвила:

- Ба-атьк! Солил картошки-ти?

- Солил!

- И пересолил!

- Да как помешать надо, - невозмутимо ответил старик.

- Вот иди и помешай! - сказала она со смехом и сложила руки на колени. - Я как барыня!

Каждый день я поражалась ее способности прощать. Казалось, все, конец, развод! Терпенье иссякло. Вот только как же их дети? Как мы, внуки? Куда мы будем приезжать, если они не помирятся?! Но и сносить т а к о е немисливо! А бабушка...

Как-то вечером старик листал журнал «Пчеловодство» - готовился идти на повесть проверять ульи. А бабка слепоу задела дрова у печки, они и сбрыкали... Дед покрыл ее семизатным матом, бабка даже перекрестилась. «Уж не с ума ли он сошел?» - жаловалась она, боясь подтвердить опасения. Я погладила ее, успокоила. А наутро дед больной ногой задел в кухне табурет. Бабка чуть блином не подавилась! Закашлялась. Однако смолчала, только повернула ко мне потерянное лицо и сказала:

- А вот он меня вчера мотом, матом...Дурак он и есть дурак!

Это было у нее самое страшное и самое бессильное ругательство.

Она измаялась одиночеством с молчаливым стариком и рада была излить мне свои обиды. Многие вспоминала...

Тащит как-то обеими руками тарелку, просит жалобно:

- Посмотри, ба-атьк, кашка али что?

- Посмотри! - рявкнул дед. - Не слепая!

И захолонуло у нее сердце. Уж как не верится ей в его глухоту...Про него скажи - всегда услышит! Да молчит ведь она, не попрекнет. А он!..

Летом говорила старику: на соломе шебаршит кто-то!

- Кажется тебе! - огрызнулся.

А когда прибежали в избу котят, загорюнился - куда их девать? Но нет, не признал - права, мол, ты была, матка. Гордый!

- Уж хоть бы овца обошла, - волновалась зимой бабушка. - Ты мне скажи, как признаки будут. Время уж.

- Вроде есть...

- Да как вести меня к ей!

- А вроде рано.

Послали утром за ветеринаром. Оказалось: давно овца мучалась, ножками шли ягнята. Так и околела.

Но обидней всего было за поросят. Старики надеялись на приплод, на деньги, и бабушка гоняла деда в хлев ежечасно. Тот заартачился:

- Да будет тебе! Она еще неделю не разрешится!

Всплакнула бабушка в подушку, но что делать? А ночью на ощупь добралась до хлева. Нашарила поросят уже холодными.

- Из-за них он мне и опротивел хуже собаки! Кобеля своего жалиит, а скотину не бережет, - причитала она. - Бадью ведь, цельную бадью наложили, восемнадцать штук заморозили!

- Восемнадцать? - поражалась я. - А разве бывает столько?

- И у нас не бывало, да послал Бог. А мы и прошляпили! Олухи Царя Небесного!

В метельные дни бабушка забиралась на печь, чтобы тоже погреть спину. Дед тогда ложился в прихожей, я тихо читала рядом. Устав от тишины и озябнув, старик спрашивал с кровати:

- Метет на воле-то?

- У меня не метет! - отзывалась с печи старуха.

Покрахтев, дед вставал и брался щепать лучину для растопки.

- Замерз кто на печи? - подковыривала сверху старуха. Старик ворчал себе под нос, не понимая, а она не унималась: - Ты ласково говори!

И заканчивала сама с собой:

- Зверок зверком, так и есть. А я проглотю слово, пожую и проглотю, пусть мне и не говорили... Молодой обидно было. А теперь хоть наплевать. Живи!

Иногда мы оставляли деда курить в компании с кошками, а сами закрывались в зале и слушали приемник. Бабушка любила это занятие и подбадривала диктора:

- Пусть поговорят, зря не скажут!

Она ложилась на кровать и принималась горевать о чужих бедах.

- А вот и неправда! - вскидывалась иногда.

- Что неправда, баб?

- Да вон давеча передавали - если денег у батки с маткой много, тогда и детки к ним хорошо относятся!

- Так это об американцах...

Но она не слышала меня.

- А у нас и мало денег, да дети хорошо относятся! Вот! И не плетите ерунду-то!

Она сердито отворачивалась к стенке и замолкала. Решив, что она уснула, я на цыпочках кралась к приемнику.

- Не тро-ожь! Слушаю, - останавливала она. - Про ГОЭЛРО мне интересно... Поди ж ты - ГОЭЛРО! Нале не выговорить. Думали мы по те годы, что пустая это болтовня, а вона тебе - хвалят Ленина! И то спасибо ему, хоть посидим при лампочке. Батьке газеты читать светло.

На «Последние известия» она кликала старика. Тот садился рядом с приемником и подставлял ухо. В те дни у всех на устах было имя Анджелы Девис. И старик ухмылялся тоже:

- Ай да Анжелко, ай да бабенка! Как она им на суде выдала!

Бабушка не могла не подколоть его.

- Вот ты, батька, слушай и на ус наматывай, как опасно быть главком-то! Гляди в оба, что говорить... Но таперь, - вздыхала она, - коли выпустят ее, здоровье ужо подорватое. Хотя... Вон Ленин - какую кару переносил, а пожил-таки.

- Когда пожил? Где? - вскидывался дед, и бабка спохватывалась:

- И то правда, мало. Не дал Бог здоровья Ленину. Всем бы пожить при нем подольше! Посуществовать бы - и то счастье. На пьяниц только погибели нету. А хорошие люди мрут и мрут...

И опять она вздыхала так, словно тяжкий воз подняла в гору.

Я знала, о чем, - о гибели младшего сына, и не спрашивала, чтобы не берeditь. Старуха проглатывала близкие слезы, пыталась забытьcя:

- Прошли золотые денечки, осталась одна лишь мечта... Да нет, и золотых денечков не бывало, все недосуг, недосуг, недосуг! Не сухая, не мокрая билася прежде. Думала - молодость минует - отдохну, да где там! И помереть недосуг будет. Вот таперь ужo готовая, жду. А не идет смертынька! Ничего уж не мило, не дорого мне, то рука, то нога, то коленочка вздыхать не дает, каждый день неможется. А хоть где болит - все к сердцу валит... Такое мое нынче дело - лежи, как берег, не шелохнись, терпи горе да ешь лук.

У меня дыханье перехватывало в такие минуты: и как у нее рождаются эти слова, эти сравнения?! Я лезла за блокнотом и записывала, записывала. Бабушка поворачивала настороженно голову, но я затихала на миг, а потом снова бралась за свое.

- Вот слово-то у меня намечено, а не скажу! - жаловалась она. - Бude только похоже получится. Эх, раньше бы я тебе наговорила и песен напела!

Раньше - это до паралича, до гибели младшего сына. Но как же она говорила прежде, если т а к у ю речь считала ущербной?! Мне с моей городской усредненной лексикой в пору было провалиться со стыда.

В первые дни я жила в деревенском доме, как иностранка, - составляла для себя словарик, чтобы понимать, о чем говорят со мной. И постепенно выучила, что «мост» - это, по-иному, «сени», «нале» в устах бабушки означает «даже», «овыдень» - обернуться, съездить за один день, «олондась» - это давно, недели две назад, а «намедни» - совсем недавно, на днях; «отудобеть» - это значит поправиться, переболеть, за «поноровить» я сама угадала «пождать», и «посулить» поняла в контексте обещаний... Почему мы не употребляем этих слов, думала я. Почему растерял их отец? Или я в городе не слышала их от него, потому что - не слушала? Ведь и здесь; в деревне, три года назад я тоже не замечала ничего особенного. А теперь слова сыпались и сыпались на меня!

Приходила к бабушке на беседки старуха Агафья. Ей тоже было под семьдесят, они в один год вышли замуж в Починок, всю жизнь и дружили. Все бы ничего, да стала Агафья глухая, как пенек, а поговорить любила. И всякий раз она извинялась:

- Ты уж, Лидьюшка, молчи, а я побрякаю, чего знаю.

От нее узнавала бабушка все деревенские новости: кто из девок на мельнице работает, у кого на ферме телята приболели, что нового в магазин привезли.

- Я чувю, не родители вздохнули на воле-то? - хотела пристроиться к разговору бабушка.

- Кого? - кричала в ответ Агафья.

- Тыфу на тебя, - незлобиво шептала бабушка. - Поди и так чувю, что потепляло... Напиши ей, она читать-то любит!

Я писала на бумажке бабушкин вопрос о погоде, и Агафья кивала радостно:

- Да-да-да-да! Мокра нынче зима-то!

- Мокра. А навалит еще снегу с сидячего кобеля! Поглядишь.

- Мне переводить? - спрашивала я, улыбаясь.

- Хоть наплевать, - отвечала бабушка. - Пускай одна брякает.

Агафья, угадав смысл по лицам, вставляла:

- А я наемни книжку прочитала, про то, как любятся.
- Дак Расскажи, когда антересно.
- Кого?
- Расскажи-и!

Бабушка ложилась на кровати, ладошки под щеку, а Агафья, развязав полушалок, двигала стул поближе и начинала:

- Майор со врачихой познакомились, значит. А она шпиенка оказалась, бандитка...Большая книга, и все про их. Во многие земли оне там ездили, не только в Германию. Видать, была она синитаркой, а он ранетый лежал. Один раз и покликнул - поди ко мне, хожалка! Ну, и слюбились оне тут. А она, змеюка, тайну у его выведала и убежала. Спыхватился он да и за ей. Бежит-бежит, да попойдет малость. Не одну ночь по лесу шатался, а ее нету. Тут к костру-ту и вышел. А там его бандиты каравулили. Вот так...Жутко толстая была книга, а то бы я лучше рассказала.

Бабушка слушала подругу и вздыхала, кивая:

- С еенным бы толком да не глухой!

Агафья глядела на бабкины губы и поддакивала:

- Да, да...А внучка-то учится? - спрашивала обо мне. Я писала на бумажке печатными буквами, что я - в университете, что буду журналистом, что сейчас у меня - каникулы.

- А домой когда?

Бабушка насторожилась при этом вопросе.

Я написала ответ, и Агафья кивнула:

- Ну-ну... - А затем обратилась к бабушке: - Лидень, все хочу про сноху-ту спросить - как она без Бориса-то Николаевича, без покойного?

- Да погуливает, слышь! - кричала ей на ухо бабка. - Солдаты навещают!

- Вот и ладно, что хорошо! - улыбалась Агафья.

Бабушка только рукой махала: тьфу!

Но все равно, провожая подругу до порога, кричала в приставленную к уху ладонь:

- Заходи! Побрякаем на пару!

И снова в доме становилось тихо. И вновь я ощущала, как пусто будет без меня...

- Ба-атьк! - в нужный час спрашивала бабушка. - Поросянка оделил?

- Тебя жду! - отвечал дед с печи, пуская дым в потолок. Она, покорно проглотив обиду, возвращалась в залу. Сев на кровать, переплетала пальцы рук и страшно вздыхала.

- Ни-ин? Ты дома? - звала она. Я отвечала из спаленки. - Ступала бы в гости али на телевизор. Почто с нами сидеть?

- Да мне интересно!

- На двор поди, телят посмотри колхозных. Тету Маню встретишь, так и зови: тета, мол, Маня. Она лю-юбит, когда так. Всякий раз вспомнит, как вы в пруду барахтались. Свиной палками шуганете - и сами на их место, ровно поросята. Тьфу!

- Правда, что ли?!

- Спроси ее!

Бабушка ложилась и затихала. А я, натянув валенки и дедову фу-файку, вылетала на улицу. Почему я, действительно, ни с кем еще не увиделась, не поговорила? Я ведь совсем никого не помню. А эти люди - они

тоже материал для меня!

3.2.1956.

«Все шестеро доярок нашего колхоза соревнуются за повышение надоев молока.

- Не тебе одной, Надежда, первенствовать по колхозу, - сказала мне однажды доярка ШУТОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. - Нынче я тебя обгону!

Соперница она серьезная. Допусти я оплошность - тут же окажусь позади Марии Николаевны. Прежде я работала спокойно, не боялась, соревнование у нас было организовано плохо. А сейчас так работать неловко, люди растут, смело идут вперед.

Надежда Самодурова, доярка колхоза имени Хрущева.»

Я прибежала на телятник и прокричала в полумрак его:

- Здравствуй, тета Маня!

В клетчатой шали, с обветренным лицом, появилась тета Маня Шутова, засмеялась:

- Что, городская? По деревне соскучилась? Али лучше у нас?

- Лучшее! - смеялась я тоже. - Здесь можно дать телятам пальцы пососать!

- Ну дак дай!

- А можно?!

- Мне-ка твоих пальцев не жалко! - подзадоривала она, готова поило.

Добрые мордашки тянулись ко мне и захватывали руки шершавыми языками.

- Тета Маня, - кричала я, - а где теперь кони стоят?

- Да нигде, - отвечала она. - Это когда дед твой занимался с ними, здесь была конюшня. А сейчас всего два мерина, да и те бросовые.

- Жа-алко!

- Жалко у пчелки! .. Приходи в гости, медом угощу!

- У деда тоже есть, вкусный.

- Вот и мне он семейку удружил, теперь развожу.

- А где подружка моя?

- Надька-то?

...В сопливом детстве мы были с Надькой Шутовой подругами, вместе бегали за ягодами и лазали по черемухам. И, конечно, носили одинаковые платья - все взрослые девчонки-подружки делали тогда так... В тихие закатные часы мы взлетали у них на дворе на качелях и орали свои любимые песни. «Ночью за окном метель, метель, белый беспокойный снег. Ты живешь за тридевять земель, ты не вспоминаешь обо мне...»

А потом мы встретились в шестнадцать.

- Ты куда пойдешь?

- В университет, - ответила я просто. - А ты?

Надя поникла почему-то и тронула острую челку:

- Я на почте работаю...

Дальше разговор у нас не клеился, с тем мы и расстались.

Потом, знаю, поработала она в клубе, пока не вышла в райцентре замуж за военного...

- Надька-то? Она уже нянчится. С дочкой!

Вот так вот! Ровесницы уже нашли свое счастье. И только у меня

ничего не ясно.

Печальная возвращалась я в дом.

Там все было по-прежнему: дед лежал на печи, бабушка - в зале. Тикали ходики. И в спаленке за занавескою потрескивали в печи поленья.

- Зачем же ты затопила, ба-аб? Я бы сама!

- А мне все повеселее, когда задиле какое.. А то больно сердцу...

Я села рядом, и она вдруг начала плакать, вытирая темной ладошкой глаза.

- Вспомнилось чего-то... Не против черной ночи помянуть бы, против светлого дня... Как Боренька перед бедой-то, как последний раз приезжал.

Она всхлипнула и вдруг успокоилась, будто вновь увидела сына.

- Дрова напилить приехал. Да все слома голову, на концерт, слышь, торопился, что ли. В аккурат накануне праздника этого, ну, революционного. Я у него спрашиваю: «Исть-то хочешь?» Пошла на мост за помидорами. Он говорит: «Посижу, пока согреются». Морозно было. Помидоры-ти и я холодные не буду. Да было там-ади в голбце шесть яичек. По два съили. Потом про жинку заговорили. Хмурый он был. «Брошу!» - говорил. «Да как, - говорю, - с детьми-то, с двумя-то?» - «С пятерым бросаю!» - «Знамо, - говорю, - висячего дерева не удержишься. Только по девкам скучать будешь!» - «Ну, и за ней мне неколи, - говорит, - приглядывать». С тем и уехал...

- Ба-аб...

- А как у меня душа извелась, когда он в детстве краснушкой болел! Вздумать боюсь. Болесь-то переходчивая, заразная. Положили его в Кужбал. Вот и почала я бегать к нему. Уделаюсь по хозяйству затемно и бегу. Погляжу на сонного, и назад десять верст бегом. Все боялась, что пробудится, заревит. Синитарки говорили, все похлебки домашней просил...

Десять верст от нашего Починка до Кужбала автобус пробегает за пятнадцать минут. Но мне там бывать не приводилось. А название манило тайной. И три года назад, объявившись в деревне, я бросила идею: устроить пеший поход в Кужбал! С рюкзаками, едой и водой... Юные мои родственники встретили предложение на «ура». И мы протопали десять километров по жаре, довольные собой и гордые. Домой вернулись автобусом... А бабушка...

- Отудобел он тогда? - виноватся, спросила я.

- Оклемался, слава Богу, - не заметила бабушка моего словарного усердия. - Да и то сказать - рос немельчуховатый, ел все подряд, что ни подай, вот и здоровье было. Это нынче детки пошли не ровня нашим.

- Баб, а правду говорят, что у него еще есть сын у кого-то.

- Есть... До армии он с ней дружил. Потом повздорили, и женился на другой. А она мне сразу не по мысли была, жена-то. Не послушал...

- Зато она теперь, говорят, вышла снова?

- Вы-шла... Она - партейная, а он - богомольный! Которым местом думала?

- Может, он человек-то ничего?

- Почем я знаю? Они меня гнушаются, даже внучат на кажут... Пускай! На то воля Господня. Может, это небо послало сироткам верующего...

Я легла потом, задремала, но вскоре очнулась. Бабушка, крихтя, встала с постели. Из-за занавески я видела, как подошла она в темноте к сыновьему портрету, погладила его ладошкой и опустила на колени перед лампадкой.

- Матушка Пресвятая Богородица, - зашептала она, - упокой душу раба твоего Бориса и ниспошли здоровья его деточкам... Отче наш, иже еси на небеси...

Утром дед, глянув в окно, заметил:

- Решето Саня Долгая несет из Михалей...

- Ой, - поднялась бабка с лавки. - Надо бы и нам!

Я тотчас выскочила за дверь, на ходу натягивая варежки.

- Деньги-то, доча, деньги! - крикнул с крыльца дед.

- Будет вам! - отозвалась я уже от калитки, вслушиваясь, как звучат в моих устах деревенские слова.

До магазина в Михалях - всего километр через лес. Я бежала узким коридором меж елей и любовалась, как играют на солнце молодые снежинки. Морозец лез под пальто.

- Здравствуйте, - поклонилась я в магазине и веником обмахнула вальенки. - А мне решета не осталось?

- Вот те на! - всплеснула руками продавщица. - Али нарочно бежала?

- Нарочно!

- Только-только последнее продала, на Суршино унесли.

- Ну вот... - Я поникла.

- Однако погоди, девка, - вмешался мужик, гревший руки у печки. - Однако я тебе адресок дам, где можно достать.

- Небось в Кужбал погоните?

- Почто туда? Ближе есть. Васька Шутов жаловался, что купил вчера, да от бабы схлопотал. Не надо им.

- Так это ж у нас в Починке!

- У вас!!

Я помчалась назад.

Шутовы вдвоем обедали. Глянули на меня из кухни, кивнули и опять ложками забрякали. Я присела на порожке, боясь шагу ступить, - у тети Мани чистота, половики новые, яркие. Жду. Хозяева едят, селедку меж собой навваливают. Я не обиделась, что не приглашают за стол, знала - не примут. И к старикам, бывало, заглянет чья девчущка, посидит молча на лавке и тихо исчезнет. Никого не гнали. Но и дел своих не бросали. Однако молчать было неловко.

- Говорят, решето у вас продается, - робко спросила я.

- Да вот, купил сам вчера, - оживилась тетя Маня. - А тебе почему известно?

Я объяснила. Шутовы посовещались, поспорили, и хозяйка, облизывая ложку, доложила:

- Ладно, подадим. У нас по осени было куплено, покуда хорошее, а второму нечего лежать. Погоди вот, отобедаем только и подадим.

17.8.1958.

«15 августа. Деревня Большой Починок...Как всегда, бригадира МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ ШУТОВОЙ не оказалось дома.

- Она очищает в риге зерно, - сказала девушка, подметая пол.

Через несколько минут на дороге из риги показался босоногий мальчуган лет пяти, а вслед за ним шла, судя по выражению лица и движениям, энергичная женщина. Это была бригадир полеводческой бригады Мария Ни-

колаевна Шутова.

- Вы ко мне? - спросила она.

- Да. Говорят, у вас усиленно идет уборка?

- А мы ее уже закончили, - спокойно ответила бригадир.

- Расскажите, что помогло вам так быстро справиться с жатвой?

- Что? - Мария Николаевна на время задумалась. - У нас хорошо работала техника.

Техника действительно в бригаде на полном ходу. На конной косилке работал НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ВЕСЕЛОВ. Он ежедневно скашивал по 2 гектара. За косилкой сразу шли 8 вязальщиц. Бригаде хорошо помог комбайнер Дмитрий Шотов. Он убрал на ее полях 11 га. Намолоченное зерно Мария Николаевна успела уже просортировать, дать взаймы соседней бригаде для посева. Посеяны здесь и озимые. Сев вел тракторист ВАСИЛИЙ ШУТОВ.»

...Я гордо вручила бабушке решето и, прихватив ведра, отправилась на колодец. Я ходила всегда на «журавль»: в новом, в который вода подкачивалась насосом из скважины, дед брать не разрешал - говорил, пахнет железом. Мне тоже казалось, что вода из «журавля» чище, холодней и слаще. Да и доставать ее было интересно: скрипит оцеп, опускает в таинственную глубину ведро, и никогда не угадаешь, достигло оно воды или нет. Ну-у? Я перехватила жердь, рассчитывая на тяжесть. И вдруг вверх с грохотом и лязгом вылетело пустое ведро...прямоугольной формы! Я похолодела: оно ведь общественное, и придется отвечать. Я прижала ведро к груди и постаралась придать ему прежнюю округлость. Получилось не очень, и я торопливо погнала жердь вниз: зачерпнуть да бежать! Где-то в бездонной глубине плеснулась вода и... Глухой лязг опять потряс колодезные своды! Над моей головой застенчиво качнулась...дужка от ведра...

- Гочится кто? - усмехнулся дед, встретив меня у порога запыхавшуюся.

Я нырнула к бабушке в залу и созналась во всем.

- Эко горе! - неожиданно засмеялась она. - И не бери в голову! Не ты первая потопила. Другое повесят.

- Кто?

- Да вон хоть мы старое подадим, не жаль. Оно недолго прослужит! Не тужи.

Я успокоилась и стала безмятежно посматривать в окно. Проехал с санями Загар - колхозный мерин, весь коричневый, только грива белая. Давно мне хотелось на нем покататься! И теперь был удобный повод исчезнуть из деревни.

Я рукавицы да ушанку хватить - и на улицу. Запрыгнула в сани, фуфайку натягиваю. Хорошо!..Бабы развалились на мешках, только покрикивают да вожжи дергают: вправо, мол, Загар, ко двору!

Батюшки!..А у двора - колодец! А там...там другие бабы ведро прилаживают!

Тут и след мой простыл - никто ахнуть не успел.

Забилась я дома в спальню, раскрыла книжку, а сама в толк не возьму, о чем читаю, - прислушиваюсь. Полчаса не прошло, дверь распахнулась, и зычным голосом Нинка Смирнова, бригадир, зовет меня.

- Признавайся, Павловна, ты ведро утопила?

Я вышла, колени дрожат. И у бабки храбрость куда подевалась?

Бормочет:

- Дак как хоть таперя?

- А никак! - улыбнулась вдруг длинная Нинка. - Другое повесили. А мы уж гадали-гадали, кто бы это сумел так, и решили, что только ты, больше некому... Напугалась?

Я жалко усмехнулась:

- Чем вину-то искупать?

- Хошь, дак поехали с нами на мельницу. Потом в Иваново за зерном.

Нам работники нужны.

- А можно?!

- Почто нельзя? Быстро только!

- Я готовая!

- А поесты! - взмолилась бабка. Но я уже хлопнула дверью.

Подражая бабам, я развалилась в санях и покрикивала на Загара, а сама улыбалась; едем в Михали по прямшке, снег с елок срывается прямо и лицо, полозья шуршат по насту.

- Ну и нарядили тебя старики! - хохочут бабы, оглядывая мое обмундирование. - Никто не скажет, что городская. Своя и своя!

- Так и надо, - зычно комментирует Нинка Смирнова. - В воронье гнездо попал, по-вороньи и каркай!

- С волками жить - по-волчьи выть! - встречаю и я со своими знаниями.

И вот сани останавливаются у старой белой церкви.

- Это и есть мельница? - вытаращилась я.

- А не похоже? Заходи! - пригласила бригадирша.

10.7.1931.

«Члены колхоза «Борец» в ответ на гнусные вылазки церковников объявили дни религиозных праздников днями работы. Пять бригад объявили себя ударными безбожными бригадами имени «1040» и вызвали на социалистическое соревнование по уборке урожая колхоз «Новый мир». В колхозе организовалась ячейка СВБ, а каждый член колхоза выписал газету «Безбожник». Следом за «Борцом» идет колхоз «Культура», который также дни религиозных праздников объявил ударными днями работы и обязуется к концу уборочной кампании добиться 100% коллективизации деревни Кокуево (сейчас 43%).

Колхозы «Борец», «Культура» требуют закрытия Михалевской церкви и переоборудования ее под клуб и обязуются в этом помочь. А все ценности, имеющиеся в церкви, как то: колокола и всевозможные украшения передать в фонд индустриализации страны и призывают всю общественность Нейского района оказать им соответствующую помощь. За два дня 5-6 июля подано 128 подписей за закрытие церкви.»

Под каменными сводами недвижно висело тяжелое мучное облако - тусклая лампочка едва просвечивала сквозь него. В этом тумане перекликались женские голоса. Потом кто-то подошел к стене, нажал кнопку, и адский металлический грохот наполнил здание.

Нинка прихватила пустые мешки, и мы вышли на улицу.

- Ну, как?

Жмурясь от солнца, я стряхнула с себя белую пыль и выразительно pokrutila головой:

- Громко!
- Это еще что!
- А в Иваново возьмете?
- Не жаль! Выбирай сани да садись.

Я огляделась. Возле церкви в ряд стояли пять повозок. Пять лошадей нетерпеливо пофыркивали, выпуская из ноздрей клубы пара. Я пошла мимо них, оглаживая теплые морды. Этот, Ветер, злой, ишь как носится красным глазом... Эта кобыла худая, не выдержит меня, пожалуй! И вдруг услышала:

- Ты не Павлика ли дочка починовского? Ой, дак иди ко мне, хоть поговорим!
- Красивая седая женщина хлестнула свою Чайку, и сани покатили под гору. Оказалось, она училась с моим отцом в начальной школе. Безобразник был? Да нет, как все мальчишки... А теперь он как? Да ничего...

- А вы та самая тетя Шура из Кокуева, у которой жила фельдшерница Галина Ивановна?

- Она самая. А ты как знаешь?
- Бабушку она навещает, делает уколы от давления. Всегда чаю с нами попьет. Все вас вспоминает. Она ведь замужем теперь?
- Да, полгода, как от меня съехала. Вишь как, думать не думала, что кто ее возьмет, хромоножку, все хотела к матери вернуться. А теперь осела у нас, не побегит.
- Нравится она мне. И бабушке.
- Как бабка-то?
- То ничего, то совсем плохо. Умирать собирается.
- Собираясь, не собирайся, раньше смерти не помрешь.
- Наверно... Все говорит, хоть бы еще разок белый свет увидеть, тогда бы и смерть красна была.

- Худо у нее с глазам-то?

- Почти не видит.

- Вот тебе и операция... Н-ну, пошла! Ну!

Чайка, кривя морду набок, прибавила скорость, и снег из-под полозьев полетел нам в лицо. По обе стороны дороги тянулся лес. Тучи наполнили издали. Я лежала, глядя вверх, и вспоминала все, что связано с бабушкиной слепотой.

Отец привез бабушку в Ленинград в январе. У нее была катаракта, требовалась операция, и решили, что лучше ее сделать в известной глазной клинике. Однако очередь туда была огромная, до мая. Бабушка рвалась домой, но отец не пустил. И она четыре месяца выжила у нас в доме без работы и развлечения. Проснется утром раньше всех, сядет на диван и сидит. «Чего, баб?» - «Думаю...» Потом проводит старших на работу, меня с братом - в школу, и снова сидит. Книг ей не почитать, телевизор не посмотреть. Радио включит, слушает. С нами, ребятами, много ли наговоришь? То мы за уроками, то на тренировке, то на сборе... Она радовалась, когда возвращались отец с мамой. В доме становилось шумно. Отец читал вслух газету и комментировал, мама готовила ужин и вспоминала, что было интересного в цехе. Бабушка оживала, но ненадолго. В старости, наверное, не бывает длительной радости.

Зато нас, детей, бабушкино гостеванье вполне устраивало. Мама в те месяцы часто пекла что-нибудь вкусное. И сделали тогда такую фотографию: бабушка в толстых очках ест домашний торт «наполеон».

Солнце освещает бабушку из окна - наверно, уже май, скоро ей в больницу; а торт, видно, тает, расплзается у нее под пальцами, и она сослепу не знает, как с ним совладать...

Много бабушка проглотила за те месяцы таблеток, чтобы выровнять давление. И зря. За неделю до назначенного ей срока больницу закрыли на капитальный ремонт. Вот и все. Больше в Ленинград она не поехала. В ноябре погиб ее младший сын Борис Николаевич. И бабушку хватил паралич.

Только через год уговорили ее сделать операцию в Костроме. Но глаз спасти не удалось. А теперь и второй у нее еле различает свет. Поэтому все хозяйство висит на старике да на дочерях. Клавдия с Валентиной приезжают с Неи прибраться да погостить и дать деду выходной. Но у них у самих дел невпорот, так что...

- Вставай! - окликнули меня. - Вставай, работница! Приехали.

- А где же Иваново? - в недоумении огляделась я, выбираясь из саней.

- Оно и есть, вот!

Посреди поляны, окруженной лесом, стоял покосившийся сарай, и больше - ничего.

- Давай, давай, бабы, нагружай! - закомандовала из сарая Нинка. - Не то скоро стемнеет.

И все разделились на пары: одна держит мешок, другая насыпает ведром зерно. Я тоже орудовала ведром, как могла. Овес струями стекал мне в валенки, и я то и дело вытряхивала их. Потом сдернула дедову ушанку: жарко! Бабы тоже распрямили спины, поотдыхали. Из другого конца овина меня подбадривали:

- Молодец, городская, не расфуфыристая! На ужин щец чугунок наварнешь, и ладно!

Обратный путь до Михалей показался много короче. За санями скакала чья-то шавка, твackа на лошадей и задира лапу у каждой придорожной елки. Бабы покатывались со смеху и швыряли ей карамельки.

У церкви-мельницы нас встретил пьяный Коля Черный. До обеда он помогал бабам молоть зерно. Теперь стоял, поплевывал семечки, а мы с женщинами таскали мимо него мешки - раз, другой, третий. Наконец я не выдержала:

- Эй, дядя! А ты чего не работаешь? Поподнимал бы мешочки!

- Эт-то что за цыганка? - уставился на меня Коля разбегающимися глазами. - Почему не знаю? Тю-тю-тю...

Он попытался сделать мне «козу», но я увернулась. Качнувшись, Коля схватился за дверь.

- Какой с него работник? - сердито сплюнула Нинка. - Иди, иди домой, харя бесстыжая!

Коля мотнул головой, будто отгонял муху, и с трудом выговорил:

- Я ддолжен знать, откуда взя-лась эта я-понка...

- Ну, ты даешь, Коля! - покатались со смеху бабы. - Какая она японка? Эк у тебя ноне в глазах-то косит, а?!

- Ступай, ступай восвойся, - погладила его по спине тетя Шура. - Будь умницей.

И Коля вдруг покорно потопал в сторону Кокуева.

Солнце уже скрылось, когда бедный Загар, выпучив карие глаза, стро-нул с места сани. К нам троем подсели еще трое починовских жителей. Они повалили в сани рюкзаки и сетки с хлебом.

- Эй, чтоб тебя! - гаркнула Нинка, и Загар, прядая ушами, припустил, как мог.

- Там какое кино написано на завтра? - спросила я, заметив на дверях клубика афишу.

- Какие-то «Два Федора»...Побежишь?

- Да куда я от стариков!..Н-ну, Загарушка!

Полозья саней увязали в снегу.

- По прямушке?

- Не проедем!

- Давай, давай!

И опять полетела в лицо мокрая снежная пыль с елок, и бабы завизжали, как девчонки.

- Тихо вы, кувырнемся!

Загар пучил глаза, косясь на ездоков, и от него валил густой пар. У самой деревни, среди поля, сани все же наскреннились и - все очутились в снегу! Мерин испуганно фыркнул и поехал дальше порожняком. А мы хохотали и хохотали, лежа в снегу, и не замечали, что рядом наматывают в сетках ржаные буханки...

В избе было тепло и пахло пшенной кашей. Шумел самовар, светясь внизу углями.

- Огслодало, золотко мое! - встретил меня дед. - А мы со старухой все глаза проглядели - нету тебя никак.

- Нароботалась - во! - выставила я большой палец. - Уф-ф!

- Оставайся буде навовсе! - сказал вдруг дед. - Будет бабам помощница.

- Не городи ерунду-то! - птицей влетела бабушка. - Чего она у нас не видала? Чай у нее голова-то не для шапки, не для платя. Это мы темные бутылки! - Обернулась ко мне и отважилась:

- Долго ли погостишь, Нина?

Я слотнула.

- Два дня еще...

- О-ох, - выдохнула бабка, но тут же взяла себя в руки. - Понял? - обратила лицо к старику. - Дуй-ко завтра на Нею, когда ко врачу надумал, а то боле не пущу! А мы и без тебя устрояемся...

Потру дед уехал на станцию. Я поднялась сразу, как за ним хлопнула дверь.

Бабушка в кухне на ощупь чистила картошку. В печке первые языки пламени лизали поленья. Ведерный чугунок был пристроен сбоку.

- Дед, что ли, затопил?

- Кому еще? С меня теперь большуха никакая. Вон, погляди, поди ошemetок наоставляла?

Я села рядом с ножом и порылась в чугушке, проверяя картошку.

- Нет ничего, баб, молодец...А чего меня не подняла?

- Пожалила...Почто тебе руки портить? Думала, сама чего пока пошышляю, грязное-то. У тебя, поди-ка, маникюра на пальцах?

- Да ничего уж не осталось! Не велика и беда - приеду, снова наве-ду!..Баб, а давай ябпочницу сделаем, а? Ты научишь меня?

- Нехитрая наука. Сварим да потопчем картохи на сковородка, яичко туда толкнем, да молочка линем - и в печку. Когда корочкой покроется - вынай!

- А как ты кисель овсяный делаешь?

Бабушка засмеялась вдруг, сотрясаясь всем телом, даже слезы выступили у нее под глазами. Она утерла их и сказала, все еще смеясь:

- Али ты в городе и кисель овсяный хлебать будешь?!

- А чего? Отец вон варит. Мне очень даже нравится. С подсолнечным маслом.

Старуха поднялась, вытерла руки о передник и нащупала возле печки березовое полено.

- Где-то у самого секач был...

Я нашла в печурке широкий нож и протянула бабке.

- Может, я помогу?

- Отступись, руки доведешь!

Она пальцами нащупывала, сколько надо захватить под нож, и с силой проходила им до конца полена. Скоро на лавке накопилась горсть лучины.

- А зачем она? Печка ведь горит!

- Достань-ка решето, обновим. Я ведь как чуяла, вчерась затворила кисель-от. Вон в чугунок на печи, сыми-ка сюда.

Я подала, и она опрокинула чугунок на решето. Из него стала стекать в другой чугунок белая густая жижа.

- Полей водицы сюда, маненько...

Бабушка пошамкала рукой размокшие овсяные хлопья и снова показала: полей!

- Белое течет али как?

Затем посолила содержимое нижнего чугуна и поставила его на шесток.

- Жару помене будет - задвинем в печь. А потом токо мешай да гляди. Как сядется, сразу тащи, не то жидкий будет. Вот и вся премудрость. А на завтра...

Она всыпала в чугунок с мокрым геркулесом сухих хлопьев, линула воды и попросила спички.

- Вот так вот лучину подожгешь дома - и туды!

Она макнула горящие палочки в мутную воду, и они, зашипев, погасли.

- И все?

- А чего еще? - довольно засмеялась бабушка. - Ставь чугунок в тепло, а завтра - вари.

- А папа черную корочку кладет...

- Мне с березовой лучиной больше по мысли. Ровно слаже выходит.

Бабушка нашарила в печурке тряпицу, завернула в нее лучину и протянула мне:

- Павлику отведи - от меня подарок. Кисель этот шибко полезный, пускай варит.

В обед, пока бабушка отдыхала на печи, я навела и понесла в хлев пойло. Свинья чуть не сшибла меня с ног вместе с ведром, и визжала, будто ее режут. В другом хлеву подвизгивал ей поросенок и мордой тоже чуть не опрокинул бадью. Где тут слепой бабке, горько подумала я.

Потом, стараясь не брякать, навела в ведре теплой воды и принялась мыть пол. В каждый уголок залезала тряпкой: вспомнила вдруг, как бабушка много-много лет назад стояла у меня над душой и следила, чтобы между половицами не оставалась сухая пыль.

- Ой, как чисто! - сказала бабушка, заходя в залу.

- А разве видно тебе, баб? - удивилась я.

- Конечно, - выдумывала она. - И вытерто сухо. Дай Бог тебе здоровья!

Она села на стул и задумалась. А у меня вдруг тревожно скакнуло сердце. Ну что мы все дома да дома? Ни телевизора, ни другой радости!.. Я пересаживала бабушку к окну и спросила:

- Вот посмотри на мое лицо и скажи, что ты видишь?

Она смешно и жалко прищурилась и поводила пальцем возле моего носа:

- Глаза-ти вот хорошо вижу, черниются. Волосы тоже, брови маненько... А так, - она обвела руки вокруг, - туман, все туман.

Я поняла, что сейчас она заплачет, и выпалила:

- Знаешь что?!

Она напряглась в тревоге. В моем голосе были не знакомые ей ноты.

Тогда я прижала к себе ее голову и прошептала:

- Давай пойдем сегодня в кино, а?

Она замерла. И вдруг оттолкнула меня с чужим вытянувшимся лицом.

- Полно-ка Бога гневить!

От стыда и боли я вся вспыхнула. А она сгорбленно добрела до постели, легла и отвернулась к стене.

До самых сумерек я просидела в зале. Глядела в окно. Проехали туда и обратно бабы на санях. Нинка Смирнова проволокла два раза флягу с водой. Протопала мимо Маня Шутова к телятам, помахала мне рукой. А я все сидела и сидела. Тикали ходики. Бабушка вздыхала. Один раз она окликнула меня. Я промолчала, проглотила слезы. Тогда она пошептала что-то, поскрипела пружинами и снова затихла.

Стало совсем темно. Бабушка повернулась в мою сторону и молвила примирительно:

- Свет-от зажги...

Я молча щелкнула выключателем.

Она села на кровати, свесив худые ноги в обрезанных валенках, и спросила обычным голосом:

- Чай-то попить успеем?

- Б-ба...

Я упала перед ней на колени и обняла ее ноги.

- Бабушка!!

Она поласкала меня по голове и сказала;

- В сундуке плат у меня есть большой, в клетку, достань!

Я порылась среди таинственных узелков и нашла нужное. Из чулана принесла плюшевую жакетку, холодную с мороза. Чтобы согреть, приложила ее к печке и счастливо потерлась щекой о ее бархатистость.

Только у калитки бабушка засомневалась вдруг:

- Молодая не хаживала, а таперь незрячая пойду! Народ пугать!

- Ба-аб...

Сокращая путь, мы брели тропочкой через лес. На ней и во тьме видны были полозья от саней - каждый день бабы ездили в Михали здесь. Бабушка шагала сзади, угадывая дорогу по моему силуэту. Шла и подсмеивалась над собой, и вытирала рукавичкой слезы под очками. А я молола какую-то чепуху, лишь бы отвлечь ее от сомнений.

Перед Михальями начал валить снег, обещая потепление. Залаяли собаки.

Там, на окраине села, меня вдруг охватило беспокойство. Я оставила бабушку брести по наезженной дороге, а сама убежала вперед. Старенький клуб виден был издалека, но не светился огнями. Я припустила сильней, решив, что сеанс уже начался, и вскоре оказалась у крыльца. На дверях висел замок! В снегу валялся кусок афиши с буквами «Два Ф...» С кого тут спросишь?!

А бабушка словно почуяла неладное: стояла посреди дороги и таяла мне навстречу растерянное лицо.

- Не будет фильмы, да?

Не забыть мне ее обреченного голоса никогда!

Всю обратную дорогу мы молчали. Да и о чем было говорить? Сходили!..

- Батьке токо не скажи, - обронила бабушка единственное...

Чтобы как-то пережить этот вечер, я принялась носить воду в баню. На дорогу я должна была помыться, таков обычай. Пока я прокапывала тропочку в огородец, пока раз пять ходила на колодец, времени прошло немало.

Вернувшись в дом, я застала бабушку на коленях перед сундуком. Она перебирала свои одежды. Кивнув на темно-синее платье, сказала:

- Сестра Вера подарила в Женский день. Я давно кубовое хотела... А таперь вздумала поглядеть.

Она поднесла платье к стеклам очков.

- А ты примерь, баб!

Она не воспротивилась, спряталась за занавеску в спальне. В проеме я видела, как обнажились под короткой майкой ее сдвинутые коленки, шевельнувшись на груди легкий алюминиевый крестик.

- Ровно и окоротало платье, покуда лежало, - заохала бабушка, выходя. - И руки торчат, как мутовки. А я думала, как маков цвет выйду!

- Да хорошо, баб!

- А наряди пень в красный день, и он хорош будет, - погасше усмехнулась она и вновь склонилась над сундуком.

- Вот они, мои наряды, - она выложила на постель узелок, бережно развернула платье, платок, сорочку. - Смертное мое припасено. Тапочки вот, Главдя купила. Который год лежат, дожидаются... А я еще по кинам! Прости меня, Господи, грешную!

Наутро поднялась она не в духе. С первым автобусом вернулся дед, она без причины покрикивала на него, почти не говорила со мной. А я не совалась. Топилась баня. Наконец дед пришел и объявил, что все готово.

- Ступайте буде!

- Не водой несет! - огрызнулась бабушка. - Там таперь еще медведь зажарится. Сам и ступай!

Дед промолчал, порылся в горке, взял полотенце, чистые кальсоны с рубашкой и кивнул мне:

- Дак пошел я!

- С Богом! - отозвалась я.

Бабушка возилась в кухне.

- Ты подсоби-ка мне самовар наладить, - кликнула меня, - не то придет, заворчит.

Я вытряхнула из самовара пепел, принесла глушилку и накидала но-

вых углей. На печке нашла лучинку...Скоро в трубе загудела тяга.

Дед пришел нескоро - мы успели подремать. Пришел и рухнул на кровать, весь потный.

- Ой, хорошо, дочень, - еле проговорил он. - Там-ади веник на полке...Воды холодной много...

Я вытерла ему полотенцем лоб, и он кивнул благодарно.

- Ступайте буде, пока жарко.

- Я сварюсь...

- Матку посылай!

Бабушка в зале заворачивала в полотенце свою одежду.

Я вышла за нею на улицу. Был белый день, прорывалось сквозь быстрые тучи солнце. Бабушка перекрестилась у крыльца и, взяв свой подонок, сделала с ним первый шаг. Я тронулась следом.

Заслышав, она обернулась:

- Не ходи! Одна спробую. Ухожи-ти знакомые...

Я осталась у крыльца, а когда она свернула в огородец, дошла до забора и от него наблюдала, как она доберется. Ветер трепал ее юбку, свистел под крышей. Начинались февральские метели.

Сердце не дало долго высидеть дома. Я зашла в предбанник и кликнула. Бабка отозвалась тоненько и весело:

- О-ой?! Поди-ка скорей голову мне почухай!

Я быстро скинула с себя все и, нагнувшись, нырнула в жару.

В мокром тумане белело костлявое бабушкино тело. Я нашла мочалку и принялась тереть подставленную мне спину. Бабушка привздыхала от моих движений и кивала: еще, еще! Потом отдышалась, плеснула себе на лицо холодной водой и заулыбалась:

- А теперь я тебе! Чтобы дал Бог здоровья! Моему Богу пето, да пользы нету! Давай-ка поворожу...

Она нащупала веник, макнула его в горячую воду и стала похлопывать меня им и приговаривать:

- Ехала из-за моря хавронья, везла целый короб здоровья, тому-сему хлопок, Нинушке - целый коробок!

Потом я поливала ей голову чистой водой, и она, отфыркиваясь, перебирала редкие волосенки корявыми пальцами. А мне виделась фотография, на которой бабушка - молодая, и коса у нее большая и толстая, стекает по груди...

До самых сумерек сидели мы потом втроем за самоваром, отирали со лба пот. Дед принес из чулана мед, заодно пихнул мне литровую баночку с собой. Широким ножом он колот на ладони глыбы сахара и выкладывал кусочки передо мной и бабушкой. Та ухмылялась и шептала:

- За молодой так не ухаживал! Как лиса за бараном.

Мы нацеживали стакан за стаканом и не могли напиться. Вода была сладкая, с «журавля».

Первой сдалась бабушка. Она без слов завалилась на кровать и поджала ноги. Я накинула на нее покрывало.

- Давай, дед, не будем свет включать, а? Лампу зажжем, как раньше?

Старик кивнул. Я взяла с полавошника лампу, потряхнула, чтобы услышать, есть ли керосин, и сняла стекло. Вывернутый фитиль вспыхнул весело, и зало наполнилось таинственными тенями на потолке и стенах.

Дед вдруг затянул что-то себе под нос.

-...и готов за нее жизнь отдать, - разобрала я. - Бирюзой разукрашу светлицу, золотую поставлю кровать...

Голос у него был дребезжащий, срывался, но он не унывал.

- На кровати лебяжья перинка и ковер из душистых цветов.

Разукрашу ее, как картинку, и отдам это все за любовь!

- Тьфу! - выразительно отозвалась бабушка с кровати. - Будто разучивает песни-то! Молодой не певал...

- Но сомнение в душу крадется, что красавица мне не верна.

Наказанью весь мир ужаснется, ужаснется и сам сатана!!

...А ночью мне снился разбойник, наливающий чай из нашего самовара! Очнувшись от кошмара, я увидела бабушку стоящей перед иконой. Она была в белом платочке, который светился во тьме, и через десяток не понятных мне слов повторяла мое имя.

Не смея ее тревожить, я снова погрузилась в беспокойный сон.

Теперь Загар вез меня через васильки, растущие в снегу. И оказались мы на Дворцовой площади Ленинграда. Там весь наш третий курс барахтался в фонтане, и кто-то невидимый методично топил нас палкой, как котят. Ребята уходили под воду, потом выплывали. А некоторые не выплывали и покорно шли на дно...Нас становилось все меньше, и все больший испуг владел оставшимися. А я барахталась и барахталась, как та лягушка, которая в кринке сбила лапами из сметаны масло. И вдруг вода исчезла. Я оказалась на суше, сама тому не веря. И в руках у меня был почему-то мой этюд «Старики»...

18.11.1956.

«Комсомолец автобуса ждет,

я смотрю на него, восхищенный:

в коммунизм он по праву войдет,

в жизнь и в Родину страстно влюбленный!»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ

«Погиб он в ноябре, накануне праздника, - так начала я свою повесть. - Пошел в парикмахерскую, что в старом деревянном здании. На первом этаже там мебельный магазин, а в мужской и женский залы ведет пристроенная сбоку круглая лестница. Когда со стоном и воплями прибежала жена, простоволосая, в домашнем халатике, испачканном мукой, он лежал на обледеневшей земле с расколотым черепом, и снег уже не таял на остывшем лице...»

Писала я, конечно же, о погибшем бабушкином сыне.

Дальше мысль моя переносилась в деревню, где действовали старики, списанные с моих деда и бабки. Они горевали о сыне втихомолку, изредка делясь болью с забегавшими соседями. Старуха, как и принято, размазывала слезы по щекам шершавой ладошкой, старик трепал за ухо своего пса и разговаривал с ним. По весне, когда с застужи стали срываться тяжелые капли воды, старикам, конечно, стало веселее, даже ходики в зале затикали быстрее и радостней, даже задвиги в трубах позвякивали добрей,

чем зимой.

До завязки основного действия я позволила, чтобы в гости к старикам приехали их внуки-школьники. Они долго сидели за столом, молча роясь в блюде, и вечером убежали в кино, а на другой день уехали так же внезапно, как появились.

Все изменилось, когда на село прибыла новая учительница из города и ее определили на постой к старикам. Тут и председатель возник, который разводил руками и говорил «не обессудьте», и «учителька» стремилась «подсобить» по хозяйству, и старик ее нахваливал, что «девка ядреная», а старуха поддакивала: «Да, охлебинка крепкая». Охлебинка значило «спина», и учителька, как я минувшей зимой, удивлялась и восхищалась словами. «Они вам много чего наговорят! - проявлял внимание к молодой учительнице симпатичный председатель. - Живите в согласии!» - «А где разлад, прощай веселье, там житье плохое!» - отвечал дед, взглянув на бабу, и та неторопливо заканчивала: «Будь же с нами неразлучно, дружество святое!»

На этом повесть моя обрывалась, потому что для дальнейшего движения я нуждалась в чем-то ободрении. И я отважилась показать эти несколько страниц своей бывшей однокласснице. Она училась на русской филологии, и мы вместе ездили в университет.

- Это все? - спросила Ирина, когда поутру толпа внесла нас в троллейбус и пришла к стеклу на задней площадке; она успела прочитать мое творение в электричке.

- Пока все, - потупила я взор, испугавшись ее холодного взгляда.

- А что будет дальше?

- Постараюсь сделать так, чтобы учительница полюбила стариков и осталась там жить...

- Ха! - хладнокровно сказала моя попутчица. - Если меня, например, пошлют работать в деревню, я и трех лет там не выдержу. Даже если выйду замуж!

- Правильно! - обрадовалась я, уловив только последнее. - Я выдам ее замуж! Вот только за кого бы?

- Действительно, за кого? - иронично смотрела приятельница.

- Ну, допустим...за председателя...А что, он подойдет!

- За что же она его полюбит?

- Не знаю...За что-нибудь.

- А ты хоть знаешь, чем озабочены председатели колхозов? Или сельсоветов? У тебя какой председатель-то?

Я задумалась

- Надо будет - узнаю, куда денусь! .. Только...Это сколько же надо знать! - Если бы руки мои не были зажаты людьми, я схватилась бы ими за голову. - И про колхоз, и про школу, и про ребятшек, и про всех из деревни... Ведь она же со всеми будет общаться, правда?

- Правда, - снисходительно ответила Ирина и посмотрела на меня с внимательной жалостью. - Вот ты ответь мне, только не обижайся. Сидишь ты писать. Как ты определяла тему своей, допустим, повести? Что ты хочешь ею сказать? Идея какая?

Я молчала. За окном билась во льдах темная студеная Нева - мы подъезжали к университету.

- Так как? Нам выходить... Ну, хотя бы - за что ты хочешь агитировать? Езжайте все работать в деревню и оставайтесь там? А если я не хочу? Чем

ты меня убедишь, а?

Мы вышли на набережной. Ирина, взглянув на часы, рванулась к факультету. И я вдруг азорвалась:

- Да погоди ты, не опоздаешь! Ты мне скажи лучше - ты была когда-нибудь в деревне? Ты себе хоть чуточку представляешь, что там за люди?! Ты хоть раз слышала, как они говорят, - ты, языковед?!

- Допустим, нет. Ну и что? - холодно спросила спутница и опять взглянула на часы.

- А то, что я - видела и слышала! И я хочу писать, чтобы вместе со мной люди удивлялись и восхищались!

Ирина ухмыльнулась.

- А разве я сказала - не пиши? Напротив, пиши, и постарайся все это доказать хотя бы мне. Желаю удачи!

И она, исчезая, приветливо помахала мне рукой.

«Желаю удачи!» - мысленно передразнила я ее. И почувствовала, как в этот миг во мне, не родившись, умерло мое произведение. Я вдруг люто возненавидела каждую его строчку, а заодно и саму себя за то, что ничего не разумею в жизни.

А дома меня снова ждало письмо от деда.

«Дорогая мнучка Нина Павловна спасибо за письмо хотя нимного узнали овашей жизни издоровии абабка узнала что ты забыла ручку и блокнот сразу завязала и убрала, вот выполняю твою прозьбу посылаю все выпуски из него...»

Я посмотрела на аккуратно вырванные из блокнота листки и усмехнулась: такими никчемными показались мне собственные записи! Все разговоры подряд, обычные, будничные! Ну нельзя же так, бессмысленно вот так все писать - это мертвое, в него не вдохнешь жизнь! «Старые сойдемся, все кланем прошлую жизнь». Ну и что? «Привыкала собака к палке, не привыкла: бросят - бежит!» Даже если в этом что-то есть, то к чему теперь? Не мною выдуманно, не мною подмечено, скажу - как украду... Однако что же делать? Что? Неужели вот так и дать исчезнуть, забыться?!

Ах, бабушка, бабушка! Как славно: «Не мутясь, море не установится». Не установится море, не мутясь...

Неужели, не мутясь, не установится?!

Гляжу в темном зале на экран. Слушаю.

« - Так это он и есть?

- Да, это он самый. Смотрите, какой хороший!

- Ага! Особенно дым из труб!»

Спорят в кабинете и не могут примириться Лена Бармина - Белохвостикова и Черных - Василий Шукшин. Я пытаюсь вникнуть, но... И откуда Лена такая умная? Ведь мы - ровесницы, а я ничего не понимаю. Хотя, конечно, отец у нее ученый, воспитание! Не то что у нас! Я бы вот никогда не осмелилась перечить такому, как Черных. Тем более, что лицо у него хорошее, ему хочется верить. Но почему Лена так настаивает на своем? Может, действительно нельзя без потерь для природы пустить завод на берегу Байкала?

Иду смотреть «У озера» второй раз. Снова вовлекаюсь, сомневаюсь. Мне двадцать лет. Почему же я ни в чем не разбираюсь? Кто прав? И зачем я наивно верю лицу этого человека? Его походке, движениям... Мне спокойно,

как если бы это был мой отец. Нужно обладать огромным талантом, чтобы так играть. Даже не то. Надо быть огромным человеком, чтобы так жить на экране!

А люди...как они могут после фильма еще говорить о чем-то постоянном? Какие-то сплетни собирают...Не хочу слушать! Но - слышу:

- И ты не читала его рассказов?
- Кого?
- Ну этого, Шукшина, который играет Черныха!
- А он разве пишет?
- Да еще как!
- Никогда бы не подумала!

Через полгода, по осени, я прибежу в кухню с «Литературной Россией».

- Мам, ты только послушай!

«Клавдия извлекла из чемодана коробку, из коробки выглянули сапожки. При электрическом свете они были еще красивей. Они прямо смеялись в коробке. У Клавдии...Клавдия...Сергей пошевелился и опять замер. Дочери повскакали из-за стола...Заахали, заахали.»

- Тошно мнеченьки! Батюшки мои!.. Да кому это?»

Мама слушала внимательно, мяса тесто для домашнего печенья. Она была не ахти какая мастерица по кулинарной части, но несколько фирменных блюд у нас было. Любили мы с мамой друг друга преданно и сдержанно: никогда не обнимались на людях, никогда не говорили ласковых слов. Просто она, мяса тесто, вдруг подзывала меня и - с улыбкой проводила по моему носу мучным пальцем...

«В сердце Сергея опять толкнулась непрощенная боль...Жалость. Любовь, слегка забытая. Он тронул руку жены, поглаживающую сапожок. Пожал. Клавдия глянула на него...Встретились глазами...»

- Здорово, правда?

Мама пожала тогда плечами и спокойно продолжала нарезать стопочкой из раскатанного теста кругляши печенья. Я постоянно таскала их с собой в университет.

«Тетя была хмурая - не выпалась, что ли, - читала я матери спустя еще несколько месяцев. - И почему-то ей показалось, что это стоит перед ней тот самый парень, который вчера здесь, в магазине, устроил пьяный дебош...»

...Сашка взял девочку на руки, прижал к груди. Чего-то вдруг аж слеза навернулась.

- Кроха ты моя...Неужели ты все понимаешь?»

- Ну неужели тебе не нравится? - удивлялась я, глядя на мать.

- А я такое каждый день в магазине вижу. Садись да пиши прямо с жизни!

- А разве литература не должна быть слепком с жизни?

- Кто из нас учится в университете - ты или я? У меня всего четыре класса.

- Нет, а мне это чем-то нравится...«Ведь мы сами расплодили хамов, сами! Никто нам их не завез, не забросил на парашютах...»

- Сенька! - крикнула мама кота и поискала глазами на полу. Тот прибежал готовно, в ожидании лакомства потерся об ее лодыжки. - Ты что лучше почитал бы - Шукшина или «Анну Каренину»? А?

- Да ну тебя! - притворно рассердилась я тогда, поняв, что разговор окончен: мать никогда не навязывала своего мнения, потому мы и не ссорились с нею.

...Но разговоры эти еще предстояли. А рассказы, которые напечатает «Литературная Россия», еще не были, быть может, написаны. Зато был уже фильм «У озера», были споры вокруг него.

И люди потихоньку начинали узнавать о других профессиях актера Шукшина.

- Представляешь, - говорила я маме, забившись в кухне в уютный уголок, - я когда-то смотрела его фильм «Ваш сын и брат»! Я совсем забыла об этом, а вчера вдруг отыскала в своем дневнике... Конечно, я не знала, кто автор, но мне понравилось. Какие там люди! Особенно деревенские...Мам, - спросила я неожиданно. - А ты тоскуешь по деревне?

Она задумалась, посмотрела в окно на яблони и пожала плечами.

- Голодали мы там. Только это и помню...Я век уже не была на своей родине.

- А хочется?

- Хоти не хоти, там все порушено, никто давно не живет.

- А к отцу в деревню?

Мама помолчала.

- Куда от своего огорода? Да еще с моим здоровьем...

«Ну пока и я брожу аматка лежит вбольнице в кужбале уже два месяца слишком вот все один ночую скошкам напечке истопим печку скотину накормим опять напечку почту стретим опять ниту вот и переживаю ну да вседаки наконец дождался насколько был рад большое спасибо вам затолокно исть ничего нинадо только натолокне как приедут сНеи сварим хватает мне нанеделю одному скотина пока слава Богу здорова хотя тяжела стает овечка».

Летом 1970-го мы выбрались в деревню с мамой. Уговорила я ее. Не была она в Починке давно, и странно было наблюдать, как у них с бабушкой снова завязывались отношения. Слабая после больницы, старуха почти не вмешивалась в хозяйство, и мы делали все под руководством деда. Мама придумывала то новый суп, то кисель или компот, а бабка усиленно нахваливала: как в доме отдыха! Я радовалась, когда мама шутила и бабушка подхватывала. Но гораздо чаще старуха причитала и жаловалась на свою жизнь. Мама сразу как-то сжималась. Сама она никогда не ныла и избегала нытиков. Сложно мне было в то лето делить между ними свою любовь. И я очень обрадовалась, когда приехал с Неи мой двоюродный брат Борис.

Мы были с ним старшие из внуков, потому, наверное, лишь его из деревенского детства я и помнила. Но помнила не случайно.

В деревне летом главная забота - овец пасти. Поскольку старшим и без того работы хватает, на это дело каждый двор назначал внучат. Наши старики полагались на Бору. Но охота ли ему было в семь лет вставать на заре и плестись на целый день в поля? Ребятишки другие на речку убегут, а ты - как проклятый!

Я помню, как он обрадовался, когда в деревню привезли меня. В его голубых глазах вспыхнула улыбка, и весь вечер он без повода хохотал. Какой

веселый мальчишка, подумала я.

На другой день я проснулась к обеду. Дед ответил, что брат пасет овец. Когда придет? Вечером... На этом мое любопытство иссякло. Я убежала на поветь к Шутовым качаться с Надькой на качелях. «Называют меня некрасивою, так зачем же ты ходишь за мной...» - орали мы. А вечером Боря ни с того ни с сего нагрубил мне. Я обиделась и уверовала: какой невоспитанный мальчишка!

И вот теперь, через много лет, он рассказал мне эту историю. Мы сидели на повети, свесив ноги, и смотрели на заходящее солнце. Я выслушала брата и рассмеялась.

- И ты столько лет хранишь обиду на то, чему я не придала ни малейшего значения?!

Он по-детски насунил и буркнул:

- Я давно хотел тебе все высказать, да ты не приезжала... А я как вспомню тот день - до сих пор плакать хочется! Ты спишь, рот открыла... Я пнул тебя, а дед сказал: «Не тронь!! Она городская, ей тяжело будет!» А я чем хуже был, а?

У него даже слезы блеснули, и я погладила его по белому чубчику.

- Ну ты даешь! Прости, если я была виновата. Только я правда ничего не помню!

- Ладно, - отклонился он от моей руки. - Только скажи честно: чем мы хуже, не городские, а?

- Да ничем, Боря, чего ты?!

- Вот именно! - он торжествуя посмотрел на меня и улыбнулся.

- Вы о чем тут? - подседа к нам приветливая Борина супруга Людмила. Он познакомился с нею за день до армии. Переписывались. А недавно поженились, и дед отчитывался в письме:

«Погоуляли хорошо весело никакова шуму небыло двух дней нихватило прихватили третьева».

Накануне мы сходили с Людмилой в лес - не столько грибы собирали, сколько разговаривали.

- А он скачет, как козел, не утонишься за ним! - говорила она про Борю. - И грибов не наберет, и намучает всех...

Мы с ней далеко не заходили, все брели по краешку леса вокруг деревни. Люда была открытая всему, любознательная. Интересная книга? Прочитаю... Хороший журнал? Выпишу... Мечтает Боря учиться? Я знаю, но ведь в летчики ему нельзя по здоровью. Пускай едет в Кострому в любой институт, хоть на дневное, - не будет же он всю жизнь шоферить. А что я? Я подожду. Квартиру дали. И сыночек вот скоро будет... Все хорошо!

И теперь она мирно уселась рядом с нами, подумав вслух, что нужно не забыть прихватить домой замоченные грибы.

- Нин! - окликнул Боря, жуя травинку и хмурясь. - А как правильно сказать: по грибы или за грибами?

Я посмотрела в его голубые беспокойные глаза и вдруг вспомнила, что когда-то он меня уже спрашивал о подобном.

- Вот ты, отличница, скажи - как правильно: по воду или за водой?

- А пойдем давай, я - туда, ты - сюда, встретимся ли? - отшутилась я тогда.

И теперь он был такой же - обиженный несправедливостью ребенок: «Чем хуже мы, которые не городские?!»

- Братик мой, - снова нежно погладила я его по белым волосам. - За грибами, по грибы... Ну неужели за столько лет ты без меня не нашел, где узнать об этом? И разве это самое важное для тебя сейчас?

Он долго смотрел вдаль молча, потом хлопнул меня дружелюбно по плечу и сказал, поднявшись:

- Ладно. Мы вот сейчас домой поедem. А тебе, журналистка, задание на два дня.

- Какое?

- Овец пасти!

И он открыто, удовлетворенно засмеялся.

Когда мотоцикл его затарахтел во дворе и прощально просигналил, бабушка перекрестила окошко и вздохнула:

- Опеть, говорит, батька выпивши был, скандалил. И утресь деньгами бренчал... Как Саврас без узды, не подходи - стрекнет! Прости его, Господи!

Вечером бабушка долго шепталась с мамой, а я заснула: утром была назначена побудка.

Стала я сама, радуясь раннему часу. В кухне за окном трепетали осины. Еще только-только разгорались дрова в печи, еще мама не успела умыться, а я, натянув резиновки и дедову кепку, вышла за калитку вместе с ягнятами. С другого конца деревни, взмекивая, шли ко мне овцы. Я подгоняла их и покрикивала, как местные бабы: давай, давай! пошли!

Ушли мы недалеко - шуму больше было. Только перебрались через большак, как стадо принялось щипать траву возле лесочка. Я успокоилась, что оно не бегаёт, пристроилась на пеньке с книгой. Время текло. Солнце высушило росу, в сапогах стало жарко. Я разулась и улеглась на куче соломы. Овцы тоже начинали укладываться на первый отдых.

Не читалось. Я перевернулась на спину и стала смотреть на белые барашки облаков. Странно, что их называют барашками, совсем даже не похоже... И между прочим, барашков в детстве я однажды пасла, зря Боря на меня! Даже с родным своим братом пасла! Мы тогда погнали стадо за дальний выгон, и бабушка наказывала: не стравите клевер! Что ж мы, совсем глупые?! Мы даже обижались, оглядывая поле. Вот он лежит, почти у леса, белый таинственный камень со странным названием «клевер». Наверное, по вкусу он похож на соль-лизунец, а много ее овцам нельзя, пить захотят. Пускай лучше обрывают розовые головки кашки. В ней меду много, пчелы и шмели кружат не зря. Овцы не бегут, довольные. Да и мы полакомимся...

Мы дремали на солнце, когда вдалеке показалась бабушка. Я замахала брату радостно: обед несут! Но услышала бабушкин плач. Она бежала и кричала:

- Ироды вы окайнные! Я же упреждала вас - не стравите клевер, не стравите...

Быть может, с того дня нам больше и не доверяли стадо?

23.1.1955.

«Президиум Верховного Совета СССР отмечает, что за последнее время вследствие полустительства местных органов широкое распространение получили отравы скотом и птицей... колхозных и совхозных посевов... лугов, стогов сена... В целях обеспечения охраны колхозных и совхозных посевов и насаждений от отрав Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

...2. Установить, что за потраву и другой ущерб, нанесенный посевам и насаждениям колхозов, совхозов и других государственных и общественных хозяйств, должны применяться следующие меры материальной ответственности:

...а/ за задержанных на посевах, в насаждениях и у стогов сена овец, коз, свиней, телят - 25 рублей с головы, за взрослый крупный рогатый скот, лошадей и верблюдов - 50 рублей с головы, за птицу - 5 рублей с головы...»

Но теперь, почти взрослая, я не волновалась за овец: не проведут, ученая! Изредка поднимала голову и оглядывала стадо. Все было нормально.

И вдруг я увидела маму. Она вышла с прямушки с сеткой в руках и ступала медленно, останавливаясь через каждые десять метров. Я бросилась навстречу.

Груз она отдала сразу, без сопротивления.

- Ха, да совсем не тяжело, ты чего? - спросила я весело и шагнула вперед. Но мама не тронулась с места.

- Подожди, отдышусь... - тихо сказала она. Лицо ее было бледным.

- Тебе плохо?

- Нормально, - ответила она. - Мне всегда так... Воды вот зря поносила утром...

- Дак зачем ты? - возмутилась я. - И вечером бы успела я.

- А дед пошел. Что я - смотреть буду?

Я прижалась к матери, погладила по худой сутулой спине. Она положила мне подборсодок на плечо и затихла.

- Ты думаешь, - сказала она наконец, - я сюда не езжу, потому что не хочу? Нельзя мне сюда, видишь... Нахлебников и без меня хватит.

Она отпрянула вдруг от меня, засмеялась и высыпала мне в рот горсть брусники.

- Пошли! Забросишь домой сетку и - назад к овцам. Дуй!

На обратном пути через Нею мы собрались с родными на местное кладбище. Долго, очень долго шли сосновым бором. Я все оглядывалась на мать, но она ободряюще улыбалась: иди, мол, даже старухи вон бегут впереди нас!

Попутчицами нашими были бабушкины сестры и дочь ее Клавдия. Она первая проскользнула меж веселыми голубыми оградками кладбища и отыскала нужную могилу - своего младшего брата. Когда мы подошли, она уже посыпала на бугорок пшена и разворачивала на столике закуски... Я поглядывала на фотографию дяди, которого почти не помнила, и не испытывала особого сожаления. Мои утраты были еще впереди.

Назад маму отправили со знакомыми на мотоцикле. А сами так же медленно брели по усыпанной хвоей тропе, спотыкаясь о торчавшие корни деревьев. Было тепло. Я мечтала до вечера успеть выбраться на речку, смыть печали. Жизнь, в общем, была прекрасна.

И вдруг я услышала за своей спиной:

- Далеко уж больно ходить! Лучше бы на старом схоронили.

Они еще вспоминают про кладбище! Зачем?!

- Далеко не далеко, а земля этта лучше, сухая, - ответила Анна Михайловна, бабушкина сестра.

- Не все одно, где лежать, на старом или на новом? Против людей

только неловко, это да.

То был голос бабушкиной сестры Веры.

- Ведь слышал братка, слышал, что гости пришли, - тихонько причитала тетя Клава. - Хотя бы сказал словечко! Нет, молчит!

- Ой, девки-матки, даже страсть берет! - продолжала свое бабка Вера. - Вот так живешь, живешь, а потом повалят в яму и уйдут - лежи!

По-за мной угрюмо замолчали. Я сердилась на всех сразу. Ну зачем думать о том, до смысла чего век не додуматься?!

- Ой, поноровите, девки, запыхалась! - взмолилась бабка Вера. - Видно и мне скоро времечко подоспеет...Ни-ин!

Я встала и обернулась, готовая прекратить пустой разговор. Но обнаружилась обычные спокойные лица!

- Ну что, Пална? - Не дала мне рта раскрыть Анна Михайловна, улыбая и худая, как жердочка. - Когда в гости пожуешь?

Ее мудрые глаза говорили: все нормально, не бери в голову наши разговоры, твое дело молодое. Я молча согласилась и спросила:

- А когда пригласите?

Анна Михайловна игриво поклонилась:

- Приходите, дорогие гости, когда меня дома нет!

- Приходите и вы к нашему ^утону, почесать спину! - отвесила поклон и Вера Михайловна.

Вот так в тот вечер я оказалась у старух, где частенько буду засиживаться потом.

Они жили вместе, в одном доме. Анна Михайловна на старости лет осталась без мужа и без детей и переехала к вдовой сестре. Она стала в доме за большуху - носила воду, возделывала огородец, бегала в магазин, мыла полы, выбиралась в лес по ягоды. А бабка Вера возилась с печкой да напрашивалась на похвальбу за угощение:

- Стряпаю день до вечера, а обедать нечего!

То была сущая неправда: были они хлебосольны, всегда в доме водилась стопочка, к ней - хрустящий огурчик или груздошки, а жареной картошки с луком я за всю жизнь не едала вкуснее, чем у них.

- Внучек-то у меня что учудил, - рассказывала в тот вечер бабка Вера, подавая на стол пироги. - Вишь - поломатые?.. Притих он намедни, а потом кличет меня да рукой на стол тычет. Кажный пирог надвое разломил! Да почто ты, поганец, такое горе учудил мне? А он смеется, зубы кажет: «Чтобы больше было! «

- Ты ей про клюкву, про клюкву скажи! - подзадоривала Анна, разливая чай. - Как ты торговала ею на станции.

- А ничего такого и не было, чтобы хвастать, - упиралась Вера.

- Было, не было, а носила, продавала?

- Ну и носила раза три, ну и что?

Анна довольно отмалчивалась, видя, что сестра собирается с мыслями.

- Силы были, вот и носила...Ну, и подала мне раз проводничка деньги с подножки, а поезд-от и пошел, пошел! А я ведро-то не успела подать! Бежу, да где там...пришла домой, расстроилась, аж заболела вся. А люди добрые и говорят - ты, говорят, узнай на станции, когда поезд назад вернется. Спасибо, узнала я и тащусь опять с ведром.

- Зачем с ведром-то? - робко заметила я. - Пересыпать бы во что, полегче бы...

- А ну как подавлю? - резонно ответила бабка Вера. - Да и видко так - не омманываю, значит, полное подаю...Прихожу. Поезд долго стоит. Один вагон прошла, другой...Вот она, моя девушка! На, говорю, ведро-то! А она и не узнает меня...А как признала, дак заплакала вся, целует меня. Как хоть, говорит, бабушка, мне тебя отблагодарить? Какой подарок из Ленинграда привезть? А чего мне, старой, надо? Ничего, говорю, не надо, разве только вот штаны теплые, с начесом, попадутся...

- Привезла?!

- Да проспала я поезд, проспала, бряктушка старая! Так и поехали мои портошины в Свердловск!

Старухи долго смеялись на пару, и я с ними.

- Ну, сытая? - спросила по-деловому Анна Михайловна, поднимаясь.

- Бежи тогда в светлицу, там у нас Веркина фабрика есть. Не бывала, поди?

- Чья фабрика? - вытаращилась я.

- Да моя, моя, - захохотала баба Вера, - меня-то как зовут? Вот, - распахнула она передо мной двери светлой горницы, - вот моя фабрика и вот мой станок.

Весь пол в горенке был завален разноцветными тряпками и катушками ниток. Старуха села за кросна, подвинула ближе стул и взялась за челнок.

- Отгадай загадку... Ногам сучит, пупом трет, где раздвинет, там и ткнет. Ну?

Я зарделась и обернулась на скрип двери в поисках помощи.

- Чего, - входя, хитро спросила Анна Михайловна, - с «картинками» спела тебе старуха?

- Загадку загадала...

- Смотри! - сказала бабка Вера, прокладывая яркую тряпицу в зев, меж натянутых ниток. - Али не так? Раз, два, три!

Старухи плутовато переглянулись.

- Что? Скажешь - старухи-порядухи, совсем из ума выжили?

Я сраженно улыбалась: говорите, что хотите, буду слушать и слушать!

- А чего нам тебя сторониться? - Анна Михайловна уселась на обшарпанном диване и начала расстригать бросовые вещи на будущие половики. - Чего нам тебя сторониться, когда ты нам своя? Поди, у тебя уж и пижуйка имеется?

- Кто-кто? - захохотала я.

- Ну, с которым ты лимонишь...не поняла? Любовь крутишь!

- Теть Ань, - почти подпрыгнула я, - а можно я блокнотик возьму, а?

- Легистрировать нас будешь, что ли? - не отрывая глаз от станка, спросила Вера. - А потом в милицию сдашь?

- Там-ади пьяницам места мало, не возьмут нас!

Я слетала в избу и через миг сидела на диване, готовая писать.

- Чего? - засмеялась Вера.- Разрешите начинать?

И она затянула незвонким, но уверенным голосом:

- Я сию да думку думаю, товарка, ой да ой, что на это скучно времечко не придет ли милой!

- Ты не стукайся, не брякайся, сегодня не пушу, - отозвалась ей Анна Михайловна, - занавешены окошечки, в рубашках вшей ищут!

- Не смейсь, сестрица, сама в девицах!

- Не девица я, разжени! Найдется еще паренек, и на меня из-под ручки поглядит!

- Ой ли? - притворно вздохнула Вера и оглядела сестру-старуху. - Да таки коряги-ноги я видала на дороге!

- Ты не смейся, моя товарочка, сама-то какова? Две недели пришивала к новой кофте рукава!

Вера Михайловна не отступала, я едва успевала ставить на бумаге закорючки:

- Скоро, скоро я женюсь, скоро буду мужичок!

- Я хотел нынче жениться, так и думал, что женюсь! - Анна Михайловна предупредительно глянула на меня и продолжила: - А увидел девок в бане - до сих пор еще боюсь!

- Я хотел нынче жениться - с дома крыша съехала. Эка крыша лешая, да почто с дома съехала!

Постукивал мерно станок, попахивало пылью и древностью от тряпок. Бабка Вера остановилась, отклонилась спиной на стул и протерла усталые веки.

Вдруг где-то в сарае слабо прокукарекал петух.

- Чтoб тебя, лешего, - равнодушно сказала Анна Михайловна. - Опять не ко время поет. Непутевый попался.

Вера вдруг хохотнула про себя и обратилась ко мне:

- А ты забыла али нет, как цыплятами торговала?

- Какими?!

- Бабушкиными, какими еще! Я тогда к няне Лидье приехала, продай, говорю, нянька, мне петушка, некому кур топтать. А у бабки твоей в аккурат два петуха было. Один-то хорошей, жирной, а другой, видать, больной, мал да кости одне. Ей бы этого калеку отдать, сподручней бы. А ты еще глупа была, как заблажишь: «Не дам этого, никому не дам! Я его вылечу!» Так от тебя и отступились, подали мне хорошего... Али не помнишь?

Я слушала, как про другую какую-то девочку, из другой жизни. Интересно, выжил у меня тогда слабый петушок?

- А не знаю, - ответила бабка Вера, - и врать не буду. Мне ведь что? Был бы у меня петух, а в деревне хоть дед кур топчи!

Я хохотнула, и тут же меня окликнула Анна Михайловна:

- Слышь, а у Мани-то в деревне петух все кур клюет? Жаловалась олондась.

- Клюет, прямо в голову! - готовно отозвалась я.

- Топтать ему, может, пора? - задумалась Вера.

- А он неученый, с головы начинается! - ввернула-таки и я, и все трое мы залились беззаботным смехом, до слез.

- Ох, - хохотала Вера, - собьем мы девку с толку. У нее ученье в голове, а мы...

- У всех ученье, - со знанием дела отвечала Анна Михайловна, - а как время придет, о н а разликуется, так все поддьяволятся, кудри смастерят - что чучело подкрученное, и вышагивают на танцы! Вон, гляди, гляди! - кивнула она на окошко, за которым и впрямь прошагали на каблучках девицы.

- Это уж зависит от сознания каждой, - не уступала Вера. - У Верки все по мерке, и Ольку дуй хоть сколько! - серьезно парировала она, хмуря лоб и подбирая нужную по цвету тряпицу.

- Кабы так - и разговору нет. А то не успеешь оглянуться, у одной горбышок на пузе, у другой... А потом припевают: «Маменька родная! В брюхе шевелится. Принесу ребеночка - будешь ли водиться?»

- Кто уходится, тот и водится! - говорила Вера.
 - Все в замуж, в замуж стремятся, думают, в рай. И того не ведают, что попадут в сплошную темноту!
 - Почему?! - возмутилась я по-молодому.
 - Да я видела во сне - увязла курица в квашне! - пропела Вера. - Забьют в лапотный носок, и не жувелькай!
 - А нечего давать себя притеснять! - кричала я эмансипированно.
 - Да ты боевая, сопляк, не сдохнешь! - отвечали мне. - Правильно: делай так, чтобы и шея была цела, и все двадцать четыре удовольствия.
 - Ты поучи, поучи! - страшала Вера сестру. - За ней и так, поди, надо, чтобы ухо с глазом был мужик.
 - Да в кого же сна у нас такая? Уж не пригульная ли?
 И вот так - я поняла - могло продолжаться до бесконечности! Я отдохнула душой и позабыла о бабушке Лидии - с ее вечными слезами и болезнями. Мне так хотелось легкости, радости в общении! Я устала в деревне сопереживать, опекать, помнить о смерти. Почему, ну почему не эти старухи - мои бабушки? Как бы весело, как бы здорово мы жили!
 Не дано мне было понять тогда, что старухи просто талантливо играли для меня в безмятежность. Не хочешь видеть горестей, хочешь подольше быть ребенком? Мы согласные, мы все скроем, пока ты здесь. Вот уйдешь, тогда и повздыхаем, и всплакнем. Нам ведь терпеть - ничто, привычные...

Но утрат никто не избежит. Горе всем на роду написано - одним раньше, другим позже, но - всем.

Мама стояла дома, обняв круглую печку, и поочередно прикладывала к ней руки то ладонями, то тыльной стороной. На ней была старая штопаная кофта и подшитые серые валенки. А завивка давно отросла, и волосы свисали серыми сосульками, загибаясь на концах... На улице было ветрено - начиналась весна 1971-го. Мама покашливала.

Я пришла к ней и устроилась рядышком. У нас нередко бывали минуты откровения возле этой печки - когда внутри у нее гудит, и пламя полыхает за закрытой дверцей, а мы стоим, прижавшись спинами к ее ребристому телу, и советуемся о жизни, не глядя друг на друга.

И теперь я чувствовала, что на душе у матери что-то скопилось; она хранит это, ждет особую минутку. И вот такая настала.

- Ты знаешь, - сказала мама неожиданно тихо. У меня дрогнуло и заныло сердце. - А я скоро умру...

Кипяток хлынул к моим ногам. Я не смогла тронуться с места. Я не обняла ее, не заплакала... Я так же тихо ответила:

- Откуда тебе знать...

- Я знаю, - сказала она твердо. Потом хлопнула ладонками по печке и усмехнулась: - Вот так-то!

Быстро уйдя в кухню, она забрякала посудой.

- Хлеб у нас кончился! - крикнула оттуда.

- Сейчас схожу, - отозвалась я.

Вскоре стоял в огороде нашем снег, обнажилась глинистая земля. Отец стал пропадать в сарае, мастера парник. Мать замочила семечки помидоров и ходила между грядок, повязанная шалью, в серой фуфайке, трудно дыша.

А мне опять было не до огорода. Я была занята курсовой работой на тему «Творческая лаборатория». Кто как пишет, кто как сидит, кто как вынашивает...

«Мы, конечно, не Львы Толстые, - прочитаю я потом у Шукшина, - но хотя бы уж меньше болтали тогда на есяких встречах, как мы волнуемся, переживаем, не спим ночей, теряем аппетит, как у нас «долго не получалось», а потом наконец «получилось».. Хорошо, что получилось. Бывает, не получается.

Что сделано, то сделано, и поменьше бы этой очень нескромной «творческой лаборатории» напоказ».

Но нас учили иначе. Нам дали на факультете командировки в Москву. «Подышите воздухом важных редакций, пообщайтесь со столичными журналистами...» И я собралась.

- Проваливай! - проводил меня за калитку отец. - Тебе все бы гулянки! А батька с маткой одни, запомни!

Не до того мне было. Душа звала!

Неужели затем, чтобы случилась та случайная встреча с Шукшиным? Вся судьба моя тем часом определилась...

- Ах, родимая мама, когда бы ты знала, что за радость отныне на сердце живет! Я поверить боюсь! Я совсем не мечтала, что рассказы понравятся могут...И вот!!

- Ты такая наивная. Страшно мне даже!

- Я лицу его верю! Он напрасно не скажет! Он же все прочитал - и про бабушку с дедом, и про клюкву рассказ. И спросил - что же следом?

- И похвалит, и спросит - на то и актер!

- Но еще и писатель! И сам - режиссер... Он сказал - интересно б ему проследить, как я буду писать...

- Будет то, чему быть! Не спеши и не верь безоглядно словам.

- Ну... Не плачь же ты, ма-ам!..

Под больничным окном липа плакала медом. И надолго из жизни исчезли стихи.

...Мама однажды руку вытянула, а ногти - синие-синие! У меня в голове помутилось. А она еще на работу ходила, терпела. Потом - бронхит. Только на больничном долго ли держат? Неделька - и снова на завод. А мама никогда не пожалуется. Покашливает тихонько, холодный пот со лба утирает. Чего возмущаться? Не в цехе на сквозняке, как прежде, - в ОТК сидишь...Когда совсем прижало, отпросилась к заводскому врачу. Там, в очереди, и упала.

Когда я вошла в палату, она металась по кровати и приговаривала: «Ой, головонька моя, ой, моя головонька!» Похоже было на кровоизлияние. Остановив на мне взгляд, мать напряглась, узнала и выдавила недовольно: «Зачем ты пришла? Иди к экзаменам гостовься...» И снова она заметалась, и меня вывел врач.

А потом она лежала тихо, и левая щека ее слегка косила: паралич задел всю левую половину тела. За окошком, выходящим во двор, было солнечно. И я была в летнем платье. А у мамы начиналось воспаление легких. Она порывалась вспомнить о чем-то давнем, но я остановила: «Вот при-

дешь домой, и мы с тобой наговоримся!»

Почему так поздно мы понимаем, что не успели услышать от человека самое сокровенное? Ничего я не знала о ее детстве и молодости. Но разве это не было мне интересно? Я стеснялась спрашивать, будто это неприлично или обидит. А она, быть может, только этого и ждала все годы...

Я сидела возле ее кровати, и мама молча рассматривала меня. «Ногти-то какие...» - «Да, теперь не до маникюра. Посуду мою и на грядах копаюсь...»

Липа за окном палаты истекала медом, пчелы кружились над ее цветами, а листья были глянцевые, залитые сахаром. Мы сняли дома первый урожай клубники и принесли маме. Наших цветов принесли ко дню ее рождения. Ей становилось лучше. Мы мечтали, что теперь дома не дадим ей ничего делать: пусть сидит книжки читает да нами командует.

А потом ее сносили вниз на рентген. Пообещали скоро выписать. И она заулыбалась, захотела привести себя в порядок. Я пришла с ножницами, постригла ей ногти, протерла тело духами. Было странное чувство: когда-то мама держала меня на руках, беспомощную, а теперь она была вся в моей власти: слабая, покорная. И доверчивая.

Сказали, что надо укрепляться, - ведь ноги за полтора месяца отвыкли ходить. И я неумело делала ей массаж. Посоветовали пить куриный бульон. И на другой день я приехала с тепленьким, в баночке.

Меня остановили.

- Вы к кому?

Я ответила.

- К ней нельзя пока, подождите!

Я не удивилась: опять какой-нибудь рентген. Минут через десять спустился врач и спросил:

- Вы дежурили у нее ночью?

- А разве надо было?

- Дело в том, что она...

Не знаю, почему сочинители в подобных случаях вкладывают в уста героев крик «Не-ет!» Я не вскрикнула, даже не вздрогнула. Просто потемнело в глазах и бросило в пот. Но тут же я по-деловому спросила, кан нам теперь быть, что делать. Мне ответили.

На завод у меня был пропуск - я подрабатывала в мамином цехе уборщицей. Дошла до нужного корпуса, открыла дверь отдела технического контроля и там рассказала женщинам о случившемся.

Врачи потом убеждали, что это простая случайность: закупорка сонной артерии. Во время обхода. Только что улыбалась она врачу, и вдруг - хрип... Но эта случайность караулила бы всю жизнь, и мы с мамой намучились бы. Скорей всего, она и ходить не смогла бы. Так что лучше уж так, как есть... Конечно, лучше, соглашалась я. Как будто нам дано было право выбора!

Отец примчался в ОТК с ревом и рухнул на стулья. Он шмыгал носом и икал от горя, как дитя. Мамины подруги его успокаивали.

Потом мы с отцом пошли на почту. Я писала и отправляла телеграммы, а он курил на улице, ждал меня.

Самое страшное в такие дни - проснуться утром. Солнце светит, жизнь идет, а у тебя...! Отец вставал по ночам, выходил на цыпочках в сени, и я слышала оттуда его утробные, нечеловеческие завывания.

В больницу он идти отказался. Я сама забрала там мамины шерстя-

ные носки и другие вещи.

В день похорон маму привезли на нашу улицу - прощаться с соседями. Поставили у калитки, сняли с гроба крышку, и я увидела, что маму отпевали, - на лбу у нее лежала церковная грамотка. Никогда я не задумывалась, верит ли она...

Подходили соседи, охали:

- Как живая!

Родные стояли смирно. Только я была деятельна - рванулась в дом за табуретками, словно больше некому. Меня задержали, подвели к гробу и поставили у изголовья.

Молчание было тягостным.

- Надо ехать, - сказал кто-то.

И тогда папины сестры - Валентина и Клавдия - запричитали, перебивая друг друга:

- Ох, повезут-то тебя сейчас в дальнюю дороженьку, ох, не ходить боле твоим ноженькам, ох, не видать родимых деточек...

- Ах ты, Тося-золушка, твоя ясная головушка, да почто ты покинула братика, да и мужа любимого Панушка...

Городские вздрогнули, смутились, застеснялись, и сестры, готовые продолжить, прекратили плач. Только Валентина, когда гроб поднимали в машину, простонала:

- Ах, да мама-то наша старенькая, да послала тебе, Тося, денежку, чтоб ты съездила в санаторию, подлечила свое сердечушко...Ах, зачем ты ее не послушалась, да и деньги ее не потратила!..

Горе горькое и вином не зальешь - нужно время. И дело.

Все вечера мы с отцом проводили в огороде - собирали крыжовник, смородину, зачем-то варили варенье. Для кого? Брат мой давно уехал по распределению, через год уеду и я. И останется отец один-одинешенек в этом доме, где все напоминает о маме. Бросил бы свой завод, уехал в Нею к родным - все легче, в отчаянии думала я.

И только дней через сорок я пролью те слезы, которые не выплакались на кладбище. Это случится под Новосибирском, в поезде. Практикантка областной газеты, я буду ехать в редакционную командировку и, лежа на полке, открою девятый номер журнала «Наш современник». Там будет напечатан шукшинский рассказ «Дядя Ермолай». Самый нужный мне в ту пору рассказ!

«И дума моя о нем - простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что, был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или не было никакого смысла, а была одна работа, работа...Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей...Вовсе не лодырей, нет, но...свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю иначе! Но только когда смотрю на их холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее?»

«Спасибо сердечное за посылку завашу заботу онас дорогой сын вот уже усамово полно своей заботы и похозяйству да поработе хотя бы один часок поговорить стобой о жизни хотя ведь ни старик ты предлагати конечно ничего нимогу тебе вписье это наши стобой дела хотябы как

господь дал окончить Нинушке успехом свою учебу».

Нинушка училась с успехом. Выбирала место будущей работы. Хотелось где-нибудь поближе к деревне - в Кострому, Ярославль или в Вологду, а уж если не получится, то в самую Нею. На этот случай был у меня припасен вызов из районной газеты.

О моих планах долго беседовал со мной в Нее папин брат Геннадий. Он притащил подшивку костромской областной «Северной правды и сказал: - Вот, полистай. Я эту газету уважаю...

Я не очень слушала его в тот вечер. Был он пьяница беспробудный, и беседовала я с ним из жалости; одно хотелось: понять, почему же он пьет. Руки золотые - сам и строит, и столярничает, и лудит, и косы клепают, и пчел разводит, и на гармони играет, и грибы солит, а вот поди ж ты - чего-то человеку не хватает! Жена и дети - а их было четверо - любили мои приходы: на людях Геннадий никогда не скандалил, напротив, держался с достоинством и заводил серьезные разговоры. Но не лез вперед, а ждал, когда выскажутся остальные. И когда уж нечего было добавить, вдруг вставлял что-нибудь меткое и неожиданное. Я поражалась. Какие там четыре класса! В одном его замечании было столько глубины, что ее хватило бы на троих таких образованных, как я. Из года в год отец внушал мне это, а я насмехалась над его отсталостью. И вот...

Но чаще всего я видела в глазах Геннадия безысходную тоску. Сидит у окошка, покуривает, пускает на улицу дым. Потом вдруг обернется, и такое у него в глазах взвояет! Я пугалась. И мне почему-то хотелось скорее поправить ему неровную челку, которая никак не ложилась набок.

В тот мой приезд была натоплена у них баня. Пришел и старший сын Геннадия Борис. Его жена Людмила похлестала меня веником. А на столе нас ждали горячие пельмени, и маленький Борин сынишка тянулся за ними в общую тарелку.

Геннадий умиротворенно поглядывал на внука. Потом спросил меня о здоровье отца. Я ответила, но он слушал рассеянно. Поднял на меня воспаленные, чего-то маятно ждущие глаза и сказал:

- А у меня вот печень...вздулась вдруг, тронуть не дает.

- А раньше не болела? - участливо спросила я.

- Давно, когда еще парнем был. Теперь вот на зондирование назначили...

В его голосе была надежда. Но - напрасная.

«Сегодня ездил проведать Геннадия дела очень плохи, - писал дед весной 1972-го. - Вот привезли изКостромы унего вздуло живот и там зделали прокол вживот выкачали боле ведра воды вот и дома все текет так что хорошего мало наверно зБорьке угадает».

Прочитав письмо, отец собрался мигом и уехал в Нею. Я осталась в доме одна с кошками. Затопила печку, села возле и вдруг...вспомнила то, что казалось совсем забытым, - как получили мы извещение о смерти его младшего брата Бориса.

...Был ноябрь. Утром отец вышел вывесить на дом самодельный красный флаг. У соседей тоже трепыхалось полотнище. Вдалеке, у больших домов, кучами толпился народ - собирались на демонстрацию. Где-то из колокольчика неслась веселая маршевая музыка.

- Видно, гость собирается к нам, - сказал отец, вернувшись с крыльца и подсаживаясь к печке. - Сорока на заборе сидит, хвостом дергает.

- Праздник, ничего странного, - ответила мама.

И тут раздался звонок.

- Вот! - радостно воскликнул отец и вышел за дверь. А вернулся с телеграммой. Он бросил ее на стол, уткнулся в косяк двери и зарыдал.

- Бо-ри-ис...

Вскоре в дверь опять позвонили. Не дожидаясь, пока мы выйдем, в прихожую зашел растерянный парнишка. В руке у него был дубликат телеграммы.

Отец с матерью даже не повернулись. Сидели сгорбленно у печки, смотрели на огонь и молча плакали. Я без слов взяла бланк, прочитала и скомкала его...

А теперь - вот это письмо от деда. Неужели опять похороны? Отец еще после матери не оправился... Я ждала его съевшись, сберегая силы.

Он хотел вернуться в понедельник утром, чтобы сразу с вокзала - на завод. А приехал вдруг в воскресенье. Он всегда боялся опоздать на работу и отовсюду приезжал раньше.

- Как? - спросила я.

- Плох Генка, - сказал отец, не распространяясь. Лицо его было посе-
ревшим, щеки ввалились. Он приготовил свежее белье, веник и отправился в баню. Я уехала в город. А когда вечером вернулась, он открыл мне дверь пьяный. Меня всю аж передернуло: начинается! Он уронил голову в кухню на стол и заплакал. Я молча раздевалась, стараясь заглушить бешенство. Плита была не топлена, а он сидел и дрожащей рукой подливал из бутылки в зеленую эмалированную кружку!

И вдруг я подумала, что я - ужасный человек. Вместо того, чтобы поддержать, - ведь не кто-нибудь, родной брат умирает! - я готова устроить скандал.

Я подошла и заставила себя обнять отца за плечи.

Он неожиданно обмяк под моими руками - совсем как бабушка - и заплакал еще отчаянней. Затем, шмыгая носом, вытащил из стола две записки. На первой его рукой было выведено:

«Нинуля! Я опять уехал в Нею. Ты не заметила в ящике телеграмму, она торчала на улице. Держись, не расстраивайся. Оставляю пока четыре рубля, займешь, если будет мало. На дорогу взял колбасу и четыре сардельки, хлеб. По приезду сразу пойду на работу, какой будет день, не знаю. Целую. Папа. 15 часов. Мурка на улице. Поехал в резиновых сапогах».

Плача, он подпихнул мне вторую записку.

«Скоро приду. Папа. 17.30».

Я вдруг ясно представила, как он обнаружил за калиткой телеграмму о смерти Геннадия, взвыл коротко, затем отпер дверь, швырнул на пол сумку с веником, упал на диван и уткнулся в квадратные колючие ладони. Он рыдал на весь дом зло и беспомощно, припомнив вместе с новым все прошлые несчастья. А бланк с черными безжизненными буквами лежал на столе в кухне... Потом, спохватившись, что скоро - поезд, отец с ожесточенным видом шагал к электричке, хлюпая резиновыми сапогами по талому снегу. Но приехал он на вокзал, когда красные огоньки на хвосте свердловского поезда покачивались уже в конце перрона...

Я сморгнула набежавшие слезы и снова, гораздо тверже, обняла отца

за плечи. А он вдруг заговорил...

Когда он приехал в Нею, Геннадий еще мог вставать.

- Ты не ко мне ли? - натужно спросил он.

- Да стариков решил провести, - соврал отец. - А ты чего лежать надумал?

Хуже Геннадию становилось к вечеру. Он, поджав ноги, катался по полу, становился на карачки. Жена, зареванная, заглядывала за занавеску и снова со стоном уходила.

- Пойдем в постель, Гена, - звал отец.

- Ой, погоди, Павлик, только удобную позу найду!

Геннадий замирал на мгновение, а потом снова начинал кататься.

Ночевать отец уехал к старикам. Наколлот им дров, своей электробритвой снял у деда щетину, бабушке постриг ногти. Старуха проводила отца только до калитки, дальше пощупала палочкой дорогу, но испугалась. А ждать ее никто бы не стал. И так с дедом едва успели доковылять до края деревни, как показался автобус. Расцеловались наскоро. Отец сказал, что на полке оставил деньги, не спихните. «Полно хоть, полно, - не понял дед, махнул рукой. - Беги!»

Геннадий лежал, не шевелясь, с вытянутыми вдоль тела руками, с закрытыми глазами. Он был без рознания и больше в себя не пришел. Сколько так сидеть дожидаться кончины? Отец уехал. А следом - телеграмма...

- И почему жизнь у людей такая короткая, - без вопроса сказал отец. Стоя но-прежнему рядом, я тоном старшего ответила:

- Чтобы зря не тратили.

- Еще добавляют, что она обкакана.. А вот этого у нас в роду нет!

Он успокоенно шмыгнул носом и закурил.

- Лучше мало пожить, но - честно, без греха!

Я молча кивнула, а он опять вдруг всхлипнул:

- Э-эх, Генаха! Все говорил - надо стариков забрать к себе в Нею, а их дом заколотить. А заколачивать его вот придется.

Отец слазил в карман за платком, громко высморкался и сказал ровным голосом, глядя на кошку:

- Ну что, Мурка? Пойду-ка я спать. Ничего теперь не поделаешь...

Я поцеловала легшего отца в висок, подоткнула ему одеяло и закрыла дверь в комнату.

В прихожей стояла дорожная сумка. Мурка крутилась возле нее. Я вспомнила, что там продукты, и медленно стала выкладывать содержимое на стол. Фотоаппарат... электробритва... хлеб... сардельки...

Ни раньше, ни позже, а именно в этот миг, смаргивая тихие слезы, я впервые поняла, как дорог мне отец.

Уже ложась, я услышала его зов.

- Нинула!

Пришла, чувствуя, как вздрагивают колени.

- Я забыл тебе сказать. Геннадий просил перед смертью - «маму бы повидать». А я взял грех на душу, не передал ей... Не вынесла бы она!..

Что нарушилось в могущественных тайниках Всевышнего? Почему путается смерть и стучится не в те двери? Из шести взрослых детей у стариков осталось четверо. А бабушка в который раз перебирает свой узелок со смертным: принять бы успокоение. Но где она, смертынька? Не идет, дразнит

только. И денег не пожа́лел бы - да не купишь!..А сыновей забрала.

Наверное, это страшно - пережить своих детей. Добродить по свету до того дня, когда все родимые косточки найдут сырое пристанище, когда холодно станет на земле и истлеет самый смысл материнского существования. Смилуйся и избавь, Господи!

Но пока есть на планете хоть одна частица материнской плоти, пока теплится в ней кровь, пока вызывает она о помощи, - есть на земле и мать, слепая и недвижимая, иссохшая и почти бездыханная, но - нужная, а значит - живая.

Не потому ли, думаю я, долго не умирают женщины, у которых не счесть детей и внуков? Не потому ли так долго жила и жила моя бабка, стоя одной ногой в могиле?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ЦАРИ УМИРАЮТ

А я меж тем вступала в новый этап жизни...

- Кто же сказал тебе, что в молодежке нельзя писать о стариках? И о них всегда пожалуйста!

Неужели?! И вот это теперь - мой город: березовые скверы, деревянные улочки, храм Софии на берегу...Вологда.

Как-то в детстве, проснувшись в поезде, я разглядывала ночью эти причудливые вокзальные буквы, и сердце замирало, точно знало о предначертанном. И вот - я здесь. Полна решимости изменить мир! Сказать свое слово! Мне предоставлены страницы газеты. Чем я их заполню?... Заметка о каком-то совещании. Информация про концерт. Репортаж с выставки. Зарисовка о молодых строителях. Все это не для меня, нет! Надо - в командировку, надо прочь из города!

... И как так происходит, что ткнешь случайно пальцем в карту, а судьба вдруг повенчает тебя с этими местами навек? И будет тянуть тебя туда снова и снова...

Я выбрала тогда Белозерск. И всю дорогу душа молодая ликовала от красот, которые окружали меня. Голубой Волго-Балт со стремительными «Метеорами», чайки над головой, деревни по берегам. Откуда мне знать было, что большинство селений - под водой, и что мы, легко несущиеся вперед, пролетаем над затопленными могилами? Я видела торчавшие из глубины макушки мертвых деревьев, но спешила не задавать вопросы, а повернуться в другую сторону, где открывалось величие покоренной природы. Я была восторженное дитя своего времени.

Тысячелетний Белозерск поразил меня древним земляным валом, куполами церквей, которые светились ночью рядышком с луною. Но и там было суетно, хотелось поскорее уехать туда, откуда больше ехать некуда.

Автобус катил лесом, пересекал речку и оказался у каскада озер, по берегам которых были разбросаны деревни. Они то взбегали на холмы и оттуда глядели окрест, то скромно теснились в низинах, поворотив дома лицом туда, куда хозяину вздумается. Я вышла в Орлове и зажмурилась от тишины. Ничего не хотелось - только сесть на теплую землю, подставить лицо закатному солнышку и никуда не двигаться. Раствориться. Исчезнуть. Перестать быть корреспондентом...С какой стати я ворвусь сейчас в чужую жизнь, собью ее ритм? По какому праву?

Тогда в Орлове я подошла ко двору, спросила Люсю Чудакову - луч-

шую молодую доярку области - и очень обрадовалась, что ее еще нет. Усевшись в низине на бревно, я разглядывала на пригорке ферму. Побрякивали молочные фляги, звучали женские голоса. Доярки с любопытством поглядывали в мою сторону, едва ли догадываясь, что это первая в моей жизни настоящая командировка и что не умею я ни подойти к ним, ни спросить ни о чем. Солнце скользило лучами по озеру, теплая тишина окутывала меня, и хотелось, чтобы это длилось и длилось.

Но раздался чей-то громкий, на меня рассчитанный возглас:

- А вот и Людмилочка пришла!

И я поняла, что пора начинать.

Люся оказалась невысокой девчушкой, у которой из-под платка выбилась светлая прядь. Сложив впереди руки в замочек, она покорно сказала взглядом отличницы: «Спрашивайте!» И я растерялась окончательно: какие могут быть расспросы, когда у человека дело стоит!

- Работать ведь надо...

- Надо! - не оробела Люся. И на долгие годы вперед решила для меня проблему общения с сельскими героями. Не спрашивать надо - помогать. Делать что-то вместе. И тогда сами собой отпадут все вопросы...

Мы дружно принялись за работу. Приготовили доильные аппараты, ведро с теплой водой для подмывания коров, а когда хватились фляг, то оказалось, что кто-то из женщин уже вымыл их за нас. Я вспомнила ласковое «Людмилочка», и мне стало вдруг среди чужих людей тепло и спокойно... Эти женщины поначалу помогали Люсе не только фляги мыть, но и корма раздавать, и стойла чистить, и ребятишек своих посылали: хоть подойник отнесут, чтобы не уставала и не отставала Люся. Велика ли она была, когда пришла на ферму! Только восемь классов закончила. Спать бы да спать, как другие...

- Ничто, высыпаюсь я! - отмахивалась Люся, пока мы сидели все вместе на бревнах возле фермы - ждали коров.

- Не до гулянья с нашей работой, - вздыхали женщины. - Как бы такой хорошей девке без жениха не остаться!

- Ой, хороша девка! - подхватывал кто-то. - В колхозе на конкурсе мастеров доения первый класс дали!

- Была во втором, а перевели в первый! - пошутил кто-то, имея в виду школьные классы. И все тихо посмеялись. Было так же славно, как бывает в дружной семье покойным добрым вечером, когда все довольны друг другом и когда молчание объединяет больше, чем слова.

Тем временем вдали показалось колхозное стадо, и воздух наполнился мычанием. Сморенные жарой коровы припадали к колодам с водой. Ребятишки мелькали между ними с хворостинами, прогоняя напившихся на двор, и с визгом отскакивали, когда в их сторону оборачивались рога. Шум стоял, как на школьной перемене.

А потом все уgomонились, будто ученики расселись по партам.

Только причмокивали доильные аппараты да шумела вакуумная установка. Люся передвигалась со скамеечкой от коровы к корове, и ноги ее легко сжимали подойник. Казалось, что вот сядешь ты на ее место, - и получится то же самое. Но это лишь казалось... Из нашей городской жизни многое в деревне видится простым и доступным. Подумаешь, на ферме! Подумаешь, недоспать! Захочу, и я смогу.

Вот и я попыталась тогда «примерить» на себя Люсину судьбу. Мы

поднялись утром еще до четырех, плеснули на лицо воды и вышли в едва занимавшееся утро. От озера было прохладно и сыро, и пыль на дороге обмякла, не клубилась под ногами. Обычно летом Люся эти три километра со Вздога до орловской фермы ездил на велосипеде. Из-за меня пошла пешком.

Серел по сторонам лес. Пахло прелью и грибами. Но это не радовало - хотелось спать. Ладно хоть было светло! А однажды зимой во тьме Люся встретила на дороге кабана! Хорошо, что он напугался больше, чем она его... А как-то тоже зимой...заснула на ходу! Очнулась, когда стукнулась лбом о собственный забор! Вот такие дела. Только что в этом необыкновенного, чтобы писать о ней? Совсем она того не заслуживает!

Я решила тогда, что уж мне-то видней, о ком писать. Но только теперь до конца додумала эту думу. Не ее, не Люсю надо было прославлять, купившись на выдуманный комсомолом титул лучшей молодой доярки области. Можно ли вообще таковую обнаружить?.. И каково было Люсе привечать корреспондента, когда рядом с ней работали состарившиеся на ферме женщины, за всю жизнь не удостоенные доброго слова от тех, кто пользовался их трудами! Не потому ли и стеснялась я их, что несла на себе часть общей вины? По наивности мне верилось, что лучшие - они обязательно отмечены и замечены. И как много времени потеряно, сколько судеб канули в прошлое бесславными! На той же ферме, рядом с Люсей...

Гордая собою, ступила я тогда поутру на двор. Казалось, что все должны заметить мой подвиг: ну-ка, встала городская такую рань! Однако никто на меня не взглянул. Не до этого было. Сонные коровы никак не хотели подниматься. Доярки сначала уговаривали их, ласково кликали, а потом не выдерживали и начинали ругаться. И Люся - тоже! Впрочем, это было незлобиво. И вскоре все образовалось, коровы встали по местам, и пошло привычное: сполоснуть вымя, погладить корову, отдоить, снести молоко во фляги, и снова - подмыть и т. д.

Когда мы вернулись из Орлова, утро на Вздоге было в полном разгаре. Только теперь я по-настоящему разглядела эту крошечную деревушку в шесть домиков на берегу. Ее баньки сгрудились у воды, как подружки, и глядели за озеро, на другие селения на холмах. А где-то далеко-далеко белела старая колоколенка...Солнце уже пригревало. Мы умылись розовой озерной водой и неторопливо вернулись к дому. Истошно блеяли овцы, выгнанные со дворов. Хвастливо, как повсюду на земле, кудахтали курицы.

Сухоныкя Прасковья Ефимовна уже вынимала из печи собственные хлебы.

- Чем богаты...

- Ах, мама, мама! - смеялись Люся и Таня, тогда еще школьница. И все трое были так улыбочивы и мягки!

Много лет потом я буду тосковать по их смеху, открытости и светлости. Буду видеть горькие в глубине глаза Прасковьи Ефимовны, которая притворно пугалась:

- Какие будут замечания? Слушаюсь и повинуюсь!

И с мудрой улыбкой выслушивала дочерей. Ей так хотелось в нужный момент откликнуться на их родной зов, продолжиться в них своим опытом и правдой. Жизнь получилась нелегкая, муж умер рано, а она теперь совсем иссохла, пришлось оставить телятник. Хорошо, что Люся успела закончить восемь классов и определилась на ферму. Выросла, считай, с матерью на дворе, не пропадет. А уж она, старуха, по дому поработает...

И было в их избушке уютно. Кошка мылась возле русской печки. Студеная вода стояла на лавке. Пахло хлебом и пойлом. И когда мы с Люсей после завтрака с чувством выполненного долга вытянулись в чулане, мне на миг показалось, что я вернулась в детство. Но только на миг... А потом из Люсиных рук выпала раскрытая книга, и я снова стала начинающим журналистом, отметившим этот выразительный штрих.

Днем Люся снова ушла на дойку, уже без меня. Я уезжала. И что-то предательски-радостное царапнуло мое сердце: мне не надо будет завтра вставать среди ночи и сонно брести лесной дорогой!

Но очень и очень долго потом по утрам я стыдливо спохватывалась: а Люся-то уже наработалась!.. Ну и что, спорила я с собой. У всякого свой труд и свои сложности... Только это не утешало. Вновь и вновь я видела дом Чудаковых на Взвозе и лунную дорожку на полу, на половиках. Видела говорливую старушку-мать, которая поднималась в три часа и надавливала на кнопку будильника - чтобы звон не потревожил младшую, Таню. И шла будить Люсю. Та спала, подложив под щеку ладони, не ведая забот. Дорог нам сон наших детей. Есть ли что дороже? И способно ли еще чем-то вот так же согреться материнское сердце? Но каждое утро, погрузив над постелью дочери, Прасковья Ефимовна говорила:

- Людмилочка, пора!

И я в дальней дали просыпалась от ее голоса. А вдруг Люся не встанет, сорвется, как непременно сорвалась бы на ее месте я? Вдруг кончатся ее полудетские силы, и она махнет рукой на все главное, что таким незначительным кажется нам сквозь сладостную пелену сна?

Но Прасковья Ефимовна сочувственно говорила:

- Ладно уж, поспи сегодня, денек и недееные постоят, эка беда...

И уходила к себе. Она знала, что после этих слов Люся уже не сможет заснуть.

Об этом обо всем я и постаралась рассказать в газете, назвав свою зарисовку «Люсины зори». Меня не поняли.

- Уборка идет, информацию надо, а она лирику развезла!

Так бесславно закончилась моя работа в сельхозотделе. Потом несколько месяцев я честно пыталась вникать в комсомольскую жизнь. А когда вникла и где-то высоко прямо сказала, что я о ней думаю, сработала неведомая мне система, и меня понизили до отдела писем. Но никто из свершавших мое служебное передвижение не предполагал главного. Мне было тепло жить на свете! Тепло оттого, что я знала: в Белозерском районе есть крошечная деревушка по имени Взвоз - горстка домиков, несколько банек на берегу чистого залива. Когда вся в сугробах смиренно дремала старая Вологда, когда снег летел на храм Софии, когда женщины по-древнему полоскали белье в речных прорубях, мне хорошо и спокойно было думать, что где-то нетронуто и вечно стоит эта деревенька. С белыми шапками крыш, с тропкой, отмеченной вешками, продуваемая ветрами и неприметная. И когда я шла цветущей Вологдой и такими нелепыми казались среди ее резных палисадов чадающие машины, - и тогда я помнила о далеком белозерском Взвозе. Помнила тепло, благодарно и чуть виновато.

...И совсем забыла о деревне нашей...

Всего шесть часов на поезде! Дедовы письма: «Приезжай мнученька». И мои ответы: «Совсем я закутилась - все командировки, дела».

Всего шесть часов на поезде! Но ни разу за полгода я не съездила. И

вдруг...

И вдруг телеграмма: умерла бабушка.

Бабушка умерла!! Бабушка! Что же я не плачу? Что же я за человек?!

Свердловский поезд в Вологде ночью. Вставать - мука. В сонном недоумении гляжу на будильник: что случилось? почему он звенит?

Да ничего. Просто у м е р л а бабушка.

Сон тотчас отлетает. Выхожу на улицу. Пустынно. Одиноко. Мне не горько, нет. Все-таки она пожила, 75. Только страх и - досада: зачем именно сейчас, весной, когда так хочется жить, зачем с е й ч а с - смерть?

В вагоне спали, а я так и не легла. Рассветало, а я все сидела у окна, подперев щеку рукой, и думала, думала.

Я понимала смерть. Умом. Мне казалось, я принимала ее - и чужую, и даже свою. Но - не весной! Стоял конец марта. За вагонным окном мелькали лесные проталины. Солнце пригревало так, что душа переворачивалась. Скоро в деревне совсем сойдет снег, проклюнется трава, в сырых местах зацветут купавы, потом ландыши с глянцевыми прохладными листьями, потом зелень потемнеет, наберет силу, и тогда - белые цветки земляники, колокольчики, грибы-колосьвики, венки из васильков на головах, хмельная малина на вырубках, липкая паутина на разгоряченном лице...

Каков счастье все это видеть, жить этим! Будут суетиться букарахи на земле, ошалело станут петь в зарослях птицы...над бабушкиной могилой!..вырастет молодая сосенка - рядом с останками ее тела...Я принесу на кладбище букет ромашек и поставлю их в банку...

А зачем бабушке ромашки?! Для нее нет больше ромашек! И птиц нет! И неба! И студеной речки Марьиныцы. Все было - и - ничего н е т ! Была когда-то пустота - и - снова пустота. И зачем, зачем я пойду на кладбище, если ничего не испытываю там, кроме унижительного страха? Зачем люди носят цветы, сыплют на бугорки пшено, если не верят в бессмертие? Значит, в тайне друг от друга верят, но называют эту веру иначе - памятью о близких?

Я ехала и думала. А за окном, что ни селение, мелькали погосты, погосты...

- Бабушка, бабушка, ты жизнь прожила, а ничего я толком о тебе не знаю, не ведаю. Говорят, для любви человек создан, а любила ли ты? И тебя - любили?

- Тьфу, и говорить неохота. Потом буде...Я те про свекровушку лучше. Стари-инной закалки была, строга-а. Деньгам счет любила. А я зимой лес на мерине возила, летами на железной дороге подрабатывала, рельсы меняла. Справно жили, не пожалуюсь. Я не хвост была, не хвастливая, по-вашему. Не хуже других работала, кого хошь спроси. А свекровушке все одно плохо. Скажу: «Косулю бы новую купить...маятно пахать». А она: «Ишь, какую барынь привели в дом! Надо беречь деньги-ти!» Так и пропали мои денежки, сменились в революцию. А я их кровью зарабатывала.

Когда бы хоть при мужике. А то - весной в пятнадцатом году поженились, а зимой, глядишь, его и в армию. И ни слуху, ни духу боле года, ровно в воду канул. А потом - Отечественная... Всю-то жизнь провоевал. Я все одна, одна!

А венчали славно! На тройке, с колокольцами везли. День у него гуляли, другой - у нас. Вот уж никак не мечтала, что за него пойду. Два раза свиделись - и свататься. Тыфу!

Я за Митьку думала. А по правде, и не думала вовсе. Часто меня в хороводе брал. Ну и что? Какой он жених?

Тринадцати человек была у нас семья. И Вера, и Анна - все меня мене, все няней звали. Вот легли вечер спать оплотиной. Вдруг кто-то стучает. Думаю, к тятю кто. Лампу-то мама едва наладила. Глядь - Василий Аркадьев, мужик уж, да Митька. Он-то почто? Я - на печку. А они внизу говорят: «У вас - товар, у нас - покупатель». Я голову пригнула, дышать боюсь. Что тятя скажет? А он: «У нас невеста еще в куклы играет!» Неправда была. Семнадцать годков мне уже стукнуло. Ну, попили оне чаю. Отложили дело.

А на другой день и дед твой приходит. Прослышал про Митьку, что ли, не знаю. В Егорьев день мы с ним познакомились, в Лясково пиво пить ходили. Пригласил разок в хороводе. Лица его нале не запомнила. Знала только - один он сын у родителей. И богатый. Позарился, поди-ка, тятя на это, помечтал, слаще мне будет, чем дома. А оно вишь как обернулось!

Однако не хуже других жили одинолично. В колхоз-от вошли - три коровы, лошадь, свиньи, овцы. Я как ото сна обудилась. Сам-то работать любил, не похаю. Все подоле борозду пропашет. На почете были в колхозе. Благодарности нам записывали. Один бригадир нам хозяин... Вот так за делам да за детишкам и свыклась. А любви никакой мы не знали, думать про нее не думали!

Проснулся в другом конце вагона ребенок, заплакал. Пассажиры зашевелились на своих полках. А я сидела у окна...

- Ой, бабушка, бабушка, нелегко тебе было с детками. Или правду говорят, что вся радость - в них?

- У прабабки твоей были сучьи роды. Жнет, жнет, да тут и робеночка родит. А я-то, слава Богу, почитай всех дома принесла, с одним только не угадала. И то - где тут угадать! Прихватит - перетерпишь да снова дрова ворочать. Все времечко и обнимаешься с ими. Ни сентябрев, ни октябрев не знали, это нынче декреты в моде.

Николая рожала - напужалась: задушила, говорят, парня. Ничо- пошлепали, в уши подули - заблажил! Да чего родить? Невелика хитрость. Вот вырастить...

Как куда идти - урошному ребенку на темечко соли посыпешь, вот и кричать не будет. А Главдя одно время зашлась криком, как плеточка расхлестнулася. Не возьму в ум, что экое. В зыбку положу и сама зареву - больше мне и делать нечего. И молока в грудях вволю, а не берет! Царство небесное баушке - отвела хворобушку. «Богородицу» да «Отче наш» прочитала трижды - и все. И сосать Главдя начала, как век сосала, и расти.

Валька - та птахой жила. И поклует малость, а наработает за двоих. Молчит все да терпит.

А батьке твоему, Панушке, боле всех досталось. В войну за бригадира пахал. Ему кричат: «Мальчик! Уж больно ты мал пахать-то!» А он и обидится. Это мерина, кричит, Мальчиком кличут. А мне уже тринадцать!

Ах, деток нет, и горя нет, знамо. А и зябко без них, в дому стыло, по свету ходить стыдно.

...С полустанка мальчонка с дедом помахали поезду рукой...

- Бабушка, бабушка, а что тебе жалко было оставлять в жизни? О чем ты думала в последний час? Какой наказ приберегала?

- Дура, скажешь? Все плачу: того жалко, этого жалко! Своего горя нету - об чужом сохну. А как?! Охота, чтобы все внучики были при деле, добром у людей помянуты. Чтобы дом наш не забывали, обиды не держали. Что со старика возьмешь? Стряпает день до вечера, а обедать нечего. Кабы у меня не глаза, я бы еще шишляла, хоть картошек начистила бы. Да как? Ошметок наоставляю. Все думала, шутя у меня с глазам-то, тряпок припасла на половики. Который год лежат на потолке. Надо бы сестре Вере отдать, наткет, может. Да шерсти в сундуке под койкой вволю, намедни перебирала - хорошая, мягкая. Где докону найти, рукавицы связал бы - батьке достанется парочка нетронутая, новая. Не ровен час, долго проживет - сгодятся. Меня вспоминает - matka, мол, позаботилась.

Эх, на свет бы белый глянуть напоследок - ровно бы и помирать веселее. Один бы разок глянуть...И рыжиков поесть соленых. Не растут ныне вовсе. А по те годы нашивали мы. Отдохнешь после работы, потом плوشку страшительную рыжиков съешь и - на посиделки. И до ночи прядем, прядем...

Николай-сын все в Донецк звал. Не бывать уж. Нигде, почитай, не бывала за жизнь - раз в кузницу да раз на мельницу. Все - утекли годочки, не воротись...

Мы ехали с Неи в деревню на крытой машине: тетя Валя со своим огромным Шалагиным, отец мой и я. Везли пустой гроб. Молчали угрюмо - что говорить, когда выплакано все? Только Шалагину не терпелось.

- А у вас в Вологде электрички ходят?

Я отвернулась, ругнувшись в душе. Тряхнуло на ухабах. Все схватились - кто за борт, кто за лавку под собой. На белом смолистом гробе съехала крышка. Отец поправил ее и молча стукнул по двум гвоздикам молотком. Тетя Валя всхлипнула.

- Когда будем хоронить, - рассудительно заговорил Шалагин, помогая себе крупными руками, - надо будет вот здесь вот вбить гвоздь и вот здесь еще - побольше...чтобы не открылось.

Я с темным вздохом посмотрела на него. Отец мой двинул желваками и закурил.

Убегала под колеса сырая дорога, оставались позади машины сосновые волокни.

- А крест лучше сделать вот такой, - Шалагин снова задвигал руками, обозначая крестовину. - Я видел у одних - там вот эдак, а потом так...

Мы больше не реагировали на него - пускай говорит. Тетя Валя сидела, сжавшись воробьем, ко всему привычная. Когда подъезжали к деревне, она вдруг сказала:

- А мне намедни сон был...Будто приходит покойный братка Геннадий и зовет на мотоцикле кататься. Я говорю - не поеду. А он и обиделся. Всегда, говорит, не хотела ты со мной ездить! А давно ли, говорит, ты в деревне была? Два воскресенья, отвечаю. А что?..Да ладно, мол, я сам туда съезжу!..Вот он как съездил! Мамушка мила-ая...

Машина остановилась возле деревенского дома. Мне страшно было

поднять глаза на двери, на голубые наличники. Я спрыгнула в талый снег и стала ждать, когда мужики спустят гроб.

Но тут хлопнула дверь - в одной рубашке вышел на улицу дед. Отец мой первым шагнул к нему, прижал к себе и поцеловал в белые волосы:

- Ничего, папа, держись, ничего, папа...

А у самого сдавило горло, и он закашлялся, отвернулся, закурил.

Тогда я прижалась к маленькому старику и ощутила его почти неведомое тело.

- Ты простудишься, пойдем,- сказала я.

А дед прошептал обычное:

- Ангелко мое, желанное!

Обнявшись, мы дошли до крыльца.

26.7.1964.

«После нескольких дней ненастья выглянуло из-за туч солнце, обсушило луга. Помогая солнцу, ветерок пронизывал валки скошенной травы, унося с собой оставшуюся там влагу.

Завтра сушка, - еще с вечера решено было в Починовской бригаде колхоза имени Калинина. Сушить нужно было немало. Трава, подкошенная перед самым ненастьем и в перерывы между дождями, уже перележивалась.

С раннего утра выехала бригада на луга. Работы было достаточно всем. Престарелый колхозник НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ВЕСЕЛОВ с утра пошел выполнять свое задание. Задание у него особое - подготовить стожары, чтобы не задержалась метка сена. Николай Иванович справился с заданием на отлично. Он отказался от обеда, но бригаду не задержал. 8 стогов сметали колхозники на установленные им стожары.»

Бабушка лежала на столе в зале. Зеркало было закинута черным. Веяло холодом и жутью...Я постояла у порога и, не заходя, закрыла дверь.

Все приехавшие толпились в прихожей, в кухне. Маялись без дела. Принесли воды - и снова сели. Курили, говорили о чем-то незначительном, словно забыли, по какому поводу собрались.

- Главка! Возьми-ка руководство! - не выдержал дед.

Всегда - в радости и в горе-тетя Клава была самым необходимым человеком. Как раствор, она соединяла всех, держала вместе. Ей бы лечь, приклонить гудящую голову, закрыть глаза, видевшие приход материнской смерти. Но...

И сразу всем нашлось дело: одним картошку чистить, другим - скотину кормить, третьим - ночлег готовить. А у нее в руках затрещала лучина, жарко вспыхнули дрова в печке в прихожей, потому что горе - не горе, а ужинать надо.

- Ты бы отдохнула, - сказала мне тетя Клава. - Поди полежи или сбегай к кому, развейся. Чего уж теперь переживать?

- Да я не очень...

- Я вижу, как не очень!

Она была не права: я вовсе не нервничала. Просто хотелось, чтобы все это поскорее кончилось - поскорее бабушку похоронить, забыться, снова радоваться жизни, а не тяготиться собственным существованием. Оно бессмысленно, невыносимо, когда сосредоточено на покойнике!

Чем держится тетя Клава? Вовек мне не понять. У нее круги под гла-

зами. Неделю она дежурила возле бабушки. Уже три ночи не спала толком. Обо всех вздыхает, но ни разу не сказала о своей усталости. Никто не видел, чтобы она плакала.

- Это тебе бы отдохнуть, - сказала я тихо и погладила ее по волосам.

Она улыбнулась над чугуном. И она понимала, что, если ляжет, то порядок в доме рухнет. Все, как дети, надеялись только на нее. В горе надо на кого-то опираться. И самый сильный подставляет свое плечо. Или сердце?

- На вот! - она протянула мне блюдо с теплым молоком. - Снеси козлушкам!

Набросив ватник, я отправилась с фонариком на двор. Пучок света выхватывал старые половицы на мосту, на крыльце, потом кривые ступеньки вниз, в хлев. По ним в темноте столько лет ходила бабушка!.. Наверно, шершавой ладошкой проводила по этой вот жердочке - она вся стала гладкая, как полированная. А под ногами у нее вот так же шуршала солома. И ей было спокойно от этого привычного звука. Отчего же мне - тревожно и страшно? Вот что-то стукнуло, дернулось... Только не убежать, не опозориться! Ну кто это, если не коза Муська рогами ломится в дверь! С характером животного, мы с ней давно не в ладах. Только бабке она и давалась доиться. А козлятки, трое, у нее хорошие - мягкие, добрые, теплые, мордами ткнулись в ведро и затихли, пьют, лягаются... Господи, ну зачем, зачем умерла бабушка? Как бы все сейчас было хорошо!..

Я вернулась с пустой бадьей, тетя Клава кивнула мне благодарно и сказала:

- Зови-ка всех ужинать!

И сели рядом с дедом два сына - Николай из Донецка и мой отец. Оба крупные, бровастые, с уверенным взглядом. И сели с другой стороны две дедовых дочери - Клавдия и Валентина - обе маленькие, в бабушку, и смуглые - в деда. Сели - и вдруг повисла в кухне гнетущая тишина: все вдруг вспомнили о нетопленной зале, где была покойная.

- Ну , что же...Наливайте!

...Был какой-то праздник. Собрались за этим же столом. Выпили по глотку вина. Дед с бабушкой недавно поссорились, сидели насупившиеся. Бабушка отставила свою рюмку нетронутой. Кто-то подсказал:

- Там еще другое было в чулане, послаще, «Лидия» .

- Да ну вас, - тихо отозвалась бабка, - Лидию и так ненавидят...

Мужчины выпили наконец. Глаза у всех заслезились. На углу стояла бабушкина стопка и отдельная миска с похлебкой. Ей и теперь налили отдельно - так отец мой попросил. Она давно ела «по-антилигентному» - чтобы слепо не тыкаться в общее блюдо.

Дед обмочил в супе два хлебных мякиша, бросил кошкам. Те жадно проглотили и снова уставились ему в рот.

- Баб! - сказала я со смехом. - А кошки похудали, пока я у вас!

- Знаю дело! - подхватила старуха. - Их всегда последками кормили.

А после тебя ничего не остается. Ты им тюрю наведи, пускай их лакают!

- А тюря - это у вас как?

- Молоко на воде жени да булочки покроши.

Я сделала, как подсказано. и подала кошкам блюдо.

- Кушайте, милые, кушайте, не обессудьте! Это меня бабка научила так сделать. Я бы вам одного молочка налила, без воды!

- Ты чего кофей не белишь? - спросила она.

- Я по моде пью. Студенты все черный пьют.

- А почто?

- Силы он придает. Будто отдохнешь.

- Ну?!

Бабка отпила глоток из моей чашки. Прислушалась к себе.

И заприпрыгивала на лавке, смеясь:

- И правда, гляди-ка!..

- Главк! - спросил дед, вытирая квадратными кончиками пальцев нос.

- Там у нас лампадка не погасла?

- Посмотрю, - поднялась тетя Клава.

- Погоди, и я, - подхватила за ней тетя Валя.

...Был вечер перед моим отъездом, и мы с бабушкой долго не могли заснуть. Она говорила, я отзывалась ей из спальни, а сама мыслями нет-нет да улетаала в Ленинград, где осталась моя сердечная привязанность. Я сочиняла письмо очередному поклоннику, еще не зная тогда, что будут идти годы и будут меняться симпатии, но одно навсегда останется во мне неизменным: желание поделиться с дорогим человеком думами о деревне.

«Как хочется, чтобы ты был рядом, чтобы видел и чувствовал то же, что и я! Возможно, тебе тут не понравится, но знаешь, как сладостно мне вдыхать зимой запах сена на повети, носиться по снегу с тонущим по шую псом, сидеть на беседках в деревенских домах, ползать в огромных валенках по спящему лесу, ходить в Михали за хлебом и - постоянно думать о тебе; читать вечерами вслух газеты, перебирать свалевшуюся овечью шерсть, рыться в старых вещах на чердаке, разглядывать фотографии в рамках, четыре раза на дню поджидать у окна автобус и - постоянно думать о тебе. Ты знаешь, рядом со стариками я действительно становлюсь сильнее. Или это чувство «второй очереди» у смерти, как справедливо заметил кто-то? Или просто целительная сила деревенского покоя? Не знаю. Но только часто у меня бывают такие минуты, когда я плачу от удивления, восхищения и преклонения перед жизнью.

Вчера у нас были гости со станции, было шумно и весело, смеялись до слез, и бабка смеялась, и я не верила ни в смерть, ни в горе - я была ребенком. И мне очень захотелось поделиться своим счастьем - потому что у меня давно не было его так много, пусть и очень простого, неказистого...»

- Что, - продолжала свое бабка, - скажешь, нахвалила себя старая? - она смеялась. - И то правда. Я ровно грешневая каша. Или калина. Одна хвалилась - хороша я с маслом, другая - хороша я с медом...

- Полно-ка, - успокаивала я старуху. - Все правильно ты говоришь!

И вдруг, поправляя подушку, я нащупала под ней забытые мною баночки с кремами.

- Ну, баб! - заливалась я, и она подхватила смех, еще не зная, в чем дело. - Чуть не подвела тебя под монастырь! Уехала бы завтра, а дед бы решил, что это ты красоту наводишь! Вот было бы!!

- А я олондась вспомнила про эти твои штучки, - сказала она, успокоившись, - да запомнявала опеть. И ухом, и нюхом слышу, когда мажешься. Скусно...А мне ужю никакие белила не помогут. Все...Девки белятся, румянятся, белила нипочем. Шадровитая корява, натирайся кирпичом!

Тикали в тишине ходики.

- Ты уедешь, - заплакала вдруг бабка, и я села на своей постели, - ты уедешь, я и капли пить не стану! И таблетки... Все одно помирать!

- Ба-аб!

Она взяла себя и руки.

- Это сколь же время таперя?

Я поднялась и подошла к ходикам.

- Двенадцать!

- О-ой! Как в Новый год! А не попить ли нам чаю?

- Попить!

Мы уселись в кухне, бабушка держала на ладони блюдце, прихлебывала чай и улыбалась.

- Я давно имела зуб вот на этот вот кусочек! - она повертела перед слепыми глазами корочку хлеба. - Два кусочка навернула, таперь и спать можно...

- Спит матка? - спросил дед у вернувшихся за стол дочерей.

- Спит, не скажет ничего, - в тон ему ответила тетя Валя.

- Однако и мы давайте укладываться, - помнила о своем командирстве тетя Клава.

Старик с дядей Колей забрались на печь. Отец мой с Шалагиным легли на полатах, бросив на доски тулупы. Затихли. Мы с тетей Валей пристроились на кровати в прихожей. Тетя Клава полежала с нами третьей, поворочалась, потом поднялась и зашла в залу. Я не засыпала, ждала. Ждала долго.

- Главк! - позвал с печи дед.

- Нет ее.

- А где она? - взволновался Николай.

- Она не в зале? - спросил с полатей мой отец.

Николай проворно соскочил с печи и зашел в холодную половину. Меня опажнуло от двери смертельным ветерком, и по ягодицам пробежал мороз.

- Молчит, - вернулся Николай. - Уснула, наверно, укрылась с головой.

- Ну дак ложись и ты, золотко, отдыхай, - сказал дед.

Все снова угомонились на своих теплых и нестрашных местах.

Я задремала. И вдруг меня будто толкнули! Я села и поняла, как жутко тете Клаве там, одной, с покойной, даже если она и укрылась с головой! Туда и днем-то я боялась зайти. А теперь? Лечь, как ни в чем не бывало? Но ведь я не смогу теперь заснуть! Значит, придется идти.

Я встала, взялась за ручку двери и, ощутив, как отнялись ноги, шагнула во мрак.

В углу светилась лампада. На столе, укрытое белым, угадывалось тело. Я поспешно отвела взор вправо, на кровать. Позвала. Тетя Клава не ответила. Тогда я коснулась ее и откинула угол одеяла.

- Зачем разбудила? - спросила она совсем не сонным голосом.

- Замерзнешь здесь, пойдем!

Она не стала сопротивляться, покорно поднялась и вышла за мной.

Мы тихо прикрыли дверь, а затем улеглись на боку, обнявшись. По дрожи ее рук можно было догадаться, каково ей было т а м.

А утром мы переложили бабушку в гроб. Я тоже притронулась руками к ее спине, чтобы осознать, что произошло. Но ощутила только твердый холод.

Стал собираться деревенский народ - попрощаться. Бабушка лежала в душистой домовине нарядная и довольная.

- Ишь, - подходили к ней старухи и удивлялись, - звала нас 24-го марта постановку по приемнику слушать...Вот мы и пришли, тетка Лидья, чего не встаешь?

- Да, - подходили другие, - которые с одноразки отмаются, а которые ровно свечки погаснут...Когда и погасла, не заметили.

Дед стоял на крыльце с красными глазами, неумело курил и гладил крышку гроба.

Когда приехали родные со станции, он тоже зашел в дом.

На колени возле гроба встала бабка Вера и принялась читать по складам «Молебное пение». По выражению ее голоса я вместе со всеми долго силилась понять смысл, но бесполезно. Старуха устало переступала коленками. Тогда дед решил сменить ее. Он обеими руками согнул раненую ногу и чуть не упал - все даже качнулись к нему. Надев очки, он неуверенно стал разбирать старинные буквы на желтых страницах. Он брал дыхание посреди слова, голос его дребезжал, книга в руках вздрагивала. И на кончике носа у старика долго качалась слезинка.

Когда настало время двигаться к кладбищу, бабка Вера снова упала на колени и запричитала:

- Ой, подынься, туча грозная,
Ой, ты розбей, туча грозная,
Ой, гробову доску новую!

Круглое лицо старухи то касалось пола, то поднималось к образам, мокрое и морщинистое. Голос был высокий, жалобный. Все, как по приказу, зашмыгали носами, потянулись к платкам.

- Ой, прилетите два ангела!
Ой, подыните, два ангела,
Ой, да родимую сестрицу,
Ой, да на резвые ноженьки!

Тетя Валя дождалась своей минуты и тоже запричитала, не так искусно, но горько:

- Ой, что пошла-то ведь мамушка,
Ой, из высокого терема,
Ой, во послед, во последней раз...

Не могла я тогда принять этого! Ревела и - противилась в душе происходящему. Ну к чему, к чему искусственно выжимать стоны?

Если плакать, то плакать без конца, пока слезы вообще не кончатся. Вот это- горе. А так? То порыдаем, то принимаемся закуску готовить, о жизни говорить. А потом - снова рев. И снова - жизнь...

Вот и бабка Вера вдруг остановилась и мудро и спокойно проговорила:

- Чего теперь? Так заведено, что все там будем. Только каждый в свое время. Тут уж хоть все слезыньки выплачь, горю не поможешь...Вон цари умирают - царства оставляют! Не мы, грешные...

И все вдруг успокоились, словно поняли что-то важное. Вынесли гроб

из дома. И долго тянулась к лесу темная вереница людей - тихая черная процессия на белом снегу.

28.8.1942.

«В бригаде номер четыре колхоза «Борец» Михалевского сельсовета на косьбу пшеницы вышла молодая колхозница Валентина Чистякова. Она скашивает косой до 30 соток. Скошенный хлеб за ней вяжет в снопы ВЕСЕЛОВА ЛИДИЯ.»

Когда гроб поставили у ямы, пороша хлестанула бабушку по лицу, и оно не дрогнуло. Я видела, как отец мой, склонившись над матерью, что-то прошептал.

-«Тосе привет передай» сказал, - тихо перевела мне тетя Клава. И сама склонилась проститься...

Полетели вниз комья земли.

Отец отошел в сторону и затрясся. Всем телом я почувствовала вдруг, как надо ему, чтобы я была рядом. Я подошла и коротко сжала его локоть. Он хотел что-то сказать, но не сумел, отошел еще дальше, к сосне, и уперся в нее лбом.

Когда на снегу вырос желтый холмик песка, дед - без шапки, со светящейся белой головой - ткнул подбородком рядом:

- Этта - мое место, с маткой!

Дома за стол в первую очередь усадили деревенских. Они закусили, всплакнули и ушли. И сели родные и близкие. Пахло медом от кутьи, которую пустили по кругу. Звенели граненые стаканы. Пьянели и влажнели глаза.

Я не могла пить. Меня заставляли. Зачем? Бабка при жизни радовалась, что я люблю молоко. Ей нравилось, что я много шучу. Вот и на поминках я не хотела лить горестных слез. После умерших все должно оставаться по-прежнему - чтобы они не тяготились своей смертью и знали, что не причинили близким страданий. Если верить я бессмертную душу, то зачем я должна рыдать, глядя на оболочку, в которой она существовала? Тело никогда не было человеческой сущностью: оно уходит, но душа остается - в другой душе, в каждом предмете, какого касался человек, в воздухе, нас окружающем...

Со мной согласен был один дядя Николай. Его полухохляцкий выговор раздавался то там, то тут и нередко взрывался смехом. Кругом были родные, они их давно не видел и рад был встрече. Как они жили, как думают жить? Ведь время идет дальше, и смерть осталась на кладбище.

Только раз он сменился в лице. Искал на тябле дедовы папиросы и обнаружил газету «Ленинградский университет», в которой были напечатаны мои «Старики». Он сел рядом со мной на кровать, положил руку мне на плечо и вздохнул.

- И все-таки ты тут не во всем права, - сказал он, отерев с рулона пыль и развязав тесемочку. - Я писал тебе, да не все...

Мне тут же вспомнились его строки: *«Спасибо тебе, что еще в самом начале своего творческого пути ты обратилась к старикам, твоим дедушке и бабушке, вся жизнь которых может служить примером порядочности, трудолюбия, самопожертвования...»*

- И снова скажу тебе: тут больше вымысла, чем домысла!

Я вопросительно посмотрела на дядю, и он ткнул пальцем в страницу.

- Смотри... *«Каждый год в нехитром стариковском хазяйстве менялась корова, но звали ее по-прежнему...»* Ты хоть знаешь, сколько стоит корова, чтобы ее менять каждый год? И каково с ней расставаться?

Я молчала.

- То-то...

Незаметно как-то все снова из залы, где холодили воспоминания, перебрались в прихожую к теплой печке. И показалось на миг, что в доме - праздник, и все родные снова собрались вместе, и никуда и не разъезжались. Захотелось вдруг петь. Мы без слов поняли это с дядей Николаем, переглянулись и затянули:

- То-о не ве-етер ве-е-етку кло-онит,

Не-е дубра-авушка-а-а шуми-ит...

Покосилась на нас худая Анна Михайловна. Ткнула меня локтем баба Вера. На всякий случай перекрестилась тетя Валя.

Мы замолчали. Стало тихо и пусто. Тогда решительно встал дед, хро-мая, зашел в залу и там пустил молчавшие несколько дней ходики. Они хрип-ло, неуверенно затикали, догоняя время.

Я, никому не сказавшись, забралась на полаты и там, глядя в темный давящий потолок, допела шепотом:

- Зна-ать, сули-ил, знать, сулил мне рок с моги-илой

О-обвенча-обвенчаться молодцу-у...

Внизу, подо мной, разговаривали о своем, а я была рядом и - далеко. Вернулись запахи детства - где-то в этом углу на полатах лежал прежде мешочек с сушеной свеклой, а вот здесь всегда пахло солодом, и я тайком лизала его. Если свеситься головой с полатей, то можно было увидеть, как старик подшивает валенки, сидя у керосиновой лампы, а бабушка, смачивая пальцы, прядет куделю...

Я выглянула вниз и встретила взглядом с двоюродным братом Борисом. Он подмигнул мне и вскоре оказался тоже под потолком.

- Велики мы стали, сестриченька, - вздохнул он, укладываясь на овчине поудобней. - Прежде по пять человек сюда помещались...

- Пока живем, везде нам тесно, - решила пофилософствовать я. - А оказывается, что и места-то нужно всего ничего...

Боря вздохнул, положил руку под голову. И я легла на спину, стала разгадывать темные узоры на потолочных досках.

- Давно не мыты...- понял меня Борис.

- Кому ж мыть...

- Ни-ин! Вот ты все пишешь там в своей газете, - задумчиво сказал брат. - Я не отрицаю, людей хороших много. И это твоя работа...А вот ты хоть бы раз написала о своих родных! У них ведь жизнь тоже была ой-е-ей!

На сердце мое накатила горячая волна. Ничего не говоря, я соскочила вниз, залезла в свою сумку и вернулась назад с листками рукописи.

- Вот, - сказала я, сдерживая дыхание, - написано у меня...

- Ну-ка, ну-ка, - потянулся брат.

Но я его остановила:

- Лучше я сама тебе прочитаю.

Он придвинулся поближе, и мы, голова к голове, как в детстве, лежали и воскрешали ушедшую бабушку...Она снова ковыляла на ощупь во двор...снова слушала по радио постановки...снова водила пальцем перед

глазами: «Вот брови-то вижу, черниются!» ...и снова сердилась на меня: «Полно-ка Бога гневить!» Бумага в моих руках вздрагивала, в горле пересохло...Я снова подлетала к бабушке, падала перед ней на колени и обнимала ее ноги. А она трепала меня по голове и говорила: «В сундуке плат у меня есть большой, в клетку, достань!» И мы шли с нею по заснеженной дороге в клуб, не зная, что фильма не будет...

- Молоде-ец ты, - пожал мне запястье брат и закурил, дымя в потолок.

- Это надо печатать!

- Да где печатать! - усмехнулась я. - Ерунда это все, слабо...Был у нас областной семинар, большие писатели это читали...

- И чего?

- А ничего. Один, спасибо ему, поддержал. Говорил, что хоть это и немного беспомощная пока вещь, но - первая у автора, и ее отличает то, чего многим не хватает, - доброта...

- Ну вот же!

- Зато другой сказал...Не мне одной, конечно, всем таким... Он сказал, что начинающих вообще-то надо не жалеть, не тащить, а топить, как котят. Кто сможет, кому суждено, тот выплывет!

- Ну что? Вполне логично...Значит, барахтайся!

Я привычно потрепала брата по чубчику и ответила:

- Постараюсь...

Вечером в темноте мы выбирались на дорогу, к автобусу. Я торопилась на работу. Отец решил еще на день остаться в деревне, а потом прямиком в Ленинград, в свой холостяцкий дом. Мы опять надолго расставались с ним, и мне хотелось смягчить последние минуты. Но у нас не получалось. Отец был, понятно, не трезв, и мы сцепились из-за бабушкиной прялки. Я отыскала ее на чердаке и забирала с собой.

- Не дури! - сердито приказал отец. - Кому нужна эта рухлядь? Народ-то смешить!

- А что мне народ? - ответила я с вызовом.

- Конечно, ты ученая! Писательница!

Отец психанул и громко плюнул.

Впереди нас развалистой походкой шагал Борис. Пытаясь остановить ссору, он оборачивался и размахивал руками:

- Нет, это вы, дядя Павел, зря! Она вот читала мне сегодня про бабушку. Сильная вещь!

- Это сто лет назад написано! - огрызнулся отец, остановившись на обочине и двигая желваками.

- Нет, пап...это новое, я тебе не давала ...

- Там про кино. Не знаете? Я чуть не заплакал, правда... Молодец она у вас!

Отец смотрел в сторону и все больше хмурился. Он не любил, когда меня хвалили. А Борис продолжал:

- Вот только пускай не ленится, работает. - Он с намеком на наше «пастбищное» прошлое подмигнул мне. - Раньше она любила лениться! А если больше не будет, то сможет, пожалуй, прославить наш род.

- А наш род и не был никогда внизу! - почти выкрикнул отец и стал нервно закуривать. Две спички у него сломались. - Наш род и так всегда был впереди!

«Ну зачем ты, папочка, сердисься теперь, - думала я. - Расстанемся

мы с горечью в душе. Хорошо ли это?»

Затянувшись несколько раз, он насулленно замолчал. Я решила, что все - буря миновала. Но тут он прохрипел в хмельном запале:

- И славы нам - не надо!!

- Па-ап...

Он не ответил.

- Я думаю, - осторожно вставил Борис, - главное, чтобы все написанное было правдой.

- Вот именно! А она любит приукрашивать! Ей и Николай писал об этом!

- Я не буду больше, - сказала я, чтобы угодить отцу.

- А не приукрасишь, никто и читать не будет! - боролся он, но я голосе уже не было прежней уверенности. - В книжках всегда половина выдумана...

Я не знала, что ответить. Вдалеке, на счастье, засветились фары автобуса. Надо было прощаться. Отец бросил в снег окуроч, наступил на него ботинком и шмыгнул носом. А я вдруг увидела его тринадцатилетним пацаном, который идет по полю за мерином Мальчиком и по-мужицки покрикивает на него... Я вынудила себя шагнуть к отцу - пусть знает, что победа за ним. И он благодарно кнулся мне в лицо ввалившейся и колючей - как у дедушки - щекой.

7.2.1943.

«В прошлом году мною было обучено 4 головы крупного рогатого скота. Нынче правление колхоза поручило мне обучить работе 10 коров.

Я взялся за это дело. Основным условием в обучении считаю ласковое обращение с животными. Я никогда не бью коров. В первое время бывают случаи, когда корова ложится и никак не хочет идти в упряжке. Я спокойно понукаю ее, глажу и таким образом добиваюсь, что корова встает и идет, куда мне нужно...

Нам нужно приучить к работе столько коров, чтобы мы не чувствовали недостатка в тягловой силе.

Смирнов, подросток колхоза «Культура» Михалевского сельсовета».

ГЛАВА ПЯТАЯ. КАЛИНА КРАСНАЯ

Если есть земля благословенная - это белозерская земля!

И минуты счастья сокровенные в памяти навек оставляю я...

Белый май колышется над городом, и плывет черемуховый дух. Из окна узорчатой гостиницы я гляжу на мир. И режут слух за моей спиной в огромной комнате, где на каждой койке - телеса, редкостным событием взволнованных, ссорящихся женщин голоса:

- До чего же эти все киношники шумный и задерганный народ! Чашки и подтяжки - все разбросано, грязь кругом...

- У вас наоборот?

- Я, про между прочим, из провинции и совсем не мечу в эталон! А у них - актер лежит с ангиной, и вовсю орет магнитофон! Я бы прибралась, умыла бедного и дала лекарства - не табак!

- Ох-о-хо! Шокировали женщину... Из Москвы, культура... Как же так?!

А один из группы бегал горестно и визгливо прокричал затем:

- Я привык к работам панорамным, а Шукшин - художник малых тем! Я его, конечно, понимаю. А ему меня уж где понять?! Я себе картину поменяю...А ему себя не поменять!

Да, не поменять. Каким из детства вышел в жизнь - таким дошел до нас...Может, мало довелось мне видеть, но я горше не встречала глаз. Ё светлей, пожалуй, не встречала.

Только лучше в прозе. Все с начала.

Заканчивался май 1973-го. Белозерск утонул в черемухе. И теперь так случается каждую весну - хоть никогда больше не пройдет по его улицам Шукшин. А тогда казалось - все цветет так яростно для него, благодаря ему, в помощь ему...

Впрочем, это казалось лишь мне. Но что поделаешь, если так оно и было?

...Телефонный звонок ко мне, в редакцию вологодской молодежной газеты. И вопрос:

- Есть ли вокруг Белозерска...

(Почему именно Белозерск, я поняла позднее. Оказывается, когда-то там, на Белом озере, привиделись Шукшину плывущие разинские струги. А «Разин» все откладывался и откладывался.)

- Есть ли вокруг Белозерска красивые деревни?

- Господи, да там все места прекрасны, Василий Макарович!

- И все-таки, конкретно?

- Конкретно?...А конкретно, - я вспоминаю вдруг свою поездку к Чудиковым, - это Взвоз, Орлово...

- Еще!

- А еще, немного в другой стороне, Садовая, например. Она вся на горушке, а внизу, как в ладошке, небольшое озеро...Спасибо? Пожалуйста! Только за что?

Конечно, я тут не причем. И все-таки мне радостно, что навсегда теперь в кадрах «Калины красной» - та самая ферма Орлово. Та самая, возле которой, оробев, сидела я в августе 1972-го, поджидая Люсю Чудакову; и медленно, лениво идут на дойку к Любе Байкаловой те самые коровы, которых однажды утром мы с Люсей долго пытались поднять с земли, чтобы отдоить; и чайки, пронзительные чайки тех невозвратных дней носятся где-то по краям кадра, видимые только мне...

Через несколько лет художник картины Ипполит Николаевич Новодержкин будет вспоминать для меня и для моей газеты, как они с Шукшиным выбирали место, где должен был умирать Прокудин. Казалось, все было, «как надо»: и природа величественная, и дали необъятные - можно показать и перспективу, и опрокинувшееся небо, как это обычно в кино бывает. А Шукшин все двигал желваками, хмурился и молчал. И когда уже почти все решили, выбрали, он вдруг взорвался:

- Да почему же именно так?! Почему он не может умереть по-человечески? Вот хотя бы здесь, в пыли, не подчиняясь никаким «законам»?!

И Егор «умер» на том поле, которое вспахал; на небольшом том поле на берегу Лазско-Азатского озера, мимо которого когда-то возвращались мы с дойки в деревню Взвоз. Обыкновенное поле, ничем не примечательное. Я и сама его не признала, пока жители не показали мне, где шли съемки...

А когда вся натура была уже выбрана, - только снимай! - вспоминают, вновь заехали в деревушку Садовую. И Шукшин замер вдруг в одном из двориков:

- Только тихо и ради Бога ни к чему здесь не прикасайтесь! Здесь будут «жить» Байкаловы...

И навсегда на экране - серый некрашенный забор и поленица березовых дров, которые данно уж сгорели и рассеялись дымом в бездонном небе...

Как хотелось мне, наивной, видеть Шукшина на съемках каждую минуту - ловить его взгляды, жесты, угадывать мысли! Но на мой журналистский приезд не выпало важных сцен. Снимали какие-то проходы, пробеги.

Помню себя в толпе белозеров на берегу канала. Вечер. Висит над собором луна. Шумят в тишине накаленные диги, стрекочет мотор камеры.

Егор Прокудин только что бежал по ночному городу, укрываясь от погони, прятался под берег и, снова попав на глаза дружинникам, удирал через огороды, парки, дворы. Теперь он в отчаянии прижался спиной к сараю. Свистки и крики затихли в другой стороне, и Прокудин машинально включает транзистор. Он вертит ручку и смотрит куда-то загнанным взором - то ли во тьму, то ли вглубь себя. Уличный фонарь, качаясь, высвечивает его колючие глаза. Помните? Свет-тень, свет-тень на измученном лице.

Любопытных на съемку собирались толпы, пробиться в первые ряды было невозможно. Я привставала на цыпочки, чтобы заглянуть через головы, но тщетно. Нещадно ели комары...

С выездов возвращалась группа поздно, даже бледная майская ночь уже съедала краски. И только деревянный Дом крестьянина светился белыми резными наличниками... Я слышала, как хлопали дверцы автобуса, выгружалась аппаратура, и долго еще разносились над спящим городом бодрые голоса. А Шукшин исчезал тотчас, пожелав всем спокойной ночи. Если бы он спал! Немногие знали, что, пристроившись на подоконнике, он еще писал, писал. Благо ночи белые.

Вот потому-то - сама видела - и дрожали в те дни его пальцы. Мыслимо ли такое напряжение!.. Спасала только заветная баночка кофе.

Но что нам, праздным, до чужой усталости! Так хочется заглянуть в таинственные глубины творчества, что-то там разглядеть! Позднее, взрослым умом, поняла: невозможно это и не надо. Ничего никакими вопросами к такому человеку ни себе, ни людям не объяснишь! Надо просто благодарить Бога, что пересеклась твоя судьба - случайно ли, закономерно - с его судьбою. И принимать все, как дар небес, а не повод для изучения.

Когда бы эту мудрость - да тогда! Я по-светлому завидовала тем, кому посчастливилось не «подглядывать» Шукшина, а делать с ним одно дело. И через годы, разговаривая с шукшинскими актерами, восстанавливала для себя то, чему не могла быть свидетелем в 1973-м.

Иван Петрович Рыжов, например, вспоминал. Когда съемки проводились неподалеку от города, в Садовой, группу все равно возили на автобусе. А он приноровился ходить пешком. Десять верст летом для здоровья не помеха.

Однажды утром подошел к нему Шукшин и спросил:

- Можно я пойду с тобой?

- Можно, - удивился Рыжов.

Вечером Шукшин зашел за ним и сказал:

- Ну, пошли.

И они пошли,

Рыжов ждал, что Василий Макарович заговорит. Но тот всю дорогу молчал. Когда дошли до места, он сказал:

- Ну, пришли.

Рыжов приступил к работе в полном недоумении. А на другой день жена Шукшина Лидия Николаевна Федосеева спросила его:

- О чем таком вы разговаривали по дороге? У Василия Макаровича было прекрасное настроение! Он все говорил: «Как хорошо ходить с Иваном».

Иван Петрович так и ответил, что, когда они пошли, Шукшин сказал: «Ну, пошли», а когда пришли, он сказал: «Ну, пришли».

Недоумевать настал черед Лидии Николаевне.

Однако это не облегчило страданий Ивана Петровича Рыжова. Как-то приехал на съемки к Шукшину Василий Иванович Белов. И вот сидят они парой - а Рыжов неподалеку - и молчат. Долго ерзал Иван Петрович, испытывая неловкость, все поглядывал на них. Потом спросил прямо:

- Чего молчите, мужики? Может, мешаю я, так скажите!

- Зачем мешаешь? Нет. Молчим вот - и хорошо.

...Мне ли не знать, какая это правда!.. В деревеньке Садовой, где яблони в цвету, а внизу - озеро-блюдце, довелось и мне помолчать рядом с Шукшиным. Он ждал начала съемок и сидел на крыльце баньки. То землю разглядывал, то свои узловатые пальцы. Вздыхал иногда или затягивал «Дубинушку». А потом резко обрывал вдруг и поднимался:

- Готовы? Попробуем!

Он включался в жизнь так мгновенно, так мощно, словно и не уходил в себя. Но и в те минуты, когда Василий Макарович молчал, чувствовалось, что он излучает бездну неведомой энергии, которая захватывает, подчиняет себе другого и - помогает вести неслышимый и волнующий разговор.

Рыжов подметил, что такое «говорящее молчание» длилось иногда подолгу. Как-то навестил он Шукшина в больнице. И тот попросил рассказать какой-нибудь из ряда вон выходящий случай. Вспомнилось Ивану Петровичу, как в детстве он заболел тифом и как мать, накрыв его тулупом, шептала:

- Прибери его, Господи!

А он - маленький и больной, но соображавший, что к чему, молился под тулупом:

- Не прибирай меня, Господи, не надо!

Что это было - жалость материнская или жестокость? Не решили они тогда. Прошло много времени. И однажды, ни с того, ни с сего Василий Макарович спросил:

- А ты у матери узнал, почему она тогда так говорила?..

Прошло еще время. Иван Петрович уже забыл об этом случае. И вдруг Шукшин, будто они не прекращали разговора, сказал:

- Я думаю, все-таки это жалость...

А Рыжов, поняв его натуру, стал предупреждать всех: не рассказывайте ему о своих бедах, не надо! Он будет ходить и переживать, будто это его несчастье...

Марии Савельевне Сковрцовой (они с Рыжовым играли стариков Байкаловых, родителей Любы) запомнилось другое. В группе было много пожилых людей. За день они уставали, и Шукшин отказывался, чтобы его первым отвозили со съемок в гостиницу, уступал машину другим. Для кого-нибудь

эта деталь - мелочь, несущественный штрих, причуда. Для Шукшина это - закон жизни. В этом он весь - добрый и чуткий без лишних слов.

На съемках Мария Савельевна очень боялась расстроить Василия Макаровича, дать повод разочароваться в своей работе. И однажды сорвалась - перепутала текст. А дни были трудные, Шукшин нервничал. Да и снимали на очень дорогой, особо чувствительной пленке. А она ее испортила! Вот тогда-то единственный раз Шукшин не сдержался и сказал, тихо так, с досадой:

- Ну, Марья Савельевна... Неужели вы не могли запомнить три слова?

Стыдно было Скворцовой - хоть сквозь землю провались. И когда на другой день она проходила в гостинице мимо его комнаты, то вздрогнула, увидев в открытую дверь Шукшина. Он окликнул ее, вышел в коридор и - неожиданно обнял и поцеловал.

- Простите, Мария Савельевна, простите! Не сдержался я вчера... Простите, пожалуйста.

Так и заняло все внутри у пожилой женщины, горячее, материнское чувство шевельнулось к этому человеку...

А еще говорили иные о его колючести, заносчивости, резкости... Но не принимал ли он условия игры, которые ему предлагались?

Я сама видела, какой ясный и доверчивый был он среди деревенских людей: не ждал ниоткуда подвоха, сидел со стариками на бревнышках, разговаривал с ними на равных. Наверное, душа его в те минуты плакала по далекому Алтаю, по землякам.

Ну, а если назойливых обрывал и к лишним контактам не стремился, так это его человеческое и - художническое право.

Говорят, и журналистов гонял. Свидетельством тому - сохраненная корреспондентом «Недели» Н.Лордкипанидзе объяснительная записка Шукшина в ее адрес:

«Есть моменты в игре, которые касаются неких сокровенных сторон души. И вот я многих миллионов не боюсь, а трех-четырех, которые на меня смотрят, их я чувствую и прошу уйти. Особенно это касается мест, когда я выхожу на заведомую импровизацию. Возможна первая неудача, и оттого, что ее подсмотрели, дальнейший поиск может быть затруднен. Когда же кусок обдуман, проигран в душе много раз, - я не боюсь никаких наблюдений, даже лишний раз краем глаза проверяю игру. Иногда же кусок надо импровизировать как Бог на душу положит, и важно не испугнуть эту импровизацию. Поэтому и желательно, чтоб меньше смотрели».

Если мне и повезло, то немногим больше. Я наблюдала Шукшина на съемочной площадке. Но когда обрадовалась возможности без спросу - старые знакомые! - прийти вместе с ним до нее, Василий Макарович через десять шагов остановился и сказал:

- Мне надо сейчас одному побыть... Не обижайся!

...И все-таки довелось нам в те дни поговорить без спешки.

Мы сидели вечером за одним столом в полупустом ресторанчике Белозерска, намереваясь совместить ужин с традиционным интервью о съемках фильма. Я достала свой журналистский блокнот и покорно приготовилась писать.

- Я не знаю, Нина, что и говорить тебе, правда.

- А я сейчас сообщаю сама.

- Ну, сообрази, сообрази!

- О Толе, например, Заболоцком расскажите. Почему вы все время с ним работаете?

- Ну, не все время, допустим, всего вторую картину...Что о нем сказать? Интересно работает...Земляки мы с ним, из Сибири он, сосед...Что еще?

- Ну, о взаимопонимании.

- Есть оно, я думаю. Есть...Ну не знаю я, Нинон, что говорит! Ты уж сама там что-нибудь сочини, а? Понимаю я, что у тебя тоже работа, надо это. Только ты уж сама! Знаешь, где все эти вопросы о целях, идеях, замыслах? В-во!

Он резанул себя по горлу.

Официантка не шла. Василий Макарович посмотрел на часы, потом на растерянную меня и снова опрокинулся взглядом в себя.

- Хочется ведь что? Человека показать. Огромного, русского. Настоящую силу, цельность, честность. Вот - такой вот он, человек настоящий! У него и судьба такая тяжелая, что он честен, открыт и говорит то, что есть. Не как другие. И хотят сказать, да подумают сначала, что им на это скажут. Сидят в президиумах, наклонив пустые головы, и мнят о себе невесть что! А дела-то плохо идут на Руси! Плохо, чего скрывать...Ты-то как на жизнь смотришь? Как работается?

- Как? - призадумалась я. - Стыдно сказать, но за годик уже подрачовалась. Чувствую, что заставят немного и халтурить. Начинаю про человека писать, - вспомнила я про Люсю Чудакову, - среди какой красоты живет, о чем думает. А мне говорят - давай про уборку, про передовика!

Василий Макарович с лютым вниманием слушал и подхватил тут же:

- Во-во! Им все передовиков подавай! А что передовики? Сегодня одни, завтра другие, и не это важно, что они - в деле передовые. Может, и дело-то их никому не нужно!..Человека надо показывать, душу его, потому что главное - он. Все проходит, а остается то, что вечное. Меня вот не волнует, например, что по Луне кто-то там ходит. Мне сосед мой намного интересней. И о нем надо писать, раз уж мы люди, пока мы есть на земле... Человек он во все времена человек, и это всегда будет волновать.

Василий Макарович обернулся в поисках исчезнувшей официантки, но никого не обнаружил. Тогда, прищурившись и словно ища поддержки, уже другим, доверительным тоном произнес, глядя куда-то вдаль, сквозь прозрачные оконные шторы:

- Неважное, в общем, у меня настроение. Хочется верить, что нужно кому-то то, что делаешь. А тут...Веришь, конечно. И все равно - тяжко! Вот обругали на Алтае мой фильм «Печки- лавочки»...

Шукшин достал из внутреннего кармана пиджака конверт, стал разворачивать письмо и газету, словно я могла не поверить его пересказу.

- Отстал, говорят, я от жизни деревни, не так, мол, уже все у меня на родине. И люди совсем не такие, как у меня Расторгуев. Очень, говорят, глуповат он и решен однобоко: пристрастие к выпивке, ревность да болезненное самолюбие. И вообще фильм не завершен...

Я молчала, боясь с чем-то согласиться или не согласиться и помешать этому внезапному откровению, на которое в тот вечер совсем не рассчитывала. Мне важно было запомнить все слово в слово, чтобы потом, в гостинице, списать все из памяти, как с магнитофона.

А Шукшин, сам себе отвечая, продолжал:

- Лепет какой-то! Уж молчали бы, если не чувствуют, не понимают, что этот человек выше их во многом!

И он снова с исповедального тона перешел к речи страстной, точно не я, ученически ему внимавшая, сидела напротив, а его идейные противники, не видевшие, не понимавшие вещей очевидных:

- Ох, как много на свете мещанства! Океан мещанства, пошлости, сытости, самодовольства! Да всякий простой работяга-шофер лучше многих высоких чинов, которые только и дрожат за свой кусок. Ведь нормальный человек, было бы здоровье, прокормить себя всегда сможет. А им, вознесшимся, каждому хочется, пока можно, урвать кусок полегче, послаще да пожирней. В том и беда. А настоящих русских людей мало осталось. Но они есть! Вот их-то и хочется показать...

Возвратившись мыслями туда, где мы находились, - на Вологодчину, в Белозерск, на съемки «Калины красной», - Василий Макарович добавил как-то неожиданно спокойно, почти равнодушно:

- Вот и теперь мне, наверно, опять будут мешать, опять станут держать фильм. Герой вор, а не передовик!. Но я буду умнее. Не стану нервничать, пусть как будет - пустят, не пустят. Главное, что года на три я себя обеспечил, и можно будет спокойно писать.

- Но ведь не получится не нервничать, - робко вставила я.

- Попробую! А то измотался. И злой стал, как собака, не тронь меня! И не пишется ничего, не делается. Уехал в Сибирь поработать - вызывают! То «да», то «нет», Измучили...

- А как же тогда «Разин»?

- Не знаю, - Василий Макарович сумрачно мотнул головой. - Не знаю, буду ли теперь вообще снимать, дадут ли. Роман у меня в «Совписе» вон уж сколько держат!

- Из-за чего?

- Наверно, из-за творчества моего! Не нравится, видно, то, что делаю. Им ведь передовиков надо - это я их требования говорил!. Да и перегорел уже где-то внутри «Разин», боюсь теперь браться... Вон из «Характеров», из сборника, - семнадцать рассказов выкинули, уже печатавшихся! А ведь было у меня построение, звучание, был подбор. Ничего не осталось.

И опять я молчала, страстно желая разделить, облегчить его страдания и понимая, что никто не в силах этого сделать. А он, словно убоявшись, что такими жалобами дает мне повод для уныния и отступления, произнес вдруг сжато и решительно, будто воспринял незаметно для меня ниспосланные ему свыше новые силы:

- И все равно надо писать. Писать, независимо от того, пойдет в печать или нет. И не думать о редакторах! Писать. Чтобы быть честным. Перед собой. Перед людьми. Перед Богом...

...Лишь сегодня сознаю, как я мало понимала из того, что говорил мне Василий Макарович. Наивна была, простодушна и доверчива ко всему, что делалось и писалось вокруг. Но последние эти слова впечатались в мою память, как заповедь, которой я старалась потом следовать.

5.11.1938. «В 1938 году в Нейский район заброшено 1300 яблонь разных сортов. В колхозе «Елино» Коткишевского сельсовета организован питомник...»

21.5.1947. «...каждый колхоз должен иметь фруктово-ягодный сад...»

17.10.1947.

«...решением Совета Министров РСФСР установлена «Неделя сада»

Ни у кого в Починке не было такого сада, как у моего деда! Маленькая не понимала я этого, не ценила. А тут приехала в последние сентябрьские дни навестить старика и обомлела: яблони стояли желтые, красные, ветви гнулись к земле от тяжести.

Первый вечер провели мы в беседах. В деревне гостил дядя Николай из Донецка - приехал проводить овдовевшего отца и развлекал его, как умел, веселыми воспоминаниями из далекой молодости.

Ночью неожиданно ударил морозец. Трава поседела от инея. Я вышла раным-рано на гумно и ахнула. Все было подернуто дымкой, в выцветшем небе вставало солнце - бледное, тихое и величавое. Из лесу доносились редкие крики неулетевших птиц. Устало, равнодушно подавали голоса деревенские петухи и нетерпеливо - телята на ферме: ждали поила. Только земля в огороде блаженствовала - она лежала перепаханная к зиме и любовалась кучами картофельной ботвы. Я к уборке, увы, не поспела ...А солнце поднималось все выше, разгоняя туман. Иней на траве стаивал, и крупные капли влаги собирались на яблонях. Они дрожали, дрожали на ветвях, а затем вдруг шумно плюхались в опавшие листья.

После обеда, когда трава обсохла, дед надел соломенную шляпу с широкими полями и приковылял в сад. Хромой, с палочкой, он сам был коряв и сух, как деревья, однако держался молодцом. С торжественным видом он крякнул и тряхнул ближнюю яблоню. Дикие плоды лавиной рухнули вниз, заскакали по земле крупными градинами. Дед празднично переходил от дерева к дереву, тряс их, а оставшееся обивал с ветвей подогом. Мы с дядей Николаем ползали на коленях, наполняя краснобокими яблоками тазы, корзины, мешки. И смеялись, смеялись чему-то...

Не было ни ветерка, стойкий кисло-сладкий запах разливался по всему двору, по деревне. И я вспомнила с благодарной тоскою бунинские «Антоновские яблоки», которые так вовремя заставила меня прочитать моя университетская преподавательница. Я снова была в тот сказочный миг в далеком книжном мире, где нанятые тарханами мужики, с сочным треском жуя яблоки, наполняют ими подводы.

«И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок»...

Вечер снова коротали за столом. Наутро дядя Коля уезжал, и дед печалился. Шумел самовар, но про него забыли. Пели.

- Отец мой был природный пахарь, а я рабо-отал вместе с ни-им...

Орлиный взгляд дяди мокрел, начинал мутиться. А дед смотрел на сына блеклыми голубыми глазами и подхватывал срывающимся голосом:

- На нас напали злые чехи, село-о родно-ое полегло-о-о...

Они сидели друг против друга, пели невпопад, думая каждый о своем, и все тянули, тянули каждую строчку, будто боялись конца песни.

А мне вспомнилось вдруг, как однажды по пути на съемку Василий

Макарович Шукшин нахохленно сидел в общем автобусе и тихо напевал себе под нос именно эту песню:

- Кругом, кругом осиротел я, о-остался кру-углый сирота-а.

- Кругом, кругом осиротел я, - тянул, шмыгая носом, дед, и я понимала еще острее, что дом его - дом вдовца. На окошке, на полу - всюду пепел от папирос: некому поругать. В невытых стаканах - недоеденные корочки хлеба. Сегодня я вымою, приберу все, а завтра? Дочкам не наездиться, своих забот хватает. А бабушкиным сестрам и подавно...

Я навестила в ту осень и старух. Бабка Вера предстала передо мной поникшая. Куда и девались веселье, удаль и прыть!

- Мой черед вслед за Лидией! Пора.

- Скажешь тоже!

- А то и скажу: старость подошла. Отпихнуть бы ее годочка на три, да никак, - она развела руками.

Что отвечать тем, кто говорит о смерти? Что обойдется, минует?.. Мне совсем было нетрудно кивнуть ей в знак согласия: дескать, пора, пожила...

А она вдруг взбодрилась:

- Да ты, поди-ка, голодная! Сейчас я!

- Не надо! Чайку только.

Старуха включила кипятильник и прилегла. Ей очень кстати, что я отказалась есть. А мне так хотелось нажаренной ею картошки! Раньше я не постеснялась бы кивнуть: да, голодная! Что же случилось со мной?

- Хоть огурчиков пока отведай, - говорила с постели баба Вера. - Нюра свежих солила, хрушкие.

- А где она сама-то?

- Нюра? Дак в огороде!

Я готовно выскочила из дома.

Анна Михайловна сгребала ботву.

- Интересно! Сами работают, а меня чай усаживают пить!

- А, Павловна! - кивнула мне старуха. - Бог мой, что ты ботаешь, на небе сидишь и не работаешь?

- Вот именно! Где еще грабли?

Мы вдвоем доделали дело. Однако небыстро. Позднее солнышко уже садилось за нейский сосновый парк. Потянуло холодом.

Баба Вера заждалась нас. Чай вскипал три раза.

- Запропастились! Пожалела, что колоколец не привязала, где искать, не ведаю.

- Здравствуй, красавица без волос и румянец во весь нос! - отвечала ей сестра. - Жаль, не уродила тебя матка козой - хоть бы волки загрызли.

- Отступись, лешая! - засмеялась Вера. - Чего тебе? Сказывай, как перед Господом Богом!

- Сказала бы, да вот беда: приговорок много знаю, а молитвы - ни одной. Такая беспамятливая! Где позавтракаю, туда и обедать иду...Ну? Что у тебя есть в печи? Все на стол мечи!

- Ах, ты, матанечка, ондрец и грохот, телега без колес! - всплеснула руками Вера Михайловна.

- Как-как? - переспросила я.

- Поди, опять записывать будешь?..А вот и не скажу.

- Писарь пишет в три пера государевы дела ...Обедать-то дадут нам

или нет?

Нет, не такая была Вера. Улыбнется - и опять глаза далекие- далекие ото всего.

- Вы, девки, ешьте, а я полежу...

И примостится на бочок, вздыхает, совсем как моя бабушка.

- Такая благодать на свете! Не живи, так само живется, только ноги переставляй... Не разгневайся, Господи, дай помереть спокойно, не завалиться!

- Ты вот рюмочку с нами кувырни, веселее будет! - насмехается по привычке Анна Михайловна.

- Полно-ка! И так грехи не замолены.

- Детки замолят.

- Как же, жди!

О детях - самый печальный разговор, лучше его и не заводить. У Анны своих нет, так об Вериных тоскует. Затянула сыновей водочка, никакого спасения нет. У внуков тоже свои беды. Да кто и живет без них, без горестей? Похоже, только я и радую старух, даю повод погордиться. Ну-ка ведь, столько лет училась, а теперь работаю, и не где-нибудь, а в газетке.

- Слава Богу, хоть с учебой отмаялась! Раньше детки-то тумачи были, людей боялись. А ноне ровно с умом родятся, - удивляется Анна Михайловна. - Диво!

- Как не диво, - перечит ей с постели Вера. - Вон у Валентины возьми три кобылы, и все без ума! Хоть бы от безделья коврик связали, тряпков matka наготовила, А они знай себе в бросок, только в бросок!

- Что правда, то правда. В голове ветер ходит, и мякины нет! - согласилась Анна Михайловна.

- Да ладно вам! - вступилась я за дочерей тети Вали, за своих двоюродных. - Бабушка все волосогрызками звала, и вы. А чего? В школе отучились, слава Богу, кем ни кем, а поварами будут, тоже дело.

Мне и самой, правда, странно было, что все три обнаружили вдруг тягу к поварскому искусству. Но мое ли дело вмешиваться?

- А почто же дома ни одна не готовила? - справедливо ответили мне. - Все matka, все matka крутись!

- Да чего уж теперь? - не сдавалась я. - Надька замуж вышла, и другие не задержатся.

- А дурное дело не хитрое! Теперь как понужнут всех, матке только долги подсчитывай. Тут помогут - грамотные...

Сложное дело - решать чужие проблемы. Не любила я этого. Грустно вдруг становилось, руки опускались. Но - молодая - инстинктивно защищала молодых. Я верила, что не это главное, - не то, что коврики не плетутся, половики не ткются. Я и сама бы тогда не стала! Но я знала другое.

В день свадьбы, после регистрации в загсе, двоюродная моя сестра Надя сказала шоферу:

- А теперь поедem к бабушке!

Тот без слов вырулил на окраину Неи, промчал десяток верст лесом и хотел свернуть к деревне. Но ему указали в сторону кладбища.

«И чего она выдумала?» - молча недоумевала я вместе с водителем. Неловко почему-то было, словно все это - напoказ.

Но Надя уверенно вышла из машины, подняла белое платье, перелезая через сосновую изгородь, и каблуки ее новых туфель захрустели по сухим

иглам и шишкам.

- Вставай, баб, - сказала она над могилой. - Поедем с нами!

В голосе Надином дрогнули слезы: бабка не отвечала. Тогда Надя положила на бугорок букет гладиолусов, и они долго молчали рядышком - молодой Надин муж, не знавший нашу бабушку, и она, сестра моя, с неведомой мне душой.

Я тихо стояла поодаль, устыдившаяся за себя...

Ах, когда бы браки наши, церковью не освященные, могли навечно скреплять старческие могилы!

Не удалась Надина семейная жизнь - заговорила в муже под хмелем буйная цыганская кровь. Ругались. Дрались. Делили ребенка. Разошлись... Так и металась их дочка неприкаянной между отцовским, материнским и бабушкиным домом.

Теперь она женихается уже, и меня при случае таинственно просят поговорить с ней по душам... Только что я скажу? Как могу лезть в ее сердце? Я просто с болью думаю о судьбе своей тетки Вали. Всю жизнь она проработала в детских яслях, среди шума, гама и мокрых пеленок. Своих детей вырастила. И только намеревалась отдохнуть, как подбросили ей внучку. И все началось сначала: пеленки, распашонки, бессонные ночи. Надя спала беспробудно до обеда, а мать крутилась и плакала:

- Наказанье господне! Он - пьяный, она - дрыхнет, и ни стыда, ни совести!

Выбиралась она тогда в деревню к старику отцу часа на два, не больше - чтобы к ночи вернуться домой.

- Козе клок сена не бросят - подыхай! А до молочка охотники.

- Да плюнь ты на них! - советовали ей. - Одни останутся - все сделают, и обеды сварят!

- А и правда, плюнуть, а? - счастливо соглашалась тетя Валя и становилась вдруг мягкой, улыбчивой. - Хоть с вами посижу.

А через час снова мчалась на автобус - маленькая, юркая, сноровистая.

- Девку-то купать надо! Воды кипятить!

...Две другие дочери тети Вали оказались поудачливей. Люба вышла замуж в соседний район, и мало о ней я знаю. Одно запомнила: сначала она денег на свадьбу скопила, а потом уж в загс.

А Тамару взял за себя молодой разведенец. Жена его загуляла, он не простил... Раз обжегшийся, на красоту он не зарился, да и ума большого не искал. Хотел крепкое семейное хозяйство и покой.

Это и получил. Угадал.

- Дед, там яблоки нападали, я пособираю? - не раз слышала я.

- Дак что?

Тамара отправлялась в сад с огромной сумкой, и потом я помогала ей тащиться до автобуса. Приезжала она с такой заботой не однажды.

- Куда тебе столько?

- А насушу, буду зимой компот делать. У меня Генка любит кисленькое! Желанье мужа - дело святое, конечно.

Потом они вдвоем не раз наведывались за брусничкой, потом за грибами - сушить, солить...

- Где вы тары-то наберете столько?

- Хоть у мамки возьмем - ей зачем теперь?

Впрочем с тетей Валей они делились припасами всегда, не согрешу.

Однако самой большой страстью Тамариной было - и по сей день остается - наведение чистоты. Постирать, прибраться - ее стихия, ее талант, ее болезнь.

Как-то вернулась я в сиротливый дедов дом из Михалей, из магазина, и ахнула у порога: пол вымыт, на мосту - выскоблен, а в зале - белым-бело от занавесочек! Тюль, скатерти, накидушки - и где она отыскала это?... Почудилось, что вот-вот появится бабушка и воскликнет: «Как чисто!» И все вернется на круги своя!

Но так бывает только в сказках. А в жизни, не успеешь из одной беды ноги вытащить, - другая затянет. Оно ничего, пока дети маленькие, а большие детки - известно - большие и бедки.

У моей тетки Клавы сын заканчивал техникум в Костроме, приезжал домой редко, пропадал на танцах.

- Ты бы попросила его хоть невесту показать, - говорила она жалобно. - На меня он только рычит да зверем смотрит. И с батькой ни слова...

Но и со мной он в откровенности не вдавался: все-таки разделяло нас несколько лет. Все бегал, бегал он шпингалетом, и вдруг - нате вам! - гитара, длинные волосы, винцом пахнет... Что у него на душе? Больше, чем его мать, я не знала.

Не получалось у меня серьезного разговора и с дочерью ее Люсей. Так только, про работу если: неважно, по тридцать рублей не всякий месяц выходит, не нужны никому прически, зря мать не послушалась, выучилась на парикмахера... про погоду: дождей-то нет и нет, а то бы грибы пошли... про танцы: сегодня народу много было, наших видела, повзросли все, модные, накрашенные, расклешенные... Я не знала, что она читает, о чем думает, мечтает?

- Что она тебе поговорила? Поделись со мной, - неотступно пыталась меня тетя Клава.

- А ничего не поговорила! - искренне отвечала я, зная, что мать волнуют отношения дочери с женихом. Который год изо дня в день одна и та же программа: карты, кино, танцы. Жених и столуется у них, и дед наш его за своего считает. А про свадьбу - ни слова... Так я и сказала: «И про свадьбу - ни слова!»

Что я еще могла добавить?

Поженились они потом все-таки, и живут, детей растят. А в молодости куда спешить? Рядышком, и ладно. Тем же, кто седеет, хочется, чтобы у всех и во всем были покой и порядок.

Тетя Клава тут явно была в отца своего, моего деда. Тот тоже все не унимался в мой осенний приезд.

Лежит, бывало, на печи, хлопушкой бьет на потолок пригревшихся мух да пошучивает:

- Чтой-то я двух недосчитаюсь... Нинушка, ты мух моих не выпускала? А потом вдруг вздохнет тяжело, незнакомо, и скажет:

- Однако надо Панушка оженить! - это значит, отца моего. - Мне старику, и то одному худо. А он молодой... ну-ка, 45! Ты уж ему не перечь, доча!

- А я чего? Я ничего, я сама бы рада. Все хоть моя душа на спокойе будет.

- Надо оженить, надо...

Я знала, что дед уже предпринимал такие попытки. Как-то сосватал

ему Сою - ту самую, у которой рос внебрачный сын от покойного Бориса. Всю жизнь прожила она одиноко, ничем себя не замарала, наши ее уважали и почитали...Отец не стал упираться - побывал у нее в гостях. Попили, докладывал, чаю, поговорили, потом Соня достала фотографии - родных, знакомых...Бориса...И отцу стало не до жениховства...

А самому ему встречались женщины все не те, несамостоятельные или «с довеском», как выражался дед. Где отыщешь лет под сорок и без ребенка?

В размышлениях о сватовстве дошли мы с дедом до прежних деревенских свадеб. Выяснилось, что женихи всей округи приглашали его на роль дружки, - распорядиться обрядом, который он знал назубок. Вот почему мне улыбались повсюду, стоило назвать фамилию.

- А, внучка дяди Коли Веселова, который из Починка? Знаем, как же!

Глядя, как я записываю, дед рассказывал:

- А вот в Парфеньеве, доча, когда дружка к невесте ехал, то приговаривал: «Дайте нам сенца и лошадушкам овсеца, а нет сенца, так дайте соломки ржаной, чтобы они ржали да бежали, кверху головы держали...»

Не девчонка я была, да и дед не из ханжей, а потому не делал он в текстах пропусков, даже если встречались непристойности. Разве можно из песни выкинуть слово?

- А вот еще слова дружки, - усаживался он поудобней и не начинал диктовать следующую фразу, пока я не заканчивала писать предыдущую, - Ехал я, друженька, ехал я, молоденькой, не путем, не дорогою, в незнакомую сторону. Переехал я, друженька, волок, восемь елок, встречается со мной народ, как кривой огород, и говорит. Куда ты, друженька, едешь? У вашего сватушки и дому-то нету, четыре кола вбиты да бороной покрыты. Дождик пойдет, как из ведра польет! Подъезжаю я к вашей деревушке. Деревушка ваша славна, улица словно бархатом устлана. Подъезжаю я гостем к почетному мосту. А у сватушки воротечки-ти злаченные, кольчики-ти серебряные. У сватушки половички-ти раздвигаются, а ступеньки-ти рассыпаются. Шел я, мотался, но все-таки до дверей добрался. А у сватушки двери-ти сколочены, да не на ту сторону скобой поворочены. Я Иисову молитву проговорил, мне сватушка двери отворил. Я скок через порог, еле ножки переволок. Назад подался, гасник порвался, штанки свалились! Девки-молодки удивились. Вы бы, друженька, остановились, мы на вашего младшего братца не насмотрелись! Тетушки, расштитесь, молодушки, расступитесь! Как бы мне, друженьке, не оступиться да кому за праву титечку не схватиться! У меня, у друженьки, рученька-то глупа, да не схватить бы кого и пониже пупа! Вы, девицы, криночные блудницы, горшечные пагубницы, на снох матерям ябедницы! Смотреть-то смотрите, да на наших свахонек соплей не уроните! Наши свахоньки молодые, точно ягодки налитые. Выходили ли, сватушки, вы за ворота, смотрели ли вы через леса и болота, как ехал наш князь новобрачный с княгиней новобрачной? И все ополчане, и все поезжане, и я, друженька, со своим полудружьем, шибко ехал, пятки стер. Ехали мы крутыми горами, темными лесами, Горы-ти круты, а лошадки-ти худы, тарантасики-ти катятся, а лошадки набок валяются. Стали мы их поднимать, да тарантасики валять. Оттого нас, сватушка, долго и не было. Добрые люди! Дайте нам знать, как нашего свата и свахоньку звать? Сватушка, свахонька, оба-два, пожалуйста сюда! От печки кирпичная, от столба горемычного, по полу тесовому, ко мне, друженьке, молодому и веселому. У меня, у друженьки, руки с подносом, язык с приговором. Покажите-ка нам путь, где у вас горилочку

пьют!..

12.7.1932.

1.

«Давайте старые затасканные ветхозаветные песни заменим боевыми новыми!

«Железными резервами мы выросли везде.

Клянемся, будем первыми в бою, в строю, в труде.

Припев:

Мы - молодая гвардия, непобедимый стан!

Мы - молодая гвардия рабочих и крестьян.

2.

Над каждой трущобою наш вольный зов звенит.

Упорною учебю грызем наук гранит.

Припев.

3.

Не нам бояться боя. Винтовка нам родня.

Ведem мы за собою всемирный молодняк!

Припев:

Мы - молодая гвардия, непобедимый стан!

Мы - молодая гвардия рабочих и крестьян.

« И все-таки роль свахи дед выполнил до конца и с честью. Для этого далеко ходить ему не пришлось - всего через два дома по своему порядку. У тети Мани Шутовой - которая, помните, уступила нам решето - овдовела племянница. Бездетная. Старик узнал ее адрес и сообщил моему отцу. Тот сначала у тети Мани справился: не засмеют ли сидящего жениха? Все-таки ему 45, а ей 32... Шутова успокоила. И тогда отец списался с Алей. Она приехала на три дня в Ленинград. А через месяц перебралась совсем.

Ах, дедушка, дедушка! И как ты угадал, что сыну твоему надо?

Я погостила в Ленинграде недельку и успокоилась, наконец, за отца. Аля оказалась хозяйственна, деловита, терпелива, иронична. Она умела пригнать назревшую ссору, не заметить резкости, но и - настоять на своем.

Ничего бы отец не решился сменить в доме, доживал бы в привычной обстановке. Зачем ему холодильник, книжный шкаф? Но все это появилось и явно пришлось ему по душе, хоть и виду он не подавал.

- Все, теперь - все! - устало защищал он прежний быт. - Ну куда нам магнитофон?

- А я, папа, думаю - надо, - вставляла я, - И чего ты так боишься цивилизации?

Своим возрастом Аля совершила невозможное: став мне не матерью, но - подругой, она и отца омолодила; он сделался вдруг терпимей ко всему новому, не искал больше со мною ссор, а напротив - советовался. И стал легким на подъем - не один раз в первые свои годы они побывали в деревне.

Алю тянуло туда не случайно: она тоже родилась в тех краях и когда-то работала в Михалях. И мужа своего она похоронила на нашем кладбище - на том самом, песчаном и сосновом, где лежала моя бабушка и куда скоро должен был лечь дед... Но пока он еще бродил, прихрамывая, и ни я, ни отец, ни сама Аля не догадывалась, как правильно она сделала, привезя однажды в деревню магнитофон. Пускай позаписывает!..

...Теперь, затосковав, можно включить его. И зазвучит рядом тонкий, дребезжащий и жалостный, живой голос деда:

- Горит, горит село родное, гори-ит вся ро-одина моя-а-а.
Совсем, совсем осиротел я, остался кру-углый сирота-а-а...
И снова оживут в памяти последние наши встречи...

Мы приехали в деревню с тетей Клавой. Подошли к крыльцу и застыли в недоумении: грязь такая, словно рота солдат прошла. С бьющимся сердцем влетели в дом и только и сумели вымолвить:

- Господи-и...

Старая любимая русская печь была разворочена до основания! Кирпичи, пыль повсюду...И тревожный запах неустрашенности, беды.

Дед лежал на кровати с перевязанной рукой и даже не поднял на нас глаз.

- Дурень ты, дурень старый, - заплакала тетя Клава, садясь к отцу в ноги. - Который год один, а все задним умам...Ну почто ты торопился, сам ломал? Знаем ведь, что пора переключивать...

- Да я вот только боров попробовал...ковырнул, а он и посыпался...

- Боров! У нас ничего не сыпалось, как не трогали!.. А с рукой что?

- Ключица, кажись... - отвел глаза старик. - В голбец полез, столбухи хотел поправить. И давануло...

- Ой, чтоб тебя! - замахнулась в сердцах тетя Клава и тут же захныкала бессильно: - Больно, а?

- Есть маненько, - доверчиво ответил дед.

Лицо его мало соответствовало моменту: ни боли, ни беспокойства не выражало. Я поняла, почему, когда тетя Клава забежала, сгребая грязь и складывая в углу кирпичи.

- Эх, старый! Зима на носу, а он печь менять удумал. Развали-ил...А печника нашел? А кирпич?

Дед с невозмутимым лицом молчал. А когда через два дня на траве возле дома выросли кучи песка, глины и кирпичей, он тихо приговаривал, посиживая с больной рукой на лавочке:

- Главка у нас молодец, Главка все найдет!

Это была истинная правда. Нашелся и печник, хоть не из лучших, медлительный, но выбирать не приходилось. Мы делали на улице раствор, приносили в ведрах ему, а он шлепал им во все стороны, десять раз до того вымеряя, куда пристроить очередной кирпич. Печь росла. На моих глазах у нее появились бока, потянулся вверх дымоход, выставился боров, родилось устье: кирпич к кирпичу улеглись плотным полукружьем - и не падали! На новеньком поду подсыхала глина...

Мы ходили вокруг печи и ждали, когда можно будет ее затопить. Мы тосковали. Она была темная от влажной глины, неудобная и совсем чужая, как самозванка. Куда ей до прежней? Вместо трех у нее всего одна печурка - где же мы будем вялить яблоки? А устье...Разве это устье? Низкое, узкое. В прежнее не то что ведерный чугунок - я бы пролезла! Да что там говорить!..

Но смириться пришлось. И ранним солнечным утром мы принялись новую печь обихаживать. Приготовили лучину, поленья.

- Ну, с Богом, - сказал дед и чиркнул спичкой. Пламя робко прыгнуло с лучины на березу, лизнуло своды и рванулось к дымоходу.

- Поехало! - счастливо сказал дед и оглядел нас сияющим взглядом.

Жить бы и жить в этом доме с новой печкой!..Но дарованное Богом время кончалось и у старика...

И прежде был он не хозяин, а без старухи и подавно. Пришел первый год по весне в огород и охнул - один-то! Бабка хоть и слепая, а все по грядкам руками пробегалась, размечала, что куда посадить. А тут самому думать надо! Вот и ждал дед, когда кто из своих наведается.

На все мои вопросы у него был один ответ:

- Делай, золотишко, как знаешь!

А что я знаю, откуда?!

Стоял тогда конец августа, темнело рано. Я вышла под вечер в огород и вижу: небо вызвездило, как бы заморозков не было. А у нас помидоры не убраны...Пришлось в темноте ощупывать шершавые кусты, обирать все плоды - и крупные, и крошечные, совсем зеленые. Целый таз набрала, поставила на полати - дозревать во мраке. Засыпая, вспоминала дурманящий запах листьев, который плыл над грядкой.

А поутру вышла на волю и вижу: все помидорные кусты почернели, листья на них свернулись. Ай да я! Значит, предчувствие не обмануло?!

Дома я томительно молчала, наблюдая за дедом: екнет у него сердце или нет? Он поглядел в окно раз, другой, потом неторопливо свернул самокрутку и сказал, затагиваясь:

- Ну-ка, доча, сбегай глянь помидоры-ти! Поди, проворонили мы их...

Я без слов достала с полатей таз и показала ему:

- Вот!

Он только головой закачал, вытер поспешно глаза и отвернулся с папиросой к окну.

- Долго ли прогостишь, Нинушка?

- Недельки три, думаю.

Поразмыслив, он и совсем успокоился, положился в хозяйстве на меня, как когда-то - на бабушку.

.....

- Теть Мань!

- Ау!

- Муку еще не давали?

- Не-а.

- Подскажи, как будут...Теть Нин!

- Чего?

- Забегги. Надо лук увязывать - и не умею...

- Плохо, городская, без бабки?

Как не плохо! Раньше всего и хлопот у меня было - жалобы ее выслушать, книжку почитать, а остальное по приказу: поди туда, принеси это, то купи, это убери. А теперь? Где взять, с чего начать - ничего не знаю, не знаю, не знаю! Из которой бадьи кормить поросенка? Бабушка говорила: мельчуховатая коза Муська из поросенкиного ведра пить не станет...Пьет. Значит, опять я угадала. Но доить эту Муську! Ладно хоть только два соска, и то руки заноят, пока литр навжикаешь. И как это люди с коровами управляют? А я все шутила: не получится в газетке, уйду в доярки. Где мне!

Принесла воды. Увезла в баню тележку дров. Сменила в хлеву солому. Сбегала в Михали. Вымыла окна. Пообедали. Клонит в сон. Полежала десять минут...Опять поросенка пора кормить! «Позабывать», что ли?.. Еще десять минут прошло. Нет, не заснуть! Кто же его накормит? Дед храпит, на

меня надеется. Поднялась через силу. И опять закрутилась - одно, другое, третье... Неужели бабка всю жизнь - вот так, через «не могу»? Откуда же силы брались?

Однако тяжело-тяжело, но и радостно, когда вдруг - гости. Вон тетя Клава с первого автобуса бежит, в окошки заглядывает. Ура, будет мне передышка.

- Ну, как тут у вас дела? Кинула я своих, дай, думаю, отдохну, погляжу, как другие работают...Что у вас на завтрак?

- У стряпки спрашивай! - ухмыляется дед. - Мне нонче отпуск даден.

- Дак чего у нас, - робею вдруг я. - Картошка, как всегда. Я вот топтанку сделаю, а дед кругляшей с грибами пожелал.

- Ты бы потушить попробовала, -учит тетя Клава. - Вкусней.

- А как в этой печке?

Нет, не отдохнуть тебе со мной, тетя Клава! Но я скоро все-все научусь делать. Трудно, конечно, зато здорово как: кто ни приедет, все на меня смотрят, все ждут, что скажу, что попрошу, что прикажу. Я - хозяйка! Кушайте, гости дорогие, братья, сестры, дяди, тети, не обессудьте, чем богаты, тем и рады... А теперь прилягте...А я? Что вы, некогда мне, я потом как-нибудь!

...И вы верите, что в свои двадцать четыре я смирилась с подобной участью? Возликовала от нее?...Легко чужими руками жар загребать, не зря сказано. И хоть глаза боятся, а руки делают, но душа-то, душа...Ей тогда бездумно, безумно хотелось чего-то иного! И к концу третьей недели я трезво сказала себе: все! Я устала.

Я устала вставать на рассвете и выпускать овец и Муську в стадо. Руки, вечно черные от печной сажки, они устали быть грязными, им хотелось позабытого маникюра и горячей воды для посуды; из-под крана, а не из чугунка! Мне надоело каждый день трясти половики, на которые дед натаскивал из хлева соломенную труху и навозные лепешки. Надоело! А ведь в детстве я так любила шлепать босиком по теплomu навозу - чтобы он просачивался меж пальцев и одевал ступню в невесомую бурую сандалию...Я боролась за нее и не смывала неделями, почему меня и гнали ночевать с постели на сеновал...Раньше и носить воду на коромысле казалось мне приятнейшим занятием. Теперь же я недоумевала, почему обречена делать это каждый день и не один раз. Как Сизиф!.. Хватит. Я хочу водопровода! Я хочу, наконец, выспаться. И почитать. Не засыпать от изнеможения на третьей строке, а почитать с наслаждением. Я имею на это право. Или нет?!

Я не могла больше равнодушно смотреть на долгую Нинку Смирнову. Ей слегка за сорок, а на кого она похожа? И в холод, и в жару, с утра до вечера - в валенках на босу ногу и в замызганном халате, а под ним - застиранная майка и обвисшие груди. И вся Нинка какая-то грубая, шумная, зычная - а еще бригадир! Словно без ее покаяния никто и на работу не выйдет!...А заботы ее? Накормить скотину да своих домашних, вот и все. Сморчок-муж ее горазд выпить, и частенько она тащит его домой на себе. Да я бы выгнала такого раз и навсегда! Говорят, он даже какой-то родственник нашему деду...Позор! Хотя в доме Генаха Смирнов незаменимый. Каждый день летом, еще в сумерках, он с кем-нибудь из детей гонит на мотоцикле в лес. Возвращаются до начала работы с полными корзинами брусники, белых или груздей. Ягод, говорят, намачивают на зиму ведер десять, грибов засаливают не одну бочку.

- Взяли бы разок нас с собой, места показали!

- Садись! Только дорогу назад сама искать будешь...

Спасибо! Так мы и сами сумеем.

И погляди: они ведь довольны своей жизнью! А мне страшно делается. Газеты? Нинка-бригадириша их не читает, кроме районной «сплетницы». Телевизор? Да она засыпает под него тотчас! Все ее интересы - не дальше своего колхоза, ну, области. А как же большие государственные заботы? Как же Чили, про которую кричит весь мир? Как планета наша Земля, наконец?.. Ладно, бабка моя, дед, что с них взять, и то! А эти - они же молодые! И так вот раз и навсегда решить, что центр Вселенной - их собственный живот, а все остальное - философия? Пусть ею дети занимаются, пока не вырастут и не поймут, что к чему?

Страшно мне стало тогда. Три недели я жила Нинкиной жизнью - готовила еду, кормила деда, себя и скотину. С мифической обреченностью таскала дрова, воду, хлеб, солому. Говорила о погоде, о грибах, о здоровье, об урожае, о последних происшествиях из разряда невероятных. Удивлялась смелости рабкора, высказавшегося в местной печати по поводу длинноволосяных гитарами. Ложилась со всеми засветло.

Наверное, так и надо, так и должно быть, убеждала я себя, просто мне не дано пока уловить высокий смысл происходящего. А душа противилась: нет! нет!!

27.5.1931.

«На собрании 24 мая в деревне Суршино Михалевского сельсовета 10 активных крестьян вступили в колхоз. Кулаки, в особенности Смирнов Филипп Ильич и его жена, старались утащить с собрания в особенности записавшихся женщин.

Сорвать собрание им не удалось. Но на этом они не остановились. На другой день жена Смирнова ходила по домам, чтобы женщины не записывались в колхоз. Узнав, что список записавшихся находится у Кушенкова, просила его уговаривать: все равно, мол, колхоз развалится потому, что на Петров день будет война. Мы требуем убрать обнаглевшего кулака Смирнова.»

5.6.1931.

«Знаешь ли ты, единоличник, что 24 процента всех хозяйств района, объединенные в колхозы, охватили 2/3 всех посевов пшеницы и по одной трети посевов льна, ячменя и овса по всему району? Есть ли колхоз в твоей деревне?»

5.6.1931.

«Недавно в деревне Червино (Михалевский сельсовет) организован колхоз из 12 хозяйств. Все шло как следует. Но агроуполномоченный Иван Михайлович Смирнов вдруг повел в деревне свою агитацию против колхоза. Смирнов стал доказывать крестьянам, что «в колхозе все больше зажиточные, а поэтому мы в колхоз не пойдем, а то получается, что мы будем только спасать кулаков».

Так рассуждает активист Смирнов. По его наговору уже одно семейство выписалось, в колхозе теперь 11 хозяйств.

Михалевский сельсовет должен немедленно вмешаться и проверить, прав ли Смирнов, что колхоз кулацкий, или сам Смирнов подкулачник.»

12.4.1932.

«Колхозы, бедняки и середняки-единоличники Михалевского сельсо-

вета рапортуют районным организациям, агротехническому съезду и революционной Саксонии о полной боевой готовности к севу 3-й большевистской весны...»

8.9.1932.

«В колхозе «Новый мир» Михалевского сельсовета царит полная беспхозяйственность. Инвентарь после уборочной и посевной компании к месту не прибран, валяется, где попало. Сарай, в котором должен находиться инвентарь, без крыши. Учета инвентаря в колхозе нет. Весь он или нет, неизвестно. Колхозники в колхозе хотят работать, а не лодыря гонять. Председатель колхоза Горев занимается хищением колхозного имущества. У себя на квартире он производил переработку молока на масло, и вместо 32 кг, которые должны выйти из 1029 л молока, оказалось только 21 кг.

В религиозный праздник Успенье Горев покинул колхозные работы, сев и уборку, и сам уехал в гости.

Мы, колхозники, за хищение колхозного имущества требуем привлечь Горева к строгой ответственности и снять с работы председателя колхоза. Колхозники».

10.7.1933.

«Колхоз имени «Ударник-лесоруб» встал на антиколхозный путь.

Колхоз организован в январе 1933, приняли сельхозустав, обобществили средства производства, постройки и рабочий скот, а дальше этого начинания не пошли. У большинства колхозников сохранились целиком все старые индивидуалистические убеждения, направленные не на совершенствование устоев колхоза, а на развал его. Они до 4 июля упорно и без всяких на то оснований отказывались обобществлять озимовой посев /рожь/, с тем, чтобы производить уборку урожая колхозникам единолично... Эти люди, носящие звание колхозников, никакой колхозной дисциплине не подчиняются, наряды не выполняют, устраивают склоки, споры во время работы, с возгласами. «Разве мы будем подчиняться такому председателю и бригадиру?» А что имеет колхоз в результате? После взмета паров кони потеряли свою работоспособность, кормами скот совершенно не обеспечен...

Колхозу надо сделать решительный перелом, взять опыт передовых колхозов...и добиться первенства во всех хозяйственно-политических кампаниях».

26.2.1936.

«В Первомайском колхозе Михалевского сельсовета на МТФ скот стоит в грязи, подстилка никогда не производится. За февраль пало 2 коровы и грозит опасность еще нескольким. А если колхозники станут указывать на недостатки на ферме, председатель колхоза Кудряшов угрожает словами: «Я с вас последнюю рубашку спущу!»

24.4.1936.

«Посмотрите, как председатель колхоза «Красный моряк» Михалевского сельсовета Румянцев «готовится к севу». Сбрую за зимний период всю изорвали, но до сих пор не ремонтируют, и она истрепанная валяется разбросанной где попало. Очевидно, сбрую будут ремонтировать тогда, когда поедут в поле, а это повлечет задержку в севе.

Неповоротливость Румянцева ясно говорит за то, что он не борется за высокий урожай и за стахановские сроки весеннего сева».

22.1.1938.

«В колхозе «Культура» Михалевского сельсовета есть хорошая куз-

ница, которая сумела бы обеспечить ремонт инвентаря во всех колхозах Михалевского сельсовета. Но до сих пор она стоит запертой. Есть два кузнеца, но они на работе не используются.

Председатель колхоза Лебедев проявляет преступную медлительность в подготовке к весеннему севу.»

22.2.1938.

«В колхозе «Большевик» Михалевского сельсовета со стороны председателя Чистякова А.П. и конюха Кудрявцева А.Н. до сего времени наблюдается бесхозяйственное отношение к ремонту и хранению инвентаря. Упряжь, хомуты, седелки и т.п. валяются под открытым небом. Из-за плохой упряжи неизбежна порча лошадей, но это ничуть не беспокоит руководителей колхоза.»

7.8.1942.

«В Лясковской бригаде колхоза «Борец» Михалевского сельсовета вместе с колхозниками на уборку ржи вышла четырнадцатилетняя Людмила Смирнова. Она впервые взялась за серп. Сначала делала робкие неуверенные движения, часто останавливалась и присматривалась к работе опытных колхозниц. Постепенно Людмила приобрела известные навыки, стали чаще мелькать над головой горсти сжатых колосьев.

Не отставать от взрослых - такую задачу поставила она перед собой. Она не делала перерывов в работе, раньше других вышла в поле после обеда, стала работать проворней.

Вечером в поле пришел бригадир. Он обмерял выжатые участки. В первый день Людмила на 0,02 га выполнила больше нормы, установленной для взрослых. «Теперь я не отстану от взрослых!» - твердо заявила она.»

3.8.1944.

«Органами милиции арестована и привлечена к уголовной ответственности гражданка Смирнова Мария Дмитриевна из колхоза «Красный маяк» Заингирского сельсовета за срезание колосьев на колхозном поле.»

13.8.1944.

«Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП/б/ «Об уборке урожая и заготовке сельхозпродуктов» установлена серьезная ответственность руководителей колхозов за сохранение зерна от расхищения и разбазаривания, а также установлено, что выдача аванса не должна превышать 15% от сданного зерна государству.

Однако председатель колхоза «Борец» Михалевского сельсовета Чернов Ф.А. грубо нарушил это указание, выдав аванс в 395 кг, не сдав ни одного кг зерна государству, за что Чернов органами прокуратуры привлечен к уголовной ответственности.»

1.2.1945.

«Районный комитет партии поддержал почин колхоза «Елино» по созданию колхозной взаимопомощи из личных запасов колхозников, так как в получении государственной семенной ссуды в 1945 году району окончательно отказано.»

27.12.1953.

«Сентябрьский Пленум ЦК КПСС поставил грандиозные задачи по дальнейшему развитию сельского хозяйства.

Однако тихо и спокойно в колхозе имени Хрущева. Здесь почти ничего не делается по подготовке к весеннему севу...

Серьезные недостатки имеются и в животноводстве. План не выпол-

нен ни по одному виду скота...К зимнему содержанию скота колхоз подготовлен плохо: на дворах много недоделок. Так, овчарня в Абросимове не утеплена, в скотном дворе в Починке не оборудованы кормушки...

В колхозе ослаблена трудовая дисциплина. Многие колхозники отказываются от выполнения нарядов бригадиров, не выходят на работу. Больше всего это имеет место в бригаде Суршино, где проживает председатель колхоза.

Колхоз наметил конкретные мероприятия по выполнению задач, поставленных сентябрьским Пленумом ЦК КПСС... 1954 сельскохозяйственный год решено сделать переломным годом по дальнейшему подъему сельского хозяйства».

11.3.1955.

«Если вез в поля навоз - будет хлебом полон воз.

Коль в поля не вез навоза - кукиш с маслом снимешь с воза!»

29.5.1957.

Из речи Н.С.Хрущева в Ленинграде на совещании работников сельского хозяйства:

«...По молоку вопрос ясен. Мы можем и должны в будущем году догнать США и этого добьемся.

Но не будет никакой трагедии, если, к примеру, в 60-м году мы не сможем догнать Америку по производству мяса. Можно допустить какую-то отсрочку, не плохо будет решить эту задачу и в 61 году...

...Я попросил экономистов дать расчеты...они бумагу дали мне. На той бумаге написано, что увеличить производство мяса в 3,2 раза и догнать США мы можем в 1975 году /смех/...

...С точки зрения арифметики тут нет никакой ошибки, все доказано. Но, товарищи, надо же понимать, какие сейчас силы накопились у нашего народа...вы же видите, что многие колхозы буквально за два-три года увеличивают производство продуктов в 10-15-20 раз. В какие же арифметические расчеты можно все это уложить. Это же политика, политическое явление...»

13.7.1967.

«Мы снова в Починовской бригаде. После обеда колхозники, взяв в руки грабли, вилы, носилки, пошли загребать сено. НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ВЕСЕЛОВ запряг лошадь и стал загребать сено конными граблями...»

...Наверное, так и надо, так и должно быть, просто мне не дано пока уловить высокий смысл происходящего, убеждала я себя. А душа противилась: нет! нет!!

Однажды в теплый и тихий закатный час я закончила складывать развалившуюся поленницу. Голова кружилась от стойкого соснового запаха, сердце непонятно замирало. Я скинула босоножки и побрела на гумно. Трава охладила уставшие ступни, но все равно тревожно и беспокойно было на сердце.

В низинах, у леса, копился туман. Ни ветерка. Прогромыхал вдали поезд, собака тявкнула. И снова тишина.

Я забралась на прясло и в задумчивости застыла. Почти мгновенно опустились сумерки, придавили невидимой тяжестью...И вдруг душа всколыхнулась, взлетела куда-то в таинственную высь и - замерла там, ожидая чуда. И оно случилось. Я увидела сверху разом все наши просторы, леса, проселки, речки, железные дороги и далекие города; увидела - и дух захватило

от удивления перед всем живущим, от недоумения перед всем умирающим. Словно весь мир обняла и коснулась главной тайны. Еще миг, и я разгадаю ее, только - не шевелиться и молчать...

И тут резко заговорил телевизор: кто-то из соседей включил его и распахнул окно. Что со мною сделалось!! Три недели я не вспоминала, что на свете существует еще что-то, кроме нашего Починка, затерянного среди лесов. Три недели в огромном мире что-то случалось, кипели страсти, решались чьи-то судьбы - а я не знала! В Вологде до утра спорили о новых книгах мои друзья - а я не читала! В газете поднимались проблемы, намечались командировки - а меня не было! Я будто умерла для всех!

Но как же так? Разве может большая жизнь продолжаться без меня?!

...На другой же день с чувством великого облегчения я покинула дорожку деревню и любимого деда.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. КАЛИНА ГОРЬКАЯ

А в милой Вологде без меня ничего видимо великого не случилось. И если бы отпуск мой длился год, газета не перестала бы выходить. Незаменимых журналистов нет! Однако горькую догадку эту в юном возрасте мы стремимся оттеснить в дальний уголок души. И забываемся в круговороте дел. Он дает нам иллюзию нашей значимости и нужности. Тогда как не конкретно мы нужны газете, а просто человек пишущий. Но она нам нужна, да! Поездив и многое повидав, может статься, что-то и поймешь в жизни. Даже мне это частично удалось, при всей наивности. Хотя в одном чиста: продажных статей не писала. Не потому, что отчаянно сопротивлялась, - никто и не давил; но по воле своей рассказывала лишь о светлых людях, о чистых душою. А они, слава Богу, и теперь не перевелись на Руси...

Весь сентябрь 1974-го я промаялась в редакции, не зная, чем себя занять. Материалов было навалом, мои новые открытия не требовались...И стало до слез обидно, что я сорвалась от деда! Для того, чтобы бродить по кабинетам и слушать, как в очередной раз переливается из пустого в порожнее?! Но не ехать же было назад...Что это изменило бы? Только добавило бы боли при новом расставании. А теперь он уже снова привык к одиночеству и ковыляет себе смиренно из избы в хлев и обратно.

От тоски небывалой нужно было спастись. Хотя на край света бежать! Но такие безумства не в моем характере. И я выбрала нечто среднее: Белозерский район. Там можно было побродить по местам съемок «Калины» и заглянуть в опустевший дом Чудаковых.

...Незадолго до этого, в начале лета, я побывала на Взвозе. Все там было по-прежнему, как и два года назад. Притаились у воды домики, и ничто не шевелилось, лишь носились над озером чайки, чистили на отмели свои перышки. Над прогретой землей струился, дрожал теплый воздух, цвели желтым луга. Снова сказочно хорошо и тихо показалось мне там после городской сутолоки. Снова я позавидовала Люсе Чудаковой, живущей среди такой красоты. Но идти с ней вторично на раннюю дойку так и не отважилась...

В ту пору на все прелести, которыми я любовалась, Люся и глаз поднять не успевала: сдавала экзамены за десятый класс младшая сестра Таня, и помогать матери по хозяйству в перерывах между дойками приходилось той же Люсе.

И все-таки она выкроила время для меня. Мы взяли у соседей лодку

и погребли к древнему Васькиному бору. Тихо плескалась за бортом вода, и я понемногу узнавала, чем жила Люся два минувших года. Оказывается, хотела поступать в сельхозтехникум в Вологде, но председатель колхоза отговорил: не на кого будет группу оставить, поработай еще, а потом мы тебя пошлем от колхоза.

- И не сдержал слова?!

- Сдержал, - улыбнулась Люся. - Я уже и экзамены вступительные сдала. Буду зоотехником-организатором, колхоз обещает стипендию. А когда вернусь, на центральной усадьбе будет новый комплекс. Пойду туда.

- Здорово!

- Здорово, если бы не грустно...

Люся склонилась над веслами, разрезая ими озерную гладь. Наконец лодка мягко ткнулась в песчаный берег.

Сосновый бор встретил нас чуткой тишиной и покоем. Мы медленно шли по едва заметной тропке, бережно обходя кусты цветущей брусники и наклоняясь, чтобы собрать в букет крупные прохладные ландыши.

- Почему грустно? - пыталась я молчаливую Люсю.

- Грустно, - повторила она задумчиво. - Сей год я так весны ждала... Не дожусь, думала... А как в Вологде без всего этого? Весна среди асфальта?

- Привыкнешь...

- Добро бы. А без коров как? Чаюшку так хоть с собой бери, так полюбилась. Она ведь сейчас у меня по тридцать литров дает!

Во взгляде Люси была нескрываемая гордость.

- Зато уж Чаюшке все за это прощается. И поспать подольше позволю, и кашу отпихнет - не заругаю. Разве крикнешь на нее? Ведь Чаюшка... Ой, а ты бы знала, как я плакала, когда она себе рог сломала! До крови, бедная... Вот и страшно потому - вдруг не получится из меня зоотехник? Уж очень жалко коров. Видеть не могу, как им уколы делают. Бр-р!

Люся махнула рукой, прогоняя это видение, и торопливо зашагала к берегу: свободный часок кончался.

- А с кем же... с кем останется твоя группа? - вдруг обеспокоилась я.

- И не спрашивай! Не знаю. Хоть учиться не езди, потому что не бросишь их так...

А вечером проворная худенькая Прасковья Ефимовна снова с негаснущей улыбкой выставляла на стол грибы и сушки, самодельные хлебы и молоко.

- Чем богаты...

Но сквозь ее покоряющую улыбку уже светились грусть предстоящего расставания: Люся собиралась в техникум на зоотехника, Таня - на агронома...

...Словно я осиротела тогда, а не уютный домик на Взвозе. Печально, как ни поворачивай, узнавать, что еще из-под одной деревенской крыши упорхнули молодые. Вернутся ли сестры Чудаковы в этот дом, где столько лет звучал их переливчатый смех? Я нигде больше не слышала такого безгрешного согласного смеха...

И вот в конце сентября я позвонила в Белозерский райком комсомола. Мне ответили, что в Орлове все в порядке: Люсину группу приняла Таня. Какая? Чудакова, конечно. Вот те на! Такого поворота я не ожидала.

- Что, не повезло на вступительных? - приехав, прямо с порога спросила я.

- А я и не ездила, - усмехнулась Таня по-Люсиному, легко и уверенно.

- Как?
 - Да так. Подумала - что будет, если группу расформируют? Ведь хорошая у Люси группа. А кто ее знает, кроме меня? -
 - Да еще председатель уговаривал? - догадалась я.
 - Уговаривал, - согласилась Таня. - И уговорил. Меня легко уговорить! Потом, сказал, поступишь с рекомендацией от колхоза. А пока надо выручать...

- Не будет Татьяна вставать, будить не стану! - отрезала председателю Прасковья Ефимовна. Но когда звенел среди ночи будильник, покорно поднималась и шла к постели дочери. - Вставай, Татьяночка!

И Таня вставала. Садилась на велосипед - четвертый в их доме, потому что три уже отслужили свой век за время Люсиной работы, и ехала от Взвоза до Орлова. Ей тоже страшно было в темноте, тоже мерещился на дороге кто-то, и нестерпимо хотелось вернуться назад, в теплую постель. Но незаметно бледнело на горизонте небо, светлела, освобождаясь от сна, голова, и Таня с не привычной еще радости видела ферму на пригорке.

- Ну пограбай, пограбай у нас сена, - добродушно ворчали доярки. - И турнепсу у нас потаскай!

- А на контрольную дойку я на помощь сынишку пришлю! - обещал кто-нибудь. И Тане становилось совсем хорошо. Она протягивала Чайке припасенный кусочек хлеба и улыбалась, потому что избалованная Чайка смотрела на нее добрее.

«Людмилочка, здравствуй! - писала Таня Люсе в Вологду. - Ты знаешь, кто меня ни встретит, все удивляются - зачем я пошла в доярки. А мне странно. Я еле дожидаюсь, когда нужно идти на двор. Коров второй день в обед не доим - их угоняют далеко на целый день. Бура отелилась, доит ничего. Телята от последних коров почему-то маленькие, засохлые. Еще сегодня беда случилась - у Чайки один сосок залух, наверное, скрытый мастит. А на Даниловской ферме группу раскомплектовали...Потому я еще больше горжусь за нашу - не брошенную».

За «нашу», не брошенную группу гордилась вместе с Таней и я. И томительно счастливо было на душе. Не от этого только, а и потому, что не нужно было торопиться в адище города, потому, что стояло невыразимо прекрасное сухое и яркое бабье лето. Горели свечками осины в лесах, липла на лицо паутина предзимья, клюква пламенела на болоте. И люди вокруг были спокойно благодарны природе за еще один привычный круг, исполненный какого-то неведомого, но наверняка существующего смысла.

Уж не дается ли ощущение праведности и гармоничности мира перед большим горем, чтобы помочь человеку пережить его?..

В один из дней возвратилась Таня утром с работы и сказала, что звонили в Орлово на почту, просили меня связаться с райкомом комсомола. Сердце мое ухнуло в пропасть: это - беда, иначе никто не стал бы меня искать. Только...кто?...с кем?...Я летела на велосипеде от Взвоза до Орлова, не видя дороги, не смея додумать до конца, о чем вещало сердце. Кто же, кто?...Дедушка? Папа? Господи, кто же?..

Три километра были мигом и вечностью. И лучше бы они не кончались. Надежда легче определенности. Но время течет не спросясь.

Я сняла на почте трубку, вызвала райком и мертво ждала, когда отвешают. Мне сказали, что меня просили срочно вернуться.

А что случилось, выдавила я. Не знаем, был ответ. Потом молчание и - догадка: «Быть может, это потому, что Шукшин умер? Вы ведь писали о нем...»

Господи...

Нет давно в живых тех старух, которые видели, как выползла я с деревянного крыльца, упала лицом в траву и завывала на всю деревню. Душа рванулась к небу, глянула вниз и ужаснулась, увидев меня распластанной... Бабы выли со мною, не зная, в чем дело...

А потом меня посадили на велосипед, крутанули педали и подтолкнули вперед, перекрестив. И я поехала. Никто другой за меня не мог и не должен был этого сделать.

Было 5 октября. День, когда в газетах появилось сообщение о смерти Василия Макаровича. И со всех концов страны, плача, начинал стекаться в Москву народ...

На Взвозе я скидала свои вещи в сумку, махнула Чудаковым рукой и вприпрыжку, даваясь рыданиями, побежала на большую дорогу. Была суббота, автобусы переполнены, надежда одна - на попутку. И часа через два мне повезло: остановился почтовый фургон. Там, в темноте, на посылочных ящиках, обнимаясь с прибывшей ко мне бездомной собакой, я и выстонала первую боль.

А потом было воскресенье, которое целиком я промоталась по Подмосквовью в поисках калины. Моя веточка о многом должна была сказать.

Но...

Но тот, кто в горе приближался к печально-праздничному Дому, тот мог досадливо подумать, что это красными флажками заморского встречают гостя, пройти мешая для прощанья... Калины ягод полыханье огнем наполнило столицу. И всюду - плачущие лица...

Ах, как тосковали скрипки в Доме кино - даруя сверху, словно с небес, великое прощенье и просветление. И как надежно толпа осиротевших людей держала тех, у кого отказывали ноги...

А потом в беснующемся потоке остановится - будто посланное для меня - пустое такси.

И цепочка неприступной милиции от одного взгляда разнимет передо мной руки - чтобы пропустить на кладбище...

Вот почему, лишь только осень выкрасит леса, снова и снова звучит в моей душе давняя неизбывная печаль об утрате. И вспоминаются друзья, обретенные на съемках, с которыми мы встретились у горящей от калины могилы и делили потом горький стол. И вспоминается колодезный сруб в белозерской деревушке Садовой, на котором сидел когда-то Василий Макарович и тревожно мял свои узловатые пальцы. Много вспоминается, чему и сейчас еще нет слов и названий, но что снова и снова толкает меня перечитывать Шукшина.

Сам он когда-то о воздействии правдивой литературы сказал: «...та-лантливая честная душа способна врачевать ...способна вдохнуть силы для жизни и поступков».

Именно ею - правдивой его литературой - и лечилась я потом долгие годы.

Не знаю, был ли кто другой на свете, способный вот так же все рас-

ставить по местам в моей душе; хочется верить. Но судьба послала именно Слово Шукшина. И, вняв ему почти девчонкой, я поразились открытию: у титулованного режиссера и писателя бьется в груди болящее и доверчивое, удивительно родное сердце! Его строки «Признания в любви» алтайской родине я читала, как свои, - ведь те же верования впитала я от своих отца и деда. Они помогали мне устоять в молодости, не усомниться в ощущении истинного в жизни. Хотя тоже, выражаясь словами Шукшина, «сбивали», очень даже «сбивали»... Но я помнила шукшинские строки:

«У меня было время и была возможность видеть красивые здания, нарядные гостиные, воспитанных, очень культурных людей, которые непринужденно, легко входят в эти гостиные, сидят, болтают, курят, пьют кофе... Я всегда смотрел и думал: «Ну, вот это, что ли, и есть та самая жизнь - так надо жить?» Но что-то противилось во мне этой красоте и этой непринужденности: пожалуй, я чувствовал, что это не непринужденность, а демонстрация непринужденности, свободы... В доме деда была непринужденность, была свобода полная...»

Как согласна я была с этим ощущением!.. А когда мы с бабушкой, перечитав вслух все, что могло ей быть интересно, - и чеховского «Ионыча», и «Хорошее отношение к лошадям» Маяковского, через Белова и Абрамова добрались до Шукшина, я поразились. И «Сапожки», и «Обиду» она слушала, украдкой вздыхая, а потом, уткнувшись в подушку и тяжело помолчав, произнесла хрипло об авторе:

- А вот этот - самый хороший из всех. Жалостливый! Нутром чует...

И не нужны мне стали навсегда никакие критические подсказки: это была самая короткая и самая точная рецензия на Шукшина!

Станным образом я всегда ощущала огромное духовное родство между стариками своими и - Василием Макаровичем. И выражалось оно, как теперь понимаю, в постоянных думах о смерти. Ведь они, эти думы, мучительная правда, которая не минует всякого, - все мы невечны и рождаемся, чтобы умереть. Однако как-то так случалось, что современные писатели умудрялись обходиться без этой темы. Для них словно и не существовало страха смерти - ни для самих, ни для их героев.

И вдруг, в те самые дни, когда я еще не смирилась с уходом матери, - Шукшин с его «Дядей Ермолаем»:

«...Но только когда смотрю на их холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее?»

Не оставили эти мысли Шукшина и на пороге бессмертия. И он попытался развить их дальше:

«Не так - не кто умнее, а - кто ближе к Истине. И уж совсем мучительно - до отчаяния и злости - не могу понять: а в чем Истина-то? Ведь это я только так - граммоты ради и слегка из трусости - величаю ее с заглавной буквы, а не знаю - что она? Перед кем-то хочется снять шляпу, но перед кем? Люблю этих, под холмиками. Уважаю. И жалко мне их».

...И я жалела всех, кто под холмиками. И я - как каждый в свой черед - снова и снова мучительно взывала: «В чем Истина?» И читала, перечитывала Шукшина - с новой надеждой на ответ.

Это не сразу бросается в глаза, но почти все герои Шукшина помнят о смерти.

«...Вот, думаю, весна, хорошо, солнышко светит. Да-а, - размышляет под окном палаты больного Ефима Бедарева Кирька. - А помирать все

одно надо. - Он полез в карман полушубка за кисетом. - И опять так же подумал: вот живем мы, живем - вроде так и надо. О смертыньке-то и не думаем. А она - раз! - тут как тут. Здрасте, говорят, забыли про меня?»

Впрочем, Кирька, торчащий под окном умирающего, так отвлеченно формулирует - «о смертыньке-то и не думаем» - как раз потому, что сам только-только спохватился.

«Охота понять: чего ты добивался в жизни? Я, к примеру, богатым хотел быть. А ты?» - пытается он Бедарева. Ему-то, Ефиму, одной ногой стоящему в могиле, быть может, ведомо уже, что т а м, за т о й чертой? Вдруг, как утверждает дядя Гриша в рассказе «Гена Пройдисвет», мы и впрямь словно киноаппараты:

«...живем, а на кинолентку все снимается, все снимается... Как поступил, как подумал, где спроть совести пошел - все снимается. И вот ты умираешь, киноаппарат этот - тело твоё - хоронят, а пленку берут и проявляют: смотрят, как ты жил?»

Никто о т т у д а не возвращался. И потому не отнимешь у людей это право - гадать, что т а м.

«Ведь ТАМ небось ни зполетов, ни драгоценностей нету. И дворцов тоже, и любовниц...» - размышляет Шукшин в рассказе «Чужие».

«Объясню, что с тобой происходит: ты зачуял смерть и забеспокоился - тебе неохота просто так уходить», - радостно развенчивает Гена Пройдисвет дядину богоискательство. Не «смерть ли зачуял» - пусть далеко где-то - «крепкий мужик» Шурыгин? И возжелал оставить по себе память - хотя бы в виде порушенного собора...

Ломает комедию перед тестем Тимофеем Худяков из рассказа «Билетик на второй сеанс». Ползает на коленях, будто перед Николаем-Угодником, говорит гадости, а между ними припращивает: родиться бы мне ишо разок! Уж он-то про свою жизнь все понимает:

«Вот - жил, подошел к концу... Этот остаток в десять-двенадцать лет, это уже не жизнь, а так - обглоданный мосол под крыльцом - лежит, а к чему? Да и вся-то жизнь, как раздумаешься, - тьфу! Вертелся всю жизнь, повчил, дом крестовый рубил, всю жизнь всякими правдами и неправдами доставал то то, то это... А Ермоха, например, всю жизнь прожил валиком - рыбачил себе в удовольствие: ни горя, ни заботы. А червей вместе будем кормить. Но Ермоха хоть какую-нибудь радость знал, а тут - как циркач на проволоке: пройти прошел, а коленки трясутся».

Не оттого ли тянет старика Баева на «беседы при ясной луне» со спокойной уважительной Марьей Селезневой, что внутри где-то уже поселилось у него сомнение в правильности «осмеченной» своей жизни?

А некто Кузовника Николай Григорьевич из рассказа «Выбираю деревню на жительство» - не потому ли ездит и ездит он на вокзал, что предчувствовать начинает: не то он предпочел в жизни, не то... А повторенья не будет.

Об этом же скрытые муки «хозяина бани и огорода», который выпячивает свою жадность, равно «бережливость» в противовес не понятным, но тревожащим его чужим жизненным принципам.

«Ах, как я бездарно прожил, Ваня! Я всю жизнь хотел быть сильным и помогать людям, но у меня не получилось - я слаб, - плачется старичок из рассказа «Случай в ресторане». - Я даже не любил - боялся любить».

Тяжко думается о смерти тем шукшинским героя, которые спохваты-

ваются, когда уже прозвенел первый звонок о т т у д а.

«-Хорошо, Филипп, - говорит Саня Неверов из рассказа «Залетный».
- Мне пятьдесят два, двенадцать откинем - неосознательные - сорок... Сорок раз видел весну, сорок раз!.. И только теперь понимаю: хорошо. Раньше все откладывал, все как-то некогда было - торопился много знать, все хотел громко заявить о себе... Теперь - стоп-машина! Дай нагляжусь. Дай нарадоюсь. И хорошо, что у меня их немного осталось. Я сейчас очень много понимаю. Все! Больше этого понимать нельзя. Не надо».

Тянулись к этому больному Сане мужики. Выпить - выглядело со стороны. Но каждый, кто приходил посидеть возле его дома на бревнышках, знал про себя и про другого: тут что-то иное, чего нигде с ними не случается и что так нужно, оказывается, человеку.

«Думалось не думалось - хорошо, ясно делалось на душе, как будто вдруг - в какую-то минуту - стал ты громадный, вольный и коснулся руками начала и конца своей жизни - смерил нечто драгоценное, и все понял. Ну и что? Ну и ладно! - так думалось».

Были у них, у товарищей Саниных, еще силы и время. А Саня... Саня помирал и плакал.

«- Еще полгода! Лето...Ничего не надо, буду смотреть на солнце...Ни одну травинку не помну...Кому же это надо, если я не хочу?...Ведь это ж надо принять!»

Но возможно ли это - «принять» смерть, согласиться с нею?

Вот раздумался среди ночи о «косой» Матвей Рязанцев из рассказа «Думы»:

«Удивительно: все будет так же, это понятно, а тебя отнесут на могилку и зарюют. Вот трудно-то что понять: как же тут будет все так же? Ну, допустим, понятно: солнышко будет вставать и заходить - оно всегда встает и заходит. Но люди какие-то другие в деревне будут, которых никогда не знаешь... А охота же узнать, как они тут будут...Как-то пусто им вроде без тебя будет. Или ничего?»

«А вдруг да потом, в последний момент, как заорешь, что вовсе не так жил, не то делал?» - прикидывает не понятный людям Алеша Бесконвойный из одноименного рассказа, он же Костя Валиков. Отстоял он за собой право раз в неделю, в субботу, в бане, глубоко и не торопясь размышлять о жизни: «Что в ней за тайна, надо ее жалеть, например, или можно помирать спокойно - ничего тут такого особенного не осталось?»

А однажды подумал вдруг: «А что, вытянусь вот так вот когда-нибудь...Алеша даже и руки сложил на груди и полежал так малое время. Напрягся было, чтобы увидеть себя, подобного, в гробу. И уже что-то такое начало мерещиться - подушка вдавленная, новый пиджак...Но душа воспротивилась дальше, Алеша встал и, испытывая некое безразличное чувство, окатил себя водой».

И все-таки... И все-таки «да здравствует смерть», как провозглашал в свои светлые минуты залетный человек Саня Неверов. Потому что «если мы не в состоянии постичь ее, зато смерть позволяет понять нам, что жизнь прекрасна».

Помните Серегу Духанина из рассказа «Сапожки»? Привез он жене обнову, даром что не по размеру. А все равно хорошо как-то на душе сделалось, мысли какие-то неожиданные пришли - вроде и невеселые, а...

«Вот так живешь - сорок пять лет уже - все думаешь: ничего,

когда-нибудь буду жить хорошо, легко. А время идет... И так и подо-
идешь к той ямке, в которую надо ложиться, - а всю жизнь чего-то ждал.
Спрашивается, какого дьявола надо было ждать, а не делать такие ра-
дости, какие можно делать?»

Нашла как-то философская минутка и на Романа Звягина из рассказа
«Забуксовал».

«Половину жизни отшагал - и что? Так, глядишь, и вторую
протопаешь - и ничегошеньки не случится. Роман даже взволновался -
так ясно вдруг представилось, как он дотопает до конца ровной дорожки
и ... ляжет. Роман даже сел на диване. И очень даже просто - ляжешь и
вытянешь ноги.»

И мысль эта вдруг заставила посмотреть на все иными глазами. Он
вслушался в «Русь-тройку» из «Мертвых душ», которую учил сын, и чего-то
забеспокоился: «А кого везут-то? Кони-то? Этого... Чичикова? Русь -
тройка, а в тройке - шулер.»

Осознавший свою невечность герой Шукшина становится причаст-
ным к жизни вообще и к судьбам других. «Ну чего мы шуршим, как пауки
в банке?» - сказал бы Егор Прокудин. - Люди!.. Давайте любить друг друга!..
Ведь вы же знаете, как легко помирают?!»

Помните, как подействовал на старика Наума Евстигнеича Юркин
рассказ об умиравшем Павлове? («Космос, нервная система и шмат
сала»). «Вот, - говорит, - сейчас у меня холодеют ноги - записывайте.
Они записывали. Потом руки отнялись. Он говорит: «Руки отнялись...»

Старика долго не было, а потом он появился из сеней и «нес в
руках шмат сала в ладонь величиной.

- На, поешь... а то загнешся загоя со своими академиками... пока
их изучишь всех».

Ночь просидевший на вечном двигателем, о разном успел подумать
Моня Квасов из рассказа «Упорный».

«Так вот пройдет человек по земле - без крика, без возгласов -
поглядит на все тут - и уйдет». Не в том дело, что «почудилось Моне
некое собственное величие», - моменты эти необходимы каждому для
осознания нужности своей на земле. То важно, что от мыслей таких
«желанная, дорогая сделалась жизнь.» И инженер, оказалось, вовсе не
злой человек, а просто усталый, замотанный. Да и все вокруг...

«Люди, милые люди... Здравствуйте!» - с такими словами встречает
рассвет Моня. «Покой, мучительный покой обьял душу Мони.» - вот что
случилось.

Покойно стало... Покойник... Ведь смысл в этих словах один. Но
возможно ли на этом свете обрести тот покой, ту благостность, какие
проступают вдруг на лицах ушедших?

Шарахается по жизни, как по загону, Гена Пройдисвет, ранится и
жлится. И жалуется дяде:

«Мне тоже охота, понимаешь, знать что-нибудь такое, чтоб...
Вот чтоб все бегали, суетились, кричали, боялись, а я бы впереди всех
спокойно шел, никуда бы не торопился, не мельтешил, ничего бы не
боялся, а только бы посмеивался. Но я не знаю, что такое надо знать.»

Да и знать ли надо? Вон Максим Яриков из рассказа «Верую!» и
знает, и понимает тот смысл жизни, который в детях, например, заключен.

«Ну и что? - сердито думал Максим. - Так же было сто лет назад. Что нового-то? И всегда так будет. Вон парнишка идет, Ваньки Малофеева сын... А я помню самого Ваньку, когда он вот такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих - свои такие же будут. А у тех - свои... И все? А зачем?»

Нет, иное тут что-то надо, нежели просто знание. Отчего, например, Алеша Бесконвойный про детей совсем иначе думает?

«Иногда он подолгу внимательно смотрел на какого-нибудь, и у него в груди ныло от любви и восторга. Он все изумлялся природе: из чего получился человек?! Ведь не из чего, из малой какой-то малости... Вот уж, правда что стебелек малый: давай цепляйся теперь изо всех силенок, карабкайся».

А мысли Ярикова скорее похожи на злость и бессилие Сани Неверова, который на последнем издыхании в лицо смерти произносит: «Дура!» Быть может, «принять смерть» - это та же мудрость, как и принять жизнь - такую, какая она есть?

Когда наступала для Алеши баня, то совсем отпускало его вредное напряжение, и он четко осознавал: «Мелкие мысли покинули голову, вселилась в душу некая цельность, крупность, ясность - жизнь стала понятной. То есть она была рядом, за кошелчком бани, но Алеша стал недосыаем для нее, для ее суетни и злости, он стал большой и снисходительный.»

В таком состоянии постигаешь главное: то, что люди-то - они одинаковые перед лицом смерти, их жалеть нужно и прощать, как детей своих прощаешь; именно за эту их способность причинять зло и приносить горе - и прощать. И жить дальше, не теряя веры в Жизнь.

Жизнь - это и есть Бог, убеждает мечущегося Максима Ярикова поп. Но это «суровый, могучий Бог. Он предлагает добро и зло вместе... Ты уже здесь, на этом свете, получишь сполна и рай, и ад.»

«Дело в том, - поддерживает его Алеша, - что этот праздник на земле - это вообще не праздник, не надо его и понимать как праздник, не надо его и ждать, а надо спокойно все принимать.» А потому «живи, сын мой, плачь и приплясывай», заключает поп из «Верую!»

А с косогора, что против талицкой церкви, Семка Рысь из рассказа «Мастер» добавляет весомо: «Умеешь радоваться - радуйся, умеешь радовать - радуй...» И про себя уж тихо додумывает дорогие мысли: «О чем же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку? Бога ли он величил или себя хотел показать?»

«Все хотел громко заявить о себе», - дальним эхом отозвались слова раскаяния Сани Неверова.

«Но кто хочет себя показать, - противился Семка, - тот не забирается далеко, тот норовит поближе к большим дорогам или вовсе на людную городскую площадь - там заметят. Этого заботило что-то другое - красота, что ли? Как песню спел человек, и спел хорошо.»

«Прожил, как песню спел, а спел плохо», - опять вознадеялся на «второй сеанс» Тимофей Худяков.

«И ушел. Зачем надо было? Он сам не знал, так просила душа, - понимал наконец Семка Рысь. - Милый, дорогой человек!.. Не знаешь, что и сказать тебе - туда, в твою черную жуткую тьму небытия...»

Что сказать вам туда, Василий Макарович, милый, дорогой человек?

Кто бы знал и сумел объяснить, что за сила исходит от белых страниц с печатным текстом... Никуда не девались ни раздумья, ни горечь - словно рядом вы, и оттуда до нас лишь рукой подать. И так славно, так не страшно шагнуть к вам туда об руку с вашими стариками, все принявшими в этой жизни!

«Шагал по мокрой дороге седой старик, шагал покосить травы коровенке». Звали его Анисим Квасов; по другим дорогам, считай, и не хаживал, лишь по родным, а - все о жизни знал. Чужа это, жаловался ему на душевную боль городской старик, забредший на покос.

« - Вот и прожили мы свою жизнь.... Жалко... Не нажился, не устал. Не готов, так сказать.

- Хэх!.. Да разве ж когда наживеся? Кому охота в ее, матушку, ложиться?

- Жалко покоя вот этого... суетился много. Но место надо уступить. А?

- Надо. Хэх!.. Надо.

- А так бы и пристроился где-нибудь, чтоб забыли про тебя...

- А ты раньше не думай про ее - не будешь страшиться. А придет - ну придет...»

«Стариковское дело - спокойно думать о смерти», - прислушивался Шукшин к героям своих «Земляков». Ведь всякий старик, и тот, что в рассказе «В профиль и анфас», - *«такой же усталый, тусклый, как этот теплый день к вечеру. А было и у него раннее солнышко, и он шагал по земле и легко чувствовал ее под ногами. А теперь - вечер, спокойный, с дымками по селу».*

Что же страшного, что закатится солнышко, - коль назавтра, светло и горласто придет день новый?

«Стариковское дело - спокойно думать о смерти.» Молодое дело - глядеться в стариков, постигая непостижимое. Потому так часто в рассказах Шукшина старики и *«уступают место»*. *«И уходят. И тихим медленным звоном, как звенят теплые удила усталых коней, отдают шаги уходящих».* Этот звон надолго остается в сердце после рассказа «Как помирал старик».

«Зимнее дело - хлопотно помирать-то», - подумал он. Но - *«чуял он ее»*. И спокойно, и обстоятельно стал давать наказы старухе, которую оставлял. Потому что смерть есть смерть, а живым - жить. Наверно, мудрость и есть примирение с неизбежностью собственной смерти. И если считать ее привилегией старости, то Шукшин и в сорок пять испытал человеческий век до конца. Не случайно же врачи обнаружили, что у него было сердце восьмидесятилетнего человека...

Весь путь его становления, взросления и прозрения - в его книгах. Шукшин был открыт и доверчив к читателю с первых шагов. И когда в «Воскресной тоске» он прямо спрашивал себя: *«Почему хочется писать? Почему так сильно - до боли и беспокойства - хочется писать?»* - это была не рисовка, не наивность или неопытность, над которыми бездумно посмеялась тогда критика. Это был вопрос жизни, вопрос о праве и необходимости прожить ее так, а не иначе.

«А вдруг да потом, в последний момент, как заорешь, что вовсе не так жил, не то делал?»

Но разве не похоже на крик то бесплодное раздумье Шукшина над

могилой дяди Ермолая: «...Кто из нас прав, кто умнее?.. а в чем Истина-то?»

Не знал он ответа на эти вопросы. И никто не знает. Но, странное дело, - именно такой, беспомощный и бессильный, не премудрый, но честный и равный перед равными, - он и вселял веру, давал силы.

Он и в последний свой год взмолился в отчаянии: «Что же это такое было - жил человек...»

Лет двенадцать было Шукшину, когда он впервые столкнулся со смертью, - у старика Нечаева умерла старуха. И узнал он тогда, «в ту светлую хорошую ночь, как тяжело бывает одинокому человеку.

Нечай заговорил шепотом, я половину не расслышал.

- Грешным делом, хотел уж... А чего? Бывает, закапывают, я слышал... Сон, говорят, наваливается какой-то страшный - и все думают, что помер человек, а он не помер, а сонный...»

«Не было для меня в эту минуту ни ясной, тихой ночи, - вспоминал Шукшин, - ни мыслей никаких, и радость непонятная, светлая, умерла. Горе маленького старика заслонило прекрасный мир».

А в 1961 году весь мир заслонит тридцатидвухлетнему Василию Макаровичу смерть зятя - Зиновьева Саши - мужа Натальи Макаровны. Лишь однажды в прозе, в рассказе «Хахаль», он упомянет об этом событии. Скороговоркой, словно опасаясь разбередить себе душу.

«- Да у него голова что-то болела... Болит и болит голова, ну, а к врачу, знаете, все некогда -да может, обойдется... А тут дотерпел, что сознание потерял. Ну, его в больницу. Сеструха потом рассказывала: «Прихожу, говорит, к нему, а он мне и говорит: «Вот, говорит, не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь хоть вылечусь.» Рад был, что в больницу попал. Веселый лежал... Потом помер. А жили они за Новосибирском, далеко. Ну что: ехать надо за ним. Хоронить надо на родине. Я поехал. А было начало ноября, река только становилась. А мост у нас был наплавной, к зиме его разбирали. Самая распутица. Я туда-то на моторке пробирался, а оттуда - это уже дня через четыре: реку уже схватило. Пешие ходят, досок накидали - ничего. А с гробом-то как? Ну, я сестру с ребятишками перевел по доскам, а сам вернулся, нанял подводу, и поехал вверх по реке - там, сказали, схватило покрепче. И вот мы с возчиком выбрали такое место - вроде ничего, можно. Разогнали коня, а сами - в стороны от саней. Лед трещит, гнется, мы бежим и со стороны орем на коня... А он уж - дай Бог ноги, самому охота живому до берега добежать. Как переехали, не знаю... Хороший мужик был, зять-то. Жалко. Тридцать три года всего было. Двое детей осталось...»

Этих детей - близнецов Надю и Сережу - всю жизнь потом Василий Макарович любил, как собственных. А сестре в те тяжкие дни написал письмо: «Натали, милый ангел Натали!» Милый ты мой человек, Тяля, как глубоко содрогнулось мое сердце твоим горем, как неповторимо я почуял дыхание смерти. Я глубоко и сразу понял вдруг, что смерть - это дело всех нас.

То ли жизнь глупа, то ли мы еще не совсем поняли ее истинного смысла - горько.

...Где спасение, где облегчение, где забвение?

Знаешь, в древней Спарте был такой закон: на скорбь по умершему отводили что-то около сорока дней. Сорок дней имел право чело-

век горевать - плакать, рвать на себе волосы. Но в сорок первый день он не имел права горевать. Живые должны жить. Ведь это правда: мертвых на земле больше, чем живых.. И если нам подчиниться закону мертвых, то надо складывать руки и спокойно уходить из жизни. Но живые диктуют нам свой закон - живи!

...Мы все где-то ищем спасение. Твое спасение в детях. Мне - в славе. Я ее, славу, упорно добиваюсь. Я добьюсь ее, если не умру раньше.

...Сколько передумал за все это время. А сейчас /сел/ писать рассказы - вижу - не то. Не могу уж радоваться... скорбное просится с языка, ну, а у нас скорбное не в почете...»

Именно этого - скорбного - и не хватало долгие годы нашей литературе. А Шукшин, в самом начале творческого пути отказав себе в праве балагурить, всю жизнь потом писал невеселую правду. Потому и смерть была такой же частой гостьей в его книгах, какой она случается в жизни.

В последних своих рассказах он уже не прячется за своего героя - он выходит на встречу со смертью один на один.

«Есть за людьми, я заметил, одна странность: любят в такую вот милую сердцу пору зайти на кладбище и посидеть час-другой... Не в дождь, не в хмарь, а когда на земле вот так - тепло и покойно. Как-то наверно, объясняется эта странность. Да и странность ли это? Лично меня влечет на кладбище вполне определенное желание: я люблю там думать. Вольно и как-то неожиданно думается среди этих холмиков. И еще : как бы там ни думал, а все как по краю обрыва идешь: под ноги жутко глянуть. Мысль шарахается то вбок, то вверх, то вниз, на два метра. Но кресты, как руки деревянные, растопырились и стрегут свою тайну.»

Иногда ему кажется, что в такой час, когда город тяжело спит, где-нибудь в боличной курилке «можно понять, кому и зачем надо было, чтоб завертелась, закружилась, закричала от боли и радости эта огромная махина - Жизнь. Но только - кажется. На самом деле сидишь, тупо смотришь в паркетный пол и думаешь черт знает о чем. О том, что вот - ладили этот паркет рабочие, а о чем они тогда говорили? И вдруг в эту очень точную минуту из каких-то тайных своих глубин Лобастый произносит:

- А денечки идут.

Пронзительная, грустная правда. Завидую ему. Я только могу запоздало вздохнуть и поддакнуть:

- Да. Не идут, а бегут, мать их!..

Но не я первый додумался, что они вот так вот - неповторимо, безоглядно, спокойно - идут. Ведь надо прежде много наблюдать, думать, чтобы тремя словами - верно и вовремя сказанными - поймать за руку Время. Вот же черт!»

Шукшину думалось, что ему-то это Время поймать за руку как раз и не удастся! И пока он жил, он - как всякий из нас - пытался «почувствовать» хоть на миг, хоть кратко, хоть как тот следок тусклый, - чуть-чуть бы хоть высветлилось в разуме ли, в душе ли: что же это такое было - жил человек... Допустим, нужно, чтобы мы жили, но тогда зачем не отняли у нас этот проклятый дар - вечно мучительно и бесплодно пытаться понять: «А зачем все?» Вон уже научились видеть, как сердце останавливается... А зачем все, зачем! И куда с этим не докричишься,

никто не услышит. Жить уж, не оглядываться, уходить и уходить вперед, сколько отмерено. Похоже, умирать - то - не страшно.»

Сорок пять было отмерено Шукшину.

Страшно ли умирать?

.....

Оставаться страшно. Силою слов, бессильных в этом, возродить его ушедший облик. Из бесплотной памяти лепить плоть. Нам, живым и телесным, мало вольной души. Так прекрасен он был в э т о м свете! Вот же свидетельства!

Глаза? «Возглавляющие облик». То глянут зорко и угрюмо, то - «прорубно». Взгляд - «задевающий, как оклик, как прикосновение». Походка - раскачивающаяся.

«Какое удивительное сочетание скифской дикой силы с незащищенностью ребенка.»

«Голова бунтаря - и тонкая щиколотка усталой ноги, которая болталась в неуклюжем ботинке».

Все это глупости? Но - «даже самый необыкновенный человек интересен именно тем, что он - обыкновенен», - уверял Шукшин. Так вот. С малолетства любил он лежать на спине: ничто, кроме галок и ветвей, неба не закрывает.

Над своими рассказами и пьесами, когда слышал их, смеялся и плакал, как над чужими.

Про свою «творческую лабораторию» сказал единственное:

«В новом костюме и даже в новых глаженных брюках ничего путного я написать не смогу. А если еще и в галстуке, то и строки не выжму... Хорошо, когда просто, тепло и не боязно мять. (Старые штаны, валенки, чистая рубаха.) И полно сигарет.»

Когда пришлось - ходил по Парижу с прогоревшим воротником. Ничего, никто плаща с него не снял.

«С расспросами я стеснялся лезть, это у меня всю жизнь так.»

Когда на самолета смотрел на «нежные горы» облаков, испытывал «глупейшее желание - упасть в них, как в перину». Если стюардесса предлагала обед, не отказывался, даже будучи сытым. «Наверное, это у меня крестьянское осталось: «Пусть лучше пузо треснет, чем добру пропадать.»

Когда дочкам делали уколы, выходил на лестницу.

Писал им, маленьким: «Девчонки, вырастайте скорее, и я вам покажу свою родину. Тогда вы поймете, что такое жизнь.»

В одной из записных книжек шесть раз, шестью разными цветами вывел: «Хорошо, что хорошо кончается...»

«Не знаю, что такое там со мной случилось, - писал он о происшедшем в больнице, - но я вдруг почувствовал, что все, конец. Какой конец, чему конец - не пойму, не знаю и теперь, но предчувствие какого-то очень простого, тупого конца было отчетливое.»

Потом напишут, справедливо, наверное: «...свести все к обидам, человеческой ограниченности, мелким уколам завистников и недругов - значило бы мерить великое недостойной его меркой. Личность и талант подобной величины уже в силу самого масштаба своего несут в себе такую, высшего порядка, драму, на которую внешние обстоятельства, как неблагоприятные, так и благоприятные, способны повлиять лишь в относительной степени.»

Речь не о том. Но все же, все же, все же...

«Ему - ничто, припавшему

К теплу земли.

Но что же мы, но как же мы -

Не сберегли?

Свидетели и зрители, -

Нас сотни сот! -

Не думали, не видели,

На что идет

Взваливший наши тяжести

На свой хребет...»

«...предчувствие какого-то очень простого, тупого конца было отчетливое. Не смерть же, в самом деле, я почувствовал - не ее приближение.» Как знать... И чуял ли он ее прежде?

Начало шестидесятых. «Меня, кажется, эти «шалые низовые ветерки» в гроб загонят раньше времени» («Воскресная тоска»).

«Я ее, славу, упорно добиваюсь. Я добьюсь ее, если не умру раньше» («из письма сестре»).

Лето 1974. Надо уезжать на съемки фильма «Они сражались за Родину».

Г. Бурков пришел к назначенному месту, а Шукшин - курит и плачет.

«Ты чего, стряслось что?» - «Да так, девок жалко, боюсь за них. - «Я что с ними случится? - «Не знаю. Пришли вот провожать. Стоят, как два штыка, уходить не хотят. Попрощались уже, я их гоню, а они стоят, не уходят.»

Провожая гостей из своего дома, М. Шолохов «оглядел всех, потом задержался каким-то грустно-теплым взглядом на Шукшине и вдруг сказал:

- Вы только не умирайте, ребята.»

За две недели до смерти, по воспоминаниям Г. Панфилова:

«Когда он вошел в павильон, у меня было физическое ощущение, что он не идет, а парит, почти не касаясь пола. Потом я узнал, что примерно то же почувствовали и все остальные - такой он был высохший, худой. Не человек, а его тень. Джинсы на нем болтались, вязаная кофточка, прикрытая модным кожаным пиджаком, висела, как на вешалке, а на ногах - босоножки в пластмассовых ремешках. Глаза красные с неестественным блеском - верный признак бессонных ночей; за сутки он выпивал банку растворимого кофе.»

Ю. Никулин вспоминает:

«За день до смерти Василий Макарович сидел в гримерной, ожидая, когда мастер-гример начнет работать. Он взял булавку, опустил ее в баночку с красным гримом и начал рисовать что-то, чертить на обратной стороне пачки сигарет «Шипка». Сидевший рядом Бурков спросил:

- Чего ты рисуешь?

- Да вот видишь, - ответил Шукшин, показывая, - вот горы, небо, дождь, ну, в общем, похороны...»

Из письма сестре, 1961 год:

«Признаюсь тебе: я завидовал Саше. Я хочу, чтобы меня похоронили на нашей горе и чтоб вид оттуда открывался широкий и красивый... Я хочу, чтобы меня похоронили так же по-русски, с отпеванием, с причитаниями - и чтоб жива была моя мама и ты с ребятами...»

Так и было последнее: стояли над гробом мать и сестра. И еще тысячи и тысячи москвичей.

- Мы грешным делом хотели увезти его домой, в Сростки... Но поняли, что это невозможно...

Умер Шукшин на рассвете.

У меня в тот миг распахнулась форточка... Это после припомнилось, как плохая примета. А тем утром, второго октября, я спокойно подошла к окну и посмотрела на улицу: из гостиницы видна была белозерская земля. Звала она почему-то весь сентябрь, и откликнулась я на ее зов, приехала. Так же серо, бескрайне, как год назад, во время съемок «Калины красной», покоилось Белое озеро. Так же тихо, неверно, вставал рассвет...

Через пару дней я выронию телефонную трубку; полдня буду трястись в грязном фургоне, на посылочных ящиках, в обнимку с бездомной собакой; потом торопить, торопить поезд до столицы; и все воскресенье метаться по Подмосковию в поисках калины...

А потом заплачут скрипки в Доме кино - и не станет Времени, и не нужно будет ловить его за руку. А Пространство, полное осиротевших людей, будет держать и держать меня, когда откажут ноги.

Остановится - лишь для меня - такси.

И цепочка неприступной милиции разнимет передо мной руки - чтобы пропустить на кладбище. Горе - его не придумаешь. Если оно есть - оно написано на лице...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. РОЗОВЫЙ ГЛОБУС

Но нет горя выше материнского. Нет скорби более пронзительной, чем безмолвные слезы матери.

По сыну Марии Сергеевны Шукшиной плакала вся страна. Поток отчаянных писем хлынул к ней на Алтай, в город Бийск, на улицу Красноармейскую. Писали и просто без адреса - почтальоны знали его в ту пору наизусть...

В этом море человеческих слез были и мои. Я рассказывала Марии Сергеевне про Белозерск, про наши несколько разговоров с ее сыном на съемках «Калины красной».

И она ответила мне. Бесценные эти письма теперь хранятся у меня в заветном месте, рядом с книгами Василия Макаровича.

«Добрый день! Нина, вы, дорогая моя, обидного, по-моему, ниче не написали. Я не глупого ума. Я написала узнать хорошо человека, тогда принять близкого человека к родному сердцу. Ведь это не так просто. Вот и было бы очень хорошо, если бы ты приехала лучше бы. Да я бы стала глядеть, как мне человек рассказывает. Нужно час посидеть с человеком, пойму сразу...»

Я сейчас очень болею, очень большое давление. А писем очень много, хоть понемногу хочется всем ответить. Много посылок, бан-деролей. Вот он, дитенок милый, много мне оставил сыновей, дочерей и даже внуков. Пишут студенты, школьники, даже пионеры пишут. Он сам любил народ, я не знаю, кто так может любить народ, как он, дитенок, любил.

Ну ладно, горло сжимает, не выдохнешь. До свидания, дорогая Нина, доченька, будьте здоровы, с уважением и любовью к вам Мария Сергеевна. Пиши и вышли карточку свою.»

«Нина, получила бандероль. Господи, вот мучитесь из-за меня! Да хоть добрые теплые слова, и то хорошо. А как звать эту коврижку? Я и не могу знать, у нас таких не выпекают, и я не видала. Ну спасибо, ведь на ее нужно время и деньги. А я сейчас болею не перестаю. Вот немного, может, полегче будет, тогда я побольше напишу. Писем очень много, а с головой плохо, болит.»

«Добрый день, дорогая Нина. Получила твое письмо. Вот ты спрашиваешь, может что помочь. Вот я попрошу тебя, если можно и если бывают у вас в магазине, черные платки с цветами. Давно добиваюсь, но их у нас не бывает. А может, и бывают, да разве увидишь. На базаре кой-когда, говорят, бывают у спекулянтов, но ведь это не по моему карману. Только титетычку не отрывай. Я посмотрю сколь и сразу деньги вышлю. Вот лекарства есть, но, видно, болезнь сильная, лекарства все дорогие. Не могу писать, сильная головная боль... До свидания, будьте здоровы.»

«Сегодня получила посылочку. Господи, милая голубушка, огромное тебе спасибо за платок, очень хороший, нарядный. А ты титетычку все же убрала! Ну, дорогая, не обижайся на меня, и не жалеи, когда пожалеешь, чужало будет его носить... А я хотела писать извинения, калялась, вот, думаю, обидела человека, так душа болела, что давно письма нет. А сейчас посылочку принесли, я как раз не могу пойти.

Спасибо, Нина, и за коверик на пол. Эти женщины умелыми руками делали. Были бы близко, расцеловала бы. Как они так умеют? Я удивилась таким умением. Главное, рисунок. Я сама начинала делать такой кружок, ну ниче не получалось, все стянула. А ведь это надо такое умение рук! Ну, передай им от меня поклон, если они знают, что мне делали.

Господи, милый мой сыночек, весь народ сделал родными. Кто кормит, кто одевает, кто добра слова присылает. Не замолить мне Богу за добрых людей. А самой послать, че я пошлю, ниче нет такого. Ну, милый ты мой человек, еще раз спасибо. С глубоким уважением Мария Сергеевна.»

«Нина, ты пишешь насчет Москвы. Че там будет, нам ниче не известно. Да я, наверно, и не смогу одна поехать. Наташа на работе, а я куда одна? Я же больная. Я давно бы побывала в Москве, ну вот горе, не могу. Да ты в любое время приезжай, я же дома все время. Да че тут спрашивать? Ехай и все в любой день, как отпуск дадут. Приезжай, долго не затягивай, что ни скорей, то лучше, а то я ненадежная, вдруг в больницу сляжешь. А че спрашивать? Приезжай, жду.»

И я собралась. Стоял июль 1977 года. Билетов на самолет не было, пришлось ехать от Москвы поездом. Чего только не передумалось в этой долгой дороге! Все перебрала в памяти, что узнала о Марии Сергеевне из книг Шукшина.

«Маме нравилось, что я много читаю. Но вот выяснилось, что учусь я в школе на редкость плохо... Мама начала немилосердно бороться с моими книгами... меня выпорола... На мое счастье... молодая учительница из эвакуированных ленинградцев... убедила и маму, что чи-

тать надо, но с толком... Мы залезали вечером все трое на обширную печь и брали туда с собой лампу.

... Вот только что омрачало праздники: мама, а вслед за ней и Таля скоро засыпали. Только разохотишься, только наладишься читать всю ночь, глядь, уж мама украдкой зевает. А вслед за ней и копия ее тоже ладошкой рот прикрывает - подражает маме. Я чуть не со слезами смотрю на них.

- Читай, читай. Што, уж и зевнуть нельзя?

- Да ведь поснете сейчас!

- Не поснем. Читай знай.

... Невдомек было дураку: мама наработалась за целый день, намерзлась. А этой, маленькой, ей эти мои книжки до фонаря: она хочет быть похожей на маму и все.»

Вот чего, - говорит она, - побудьте маленько одни, я схожу сено подберу. Давеча везла да в переулке у старухи Сосниной сбросила навильник. Она поднимается рано - увидит - подберет...»

Потом Мария Сергеевна вернулась за сыном. Они вдвоем навязали две большие вязанки.

«Так и вижу нашу Райку - как она уткнет свою морду в это добро, - писал Василий Макарович. - Идем назад. И тут - черт ее вынес, проклятую - собака Чувых: подбежала, невидная, неслышная, да как закнет. Я подскочил, но вязанки не выронил... А мама выронила свою и села на нее. Едва оправившись от страха, пошли...»

- Может, подбежим, сынок? Оно скорей дело-то будет. А то Таля бы там не проснулась...

- Давай.

И вот мы трусим по улице. Мне смешно, как вязка - точно большой темный горб - подскакивает на маминой спине.»

Эти события так и остались на всю жизнь для Шукшина «праздники-ми детства». С нежностью вспоминал он, как мучительно пыталась мать определить его дорогу в жизни.

«Была у нас мамой весьма нелепая попытка: не выучиться ли мне на бухгалтера?.. Когда мне стало 14, нас обуяла другая мысль: выучиться мне на автомеханика. Нас с мамой постоянно тревожила мысль: на кого бы мне выучиться?»

А выучился сын ее на писателя. У жизни выучился и у нее, у матери. Конечно, о ней вспоминал Василий Макарович, назвавшись Витькой, в сценарии «Позови меня в даль светлую...»

«Матушка-дороженька, помоги нашим ноженькам - приведи нас скорее домой», - говорила Мария Сергеевна в усталости.

А когда долго не разгоралась печка, она выговаривала ей:

«Ну, милая... ты уже сегодня совсем что-то... Чего раскапризничалась-то? Барыня какая.»

И Иван из рассказа «В профиль и анфас» - это и Шукшин тоже! Ведь материнскими словами прощается он перед отъездом с печкой:

«Матушка-печь, как ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу дальнюю.»

...Потом я коснусь ладонью той печки, что в Доме-музее Шукшина в Сроствах. Изяблым жаром прошлого пронзит меня. И встанут рядом Шукшин с матерью, и станет хорошо-хорошо, и потеплеет беленый камень под

рукою...

Но тогда тряслась я в поезде, перечитывая книги Шукшина, и приглядывалась к его землякам, которые наполняли вагон бойкой певучей речью.

«Когда я подъезжаю на поезде к Бийску, - писал Василий Макарович, - когда начинаю слышать в темноте знакомое, родное сельское подпевание в словах, я уже не могу заснуть, даже если еду в купе, волнуясь, начинаю ворошить прожитую жизнь... вагон то и дело оглашается голосами. Конечно, тут не решаются проблемы НТР, но тут опять обнаруживается глубокое, давнее чувство справедливости, перед которым я немею. Как-то ночью в купе вошла тетя-пассажирка, увидела, что здесь сравнительно свободно (в бойкие месяцы едут даже в коридорах купейных вагонов, сидят на чемоданах, благо ехать близко), распахнула двери и позвала еще свою товарку: «Нюра, давай ко мне, я тут нашла местечко!» На замечание, что здесь - купе, места, так сказать, дополнительно оплаченные, тетя искренне удивилась: «Да вы гляньте, че в коридоре-то делается!.. А у вас вон как просторно.» Отметая в уме все «да» и «нет» в пользу решения вопроса таким способом, я прихожу к мысли, что это - справедливо. Конечно, это несколько неудобно, но... но пусть уж лучше мы придем к мысли, что надо строить больше удобных вагонов, чем вести дело к иному: одни будут в коридоре, а другие в загородке, в купе. Дело в том, что в купе-то, когда так людно, тесно, ехать неловко. совестно. А совесть у человека должна быть, пусть это и нелепо с точки зрения «правил передвижения пассажиров».

Как же низко хотелось поклониться Василию Макаровичу за эту правду чувств! Ох как просто и заманчиво уверовать, что и весь смысл движения состоит в улучшении условий передвижения: из общего - в плацкартный - затем в купейный - а там и в мягкий вагон. Чтобы чистота и порядок, чтобы тепло и свободно, чтобы тихо и покойно - никто не лезет со своими разговорами, с заботами, печальями: этак можно всю дорогу чужими бедами болеть!

А муза Шукшина всю дорогу протряслась в общем вагоне; и толкали ее, и в драки втягивали, и в подол ей плакались, и - ссадить пытались, отказывая в праве на искусство.

Но Шукшин знал сразу и навсегда, что художнику надо *«жить народной радостью и болью, думать, как думает народ»*, потому что *«народ всегда знает Правду»*.

Мать его была из народа, ей он верил до конца. Потому так волновалось его сердце, когда подъезжал он к родным местам.

Потому так билось оно и у меня.

Давно уж тянулись вдоль дороги березы, березы - могучие, стройные. Как-то особенно ясно мне стало тогда, почему под Белозерском Василий Макарович выискивал для фильма белые светящиеся рощи...

Полумрак окутал землю, когда прибыл поезд на конечную станцию, в город Бийск. Я заняла очередь на такси, и пока стояла, зажглись на улице огни. Людям было проще: они двигались ближе к дому, а мне еще предстояло отыскать свое пристанище.

- Это мы мигом! - весело отозвался шофер, выслушав адрес. -

Кому еще в Заречье?

Прихватили попутчика - мужчину навеселе - и поехали. Высокие каменные дома сменялись ветхими деревянными и снова современными; миновали широкий мост через реку.

- Это Бия! - кивнул приветливо шофер и подмигнул пассажиру на заднем сидении. - Тебе-то куда тут?

Мы долго кружили по старой заречной части города, и я беспокойно поглядывала на часы: что как ляжет Мария Сергеевна спать, ловко ли будет заявиться...

Она не спала. Открыла дверь и спросила низким голосом:

- Нина? Проходи.

Потом мы сидели на кухне. пили чай.

- Легко нашла -то меня?

- А на такси минут за двадцать добрались.

- На такси-и? - не поняла она. - У нас же дом рядом с вокзалом! Он что ж, возил тебя куда далеко?

- За реку...

- Может, адрес не расслышал?

- Да нет, он меня все расспрашивал. Я про вас сказала, и он кивал - знаю, знаю...

Так впервые я столкнулась в жизни с героями Шукшина.

Разобрали мы в тот вечер подарки да гостинцы и поспешили улечься, оберегая здоровье Марии Сергеевны. Мне постелили в большой комнате, на диване, и всю ночь смотрел на меня с фотографии Василий Макарович.

А утром пролили молоко, сунувшись вдвоем в холодильник. Мария Сергеевна опечалилась и до вечера вспоминала случившееся. Когда с бидоном я напрасно обегала весь город, я поняла ее. И каждое утро потом начинала с путешествия в магазин - к открытию. Это был мой узаконенный вклад в хозяйство.

Вечерами мы выносили в лоджию стулья и сидели там, пока не стемнеет. Я не навязывалась с разговорами, не требовала воспоминаний. Где-то в моем чемодане без пользы лежал магнитофон, который, поняла я, не посмею по-деловому выложить перед этой усталой женщиной. Я приехала к ней не как журналист, а как человек к человеку. И было просто хорошо молчать вместе и глядеть вдаль.

Против высотного дома, в котором жила Мария Сергеевна, тянулись садовые участки, люди копались в земле, доносился ее запах. Видно было, что тревожил он Марию Сергеевну, напоминал родные Сростки.

Однажды она сказала:

- Вот все спрашивают, как я детей воспитывала. Да никак не воспитывала! Просто жили, работали. Честно. Ты читала, как написал Вася про нашу жизнь? На своих, алтайских, обиделся, что не поняли «Печки-лавочки». Вон там в журнале статья эта, отыщи, я послушаю.

«...я хочу быть правдивым перед собой до конца», - начала вслух я, - поэтому повторяю: нигде больше не видел такой ясной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда-крестьянина, таких естественных, правдивых, добрых, в сущности, отношений между людьми там. Я помню, что там говорили правильным, свободным, правдивым

языком, сильным, точным, там жила шутка, песня по праздникам, там много, очень много работали...

Собственно, вокруг работы и вращалась вся жизнь. Она начиналась рано утром и затихала поздно вечером, но она как-то не угнетала людей, не озлобляла - с ней засыпали, к ней просыпались. Никто не хвастался сделанным, не оскорбляли за промах, но - учили...

- Да, - вздохнула Мария Сергеевна.

«Никак не могу внушить себе, что все это глупо, некультурно, а думаю, что отсюда, от такого устройства и самочувствия в мире, - очень близко к самым высоким понятиям о чести, достоинстве и прочим мерилам нравственного роста человека; неужели только в том и беда, что слов этих - «честь, достоинство» там не знали? Но там знали все, чем жив и крепок человек и чем он - нищий: ложь есть ложь, корысть есть корысть, праздность и суесловие есть праздность и суесловие... Нет явления в жизни, нет такого качества в человеке, которое бы там не знали, или, положим, знали его так, а пришло время, и стало это качество человеческое на поверку, в результате научных открытий, вовсе не плохим, а хорошим, ценным. Ни в чем там не заблуждались, больше того, мало-мальски заметные недостатки в человеке, еще в маленьком, губились на корню...»

- Все правда, сыночка, все правда, - кивала мать..

Разлился уж сумрак в чистом небе, и яблони в садах затихли - ветер тоже ушел на покой. Жара дневная спала, но воздух был упруг, голоса долетали до нас ясно, звонко.

С лоджии на верхний этаж тянулись вьюны, Мария Сергеевна сидела под ними, грузно сгорбившись и вздыхала о своем. Я понимала: сотни и тысячи писем людских не способны облегчить ее горе. И мое сострадание не уменьшает, а скорее увеличивает его.

- Вот говорят, радуйся. мол, Мария, - словно отвечая мне, промолвила она, - радуйся, какая слава тебе на старости лет привалила! А зачем мне она, слава-то? Жили бы мы лучше в землянке на одних сухарях, только бы сыночка был живой - ничего другого не надо. Вот это и было бы счастье...

И опять была ночь. И опять смотрели на меня со стен глаза Василия Макаровича.

А наутро целый альбом фотографий держала я в руках!

«...из чего получился человек? Ведь не из чего, из малой какой-то малости», - вспомнилось удивление одного из героев Шукшина.

Передо мной на фотографии маленький Вася, рядом сидела мать его - совсем не такая, как теперь, а молодая, красивая и счастливая. Потом все больше проступали на снимках Шукшина знакомые скуластые черты: школьник... моряк... студент... артист. Рядом с кадрами из фильмов были любительские снимки - на Катюни с сестрой и племянниками; с родными в Сростках; вдвоем с Марией Сергеевной.

- Едут, пишут, приходят теперь, - говорила мать, - и все ко мне, будто я тому виной. А я что? Я мать, мне так на роду написано - детей растить. Нет тут моей заслуги - все, что надо было, детям отдала. Как иначе?

И она почти слово в слово пересказала мне то, что я потом услышу в фильме шукшинского оператора Анатолия Заболоцкого «Сердце матери».

- Помню, отец еще у него был жив. Он был столяр, у него в ограде

была столярочка. У него всякий инструмент там был - целая стена натккана так подрядочку. Вася наладился к нему бегать в столярку, ему поглянулось там эти все инструменты эти узнать, тетрадочку, карандаш взял... срисует и спросит: как звать? Он скажет. Ну ладно, он ему отец, заинтересовался, стал вопросики ему задавать, он ему - отвечать. Ну, отцу-то стало видно - как взрослый! Потом - это дело было в субботу - приходит ко мне отец и говорит: ты, девка, этого ребенка береги! А я говорю: я их обоих берегу. А он: это очень способный ребенок, у меня, говорит, по шкуре дрожь пробегает, когда вопросы ему задаю. Что, говорит, девочка? Та немного поучится, и учитель она будет, с ее за глаза хватит. А с этого можно больше спросить... Ну, знаешь, я ему не призналась, будто бы и не замечаю этого. А говорю: ты знаешь, отец, каждому родителю свои дети хороши... А почему я ему не призналась, я скажу. Потому что - деревня. Он ведь со своими друзьями, сватовьями, может, когда разговор зайдет, он может и сказать, что ребенок такой. И разнесется по всему селу... Кто-то так поймет, а кто поймет, что схвастанула мать... А теперь вон сколь хороших слов о нем пишут все! - Мария Сергеевна улыбнулась. - Морячки, друзья Васины отыскались. Дай-ка я письмо тебе покажу.

Она вытащила из огромной стопы на столе один из конвертов. Он был с Черноморского флота, с грифом газеты «Флаг Родины».

- Вот они на фото, эти ребятки. И Вася вот... - Мария Сергеевна, как в первый раз, разглядывала снимок. - Я им так и ответила: ваше письмо, газета, мне за такой подарок золота не надо. Я с собой, спать ложусь, и газеты беру. Сто раз уже перечитала и фото проглядела, не могу оторваться. Я давно думала - отсюда получаю, а с флота нет. Вот и получила, слава Богу!

Она прижала фотографию к груди и покачалась с ней, как с дитем. А мне подумалось вдруг, что в те годы, когда Василий Макарович служил на флоте, я только-только родилась... И кто бы подумал, что так переплетутся судьбы!

В тот вечер подала мне Мария Сергеевна пригласительный билет на вторые Шукшинские чтения...

Утром 24 июля 1977 года к ее дому подъехал автобус. Нашлось в нем место и мне. И я впервые попала в Сростки.

Рассказать о них... Сростки просто нужно увидеть! Увидеть, как в гору Бикет едет и едут машины, как с утра тянутся и тянутся вверх люди. И как тысячи потом застывают в молчании. И разносит микрофон над округой, над дальними полями, над студеной Катунью слова благодарности Шукшину...

По полудни обязательно проливается дождь. А с утра нещадно парит. Мария Сергеевна, неловко присев с краешку президиума, все искала тень, чтобы не напекло большую голову. Потом прикрылась букетом увядающих цветов, и люди с фотоаппаратами никак не могли пристроиться эффектно снять ее.

Иногда она взглядом в толпе находила меня и молчаливо переспрашивала: давай я замолвлю словечко?

Показалось нам накануне, что должна я поклониться с трибуны от вологодской земли. о «Калине» сказать и непременно прочесть дорогое для Марии Сергеевны стихотворение Ольги Фокиной: «Сибирь - в осеннем золоте, в Москве - шум шин... В Москве, в Сибири, в Володе дрожит и рвется в про-

воде: «Шукшин... Шукшин...»

Отказали мне в таком слове - тут тысячи хотели б говорить! Но думалось Марии Сергеевне, что нарушено было при этом *«глубокое, давнее чувство справедливости»*, - как там, в купейном вагоне бийского поезда

Она и дома не могла забыть эту обиду. А я, пряча запоздалые слезы, убеждала ее, что это сущий пустяк, что все и без меня прошло прекрасно... Ну кто я есть, чтоб перед тысячами говорить? У меня большее счастье, чем у прочих: по ночам со стены глядят на меня глаза Василия Макаровича...

Гости того праздника еще бродили, наверное, по вечерним Сросткам, размышляя о высоком, когда мы с Марией Сергеевной по традиции вышли на балкон. Дымками пахло в воздухе, где-то пели под гитару молодые.

- Я вот так вот, у окна сидела, - хрипло начала вдруг Мария Сергеевна, и у меня заныло сердце. - Я сидела, и вдруг прилетает пташечка. И вот она прямо села на рамочку, на окно, да носиком в окно так постукивает...

Мария Сергеевна постучала ногтем по балконному стеклу, и оно вздрезбужало жалостно.

- И я так вздрогнула!.. Слыхала, что это нехорошо, когда так бывает. Я говорю: что такое, пташечка, что ты мне подсказываешь? А она сидит, не улетает. Еще до трех раз она мне постукала. А потом уже, когда третий раз постукала, и улетела... У меня даже руки опустились. И полетели мысли... И про внуков вспомнила в Новосибирске, и про Васю подумала - Господи, че бы там не случилось с ним. Про всех подумала... Потом, на второй день, Наташа пришла. В Москву поедём! Че-то с Васей тама... А не говорит, что он умер-то, мне. Я ехала к живому. Я и верила, и не верила...

Она сникла вся после этого рассказа. Плетьми повисли руки. Долго молчала. Потом поднялась и медленно ушла с лоджии в дом. И вдруг за моей спиной раздалось посвистывание! Испуганная, я примчалась в комнату и увидела мать сидящей на кровати. Руки ее были собраны в замочек. А на проигрывателе крутилась пластинка.

- Это «Кругозор» выпустил, - кивнула Мария Сергеевна. - Вася свистит, из «Печек-лавочек»... Я как поставлю - вот и живой сыночка у меня тут... вот и живой!

Она подняла на меня глаза. В них была невыразимая мука! Такая же, как в глазах сына...

На другой день, 25 июля, я принесла Марии Сергеевне цветы. Был день рождения Шукшина. Это был Ее День.

А вечером я уезжала. На прощание она подарила мне книжку сыновних рассказов, изданную на Алтае. «В память Нине Павловне, - написала она, - о Шукшине Василии Макаровиче от его матери Марии Сергеевны. Бийск, 1977 года, 25 июля.

Мы не плакали расставаясь.

А через полтора года Марии Сергеевны не стало.

На ее могилу в Сростках я пришла в июле 1979, в день пятидесятилетия ее сына. Еще не осела после зимы свежая земля на холмике, не поднялись вокруг деревца. Мария Сергеевна смотрела на меня с портрета, приветствуя после дальней дороги. А я вдруг вспомнила последний вечер вдвоем, когда она попросила меня виновато:

- Ты дала бы мне еще разок посмотреть этот твой... как его...

Я протянула ей розовый шар с глазком - круглый диаскоп со слайдом

внутри. Она прильнула к отверстию и долго сидела так. Там, в таинственном объемном мире, возле поленицы дров, вместе с ребятами-артистами и со мною, стоял Василий Макарович. Деревня Садовая, Белозерский район Вологодчины, 1973 год...

«Нина, все же насмеюсь попросить, - писала мне потом Мария Сергеевна. - ты мне такого Васю не закажешь в шаричке сделать? В глазах стоит эта твой глобус. Господи, как живой сыночка, зачем не скажет, милый!...»

Ничего у меня больше не было в память о съемках «Калины». Только этот вот шарик, только один слайд в нем, который не разделишь на двоих!..

«Милая голубушка, - писала в ответ на мой отказ Мария Сергеевна, - а за шарик не беспокойся, я же не знала, я думала, так просто. Ведь не совсем что нуту у меня Василиных фотографий, есть же, ну и ладно. Я думала, просто, а уж трудно дак...»

Трудно. Приду к оградке, за которой Мария Сергеевна... Березы поднебесные шумят и шумят над старыми крестами. И далеко видно окрест...

Не здесь ли родились светлые строки стихов юного Шукшина?

«... сила ты моя, зеленая сила!

*Я хочу, чтоб простая русская мать
меня снова под сердцем носила...»*

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. «ГРУСТНИКА»

Только дети способны спасти от страданий. И если Господь подталкивает к плечу, на котором можно всласть выплакаться, он твердо знает, когда и где должно такое случиться, - чтобы явилась на свет нужная ему душа. Ведь это дети нас выбирают, а совсем не мы их...

Вот почему, когда перевалил за половину год 1975, однажды на рассвете еще одна новая жизнь начала вести отсчет своего времени. До тех пор она наполнила меня и заявляла миру о себе только через меня. И вдруг нечто самостоятельное о четырех килограммах весом гордым криком возвестило новому дню о своем появлении. И впервые глянуло на меня из рук акушерки: какова-то я снаружи? Выглядела я, право, устало. Но дитя мое, полюбив меня такою, отбыло на чужих руках в детскую.

Было это или не было?.. Они лежали там безымянные и пронумерованные и ничего не смыслили в окружающем. И только тепло, убаюкивающее тепло материнского молока, сладость которого нам не дано вкусить вторично, присутствовало для них во всей Вселенной, наполняя смыслом ее великую безграничность... А потом потянулись дни и месяцы - такие долгие, такие емкие и неторопливые, какими каждому хотелось бы сделать свои последние дни, полные осенней грусти по невозвратности всего живого.

И жизнь моя с тех пор потекла по двум руслам. И сколь бы спокойным и мудрым ни становилось мое течение, часть меня всегда есть теперь в другом потоке, и, как свои, навсегда мне дано чувствовать все дочерние бури, все ее половодья и засухи...

Но и дочь моя обречена от рожденья полюбить то, что дорого мне! Еще и ходить она не научилась, как привезла я ее в первый раз в деревню.

- Ты мани, мани телок! - тихо бормотал дед, радуясь, что в доме у него опять шумно. - Кликай их!

И дочка шевелила в нетерпении пальчиками, стонала и мычала, подражая скотине. И в лесу она стала бывать тогда же. Наломая для нее еловых лап, брошу на курточку - и сидит себе, забавляется, глядит, как собираю ягоды. А вернемся с нею к деду - счастливые! И угостим его брусничкой. «Грустника» - так называла дочка эту ягоду...

Старый дед умер, когда ей исполнилось три года. Умер в доме тети Клавы. Целый год лежал неподвижно, пряча глаза от дневного света. Узнавая своих, только пальцами шевелил и - отворачивал голову к стене... В один из приездов я рванулась к нему - да так и похолодела от взгляда: стынь и горечь были в нем, обида на свою беспомощность. Он совестился лежать перед нами таким.

28.4.1938

1.

Если завтра война, если враг нападет,
Если темная сила нагрянет,
Как один человек, весь советский народ
За свободную родину встанет!

Припев:

На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч, и суров:
Если завтра война, если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готов!

2.

Если завтра война, всколыхнется страна
От Кронштадта до Владивостока,
Всколыхнется страна, велика и сильна,
И врага разобьем мы жестоко.

3.

Полетит самолет, застрочит пулемет,
Загрохочут могучие танки,
И линкоры пойдут, и пехота пойдет,
И помчатся лихие тачанки!

4.

Мы войны не хотим, но себя защитим -
Оборону крепим мы недаром,
И на вражьей земле мы врага разгромим,
Малой кровью, могучим ударом.

5.

Подымайся, народ, собирайся в поход!
Барабаны, сильнее барабаньте!
Музыканты, вперед! Запевалы, вперед!
Нашу песню побудную гряньте!

6.

В целом мире нигде нету силы такой,
Чтобы нашу страну сокрушила.
С нами Сталин родной! И железной рукой
Нас к победе ведет Ворошилов!

- Вот, - протянула мне однажды тетя Клава надорванный в

сгибах листок. Я развернула его.

«ГРАМОТА, - алело на нем. И дрожащими буквами значилось: Красноармейцу Веселову Николаю Ивановичу. - А далее снова печатно: Приказами Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина Вам за отличные боевые действия объявлены благодарности...» Рухом, привыкшей к оружию, но никак не к письму, на грамоте были перечислены географические пункты, мимо которых двигался вместе со Вторым Украинским фронтом мой дед. Его благодарили за ликвидацию Корсунской группировки немцев в феврале 1944, за прорыв обороны немцев в районе Черемисской в марте 1944, за успешные наступательные боевые действия южнее Жмеринки в марте 1944, за успешные наступательные операции в районе Хрестовки в марте 1944, за освобождение городов Могилева и Подольска в марте 1944, за прорыв обороны в районе Ясы (Румыния) в августе 1944, за овладение городом Клуж-Напока в Трансильвании в октябре 1944, за освобождение Трансильвании в октябре 1944, за прорыв обороны северо-западнее города Лученец (Чехословакия) в феврале 1945, за успешное отражение вражеских атак возле озера Балатон в марте 1945, за освобождение города Кеменд (Венгрия) в марте 1945...

Я держала в руках грамоту и с поздним стыдом думала, что никогда всерьез не говорила с дедом о тех днях. Случалось, он порывался что-то рассказать, бормотал с печи на непонятном языке, а потом пояснял:

- Это я по-эстонски говорю «который час»...

Я не подступалась к разговору. Старик нравился мне балагуром, о другом не хотела слушать. Войну я знала по музеям и фильмам, которым верила, и это меня устраивало. И лишь иногда смутно всплывало во мне воспоминание детства...

Это случилось на даче, куда нас летом вывозили всем детским садиком. Неподалеку от Ленинграда был огромный лесопарк, и на самом берегу Невы, в тени черемуховых зарослей, прятались наши корпуса. Мы любили убежать за ягодами, любили плескаться в неводской воде, но больше всего - ходить на «ромашкино» поле. В коротких штанишках и платьицах, с панамками на голове, мы брели туда, ушибаясь и падая, с песнями. На поле том было много цветов, и мы, собирая их, повторяли за воспитателями: «Колокольчики мои, цветики степные...»

Однажды мы с девочками заигрались в молодом березняке на краю поляны. Углубились незаметно в лес. И вдруг кто-то ойкнул... Вот тогда я впервые узнала, что такое «копчик похолодел». Перед нами была могила. Одно дело, когда могилы на кладбище, и то в детстве жутко. А эта, одинокая, затерявшаяся среди деревьев... Над ней высилась деревянная пирамида с облезлой звездочкой, и из бугорка, поросшего травой, пробивался фиолетовый кустик ириса.

Кто-то сбежал за воспитателями, и вся группа вскоре окружила могилу. «Снимите панамки», - сказали нам, и мы без слов сделали это... А потом все вместе чистили холмик от сорняков.

Воспитательницы беззвучно плакали, а мы насупленно молчали. Неумолчно пели над головами птицы. С тех пор наши путешествия на «ромашкино» поле всегда заканчивались посещением могилы. Двое ребят вставали в почетный караул, а остальные тихой очередью двигались по тропе. Билетом-пропуском служил дубовый листок...

Уже взрослой я искала эту могилу, но не нашла. Говорят, перенесли ее на братское кладбище. Школьники-следопыты разузнали, что в ней был захоронен летчик, защищавший ленинградское небо... Пусть земля ему будет пухом! С него, с этого безвестного солдата, приоткрыла мне свое лицо война.

Второй раз я взгляну ей в глаза уже журналистом. Приеду в один из дальних районов, заберусь в глухую деревню Шилово и на краю ее, занесенный снегами, обнаружу маленький домик. Далеко был виден в вечернем мраке алый свет его окон.

Когда-то жил в нем Толя Шиловский, отсюда ушел юношей на фронт и не вернулся. Кажется, еще тогда, в горьком сорок четвертом, его мать Пелагея Степановна повесила на окна красные занавески, надела на голову алый платок, да так в нем и состарилась - вместе с домиком своим и застывшим недоумением в глазах. И муж ее, Фрол Афанасьевич, долго не мог поверить, что вот он жив, а сына его единственного теперь нет и никогда не будет. Спал запрос за запросом, но неизменно приходил ответ, что *«младший сержант Анатолий Шиловский при выполнении боевого задания, верный воинской присяге, пал смертью храбрых»*.

Добрые люди увеличили маленькую карточку до большого портрета, и прожили Шиловские тридцать лет, глядя на веселое лицо нестарющего сына. Вспоминали, как когда-то давно по приказу военкома привезли им два воза дров да сорок килограммов мучки для скотины - за погибшего Анатолия. Привезли, да и забыли о стариках.

В молодости была Пелагея Степановна, по всему видать, сильной и волевой женщиной - большое тело, натруженные руки и крупное лицо. Но недавно приказал ей долго жить последний ее близкий человек, ее муж Фрол Афанасьевич, из-за которого прозвали Пелагею Степановну Дюжихой. И вот тут она совсем сдала.

Я застала ее почти отрешенной от окружающего. Она была вся там, далеко, в мире, где множество икон мирно уживались с плакатами, с которых улыбался наш доблестный воин. Она вся была во власти дум и воспоминаний и большими вздрагивающими руками протягивала мне драконную шкатулку, чтобы я нашла в ней пожелтевшее письмо, подписанное командиром войсковой части.

«Ваш храбрый сын Толя, преданный патриот нашей любимой Родины, был хорошим товарищем друзьям по оружию, - начала читать я уверенно, - Еще в 1943 году Ваш сын был представлен к награде за смелость, отвагу, решительность при выполнении боевого задания. Вы можете гордиться, что воспитали такого сына...»

Дюжиха сидела прямая и строгая, со сплетенными в замочек сильными пальцами. А я все слышала ее низкий срывающийся голос и сбивчивые слова, которыми она меня встретила:

- Чужло сердце, полный день чужло, все ждала я кого-то. Вон и кошка мылась, гостей намывала... Чужла я!

И она глядела вокруг ожившим взором.

«...Стоял пасмурный день, кругом тишина, только разведотряд, в котором был Толя, готовился к выполнению боевого приказа. Каждый разведчик с шуткой и доброй лаской вытаскивал партийный или комсомольский билет, и, предчувствуя всю сложность предстоящей операции, думал, что, в случае чего, не позволит запачкать билет грязным паль-

цам проклятого врага. Жизнь? Она дорога каждому, но во имя победы над врагом мы не жалеем даже жизни», - читала я и ощущала, как по спине начинает ползти необоримый холодок от слов, написанных неизвестным автором. На Дюжиху я уже боялась взглянуть, заметив, как мелькнул к глазам ее красный в белый горошек передник.

«Вот намеченный объект совсем рядом, совсем рядом хищный зверь, фашист, который принес столько страданий советским людям. Шепотом команда: «Снять лыжи и продвигаться ползком!» Столкнулись с противником. И тут... в схватке погиб Ваш сын Толя - смертью храбрых, -- мой голос дрогнул и сломался. - Вечная память и слава герою, павшему в боях...»

Я плакала вместе Дюжихой, обнимала ее, гладила и говорила что-то, а на лавке остались недочитанными строки большого письма: *«...Слезам это горе не утешит, и мы уже отомстили за смерть Толи, украсив поле десятками трупов врага. Память о Вашем храбром сыне...»*

- Нет Толи, и нет, и нет, и нет, - покачала головой Дюжиха, и было страшно и зябко от непоправимости горя старой матери. Было стыдно, что приходилось оставлять ее на ночь наедине с вновь опалившей сердце болью, что никто ничем не в силах ей помочь и нужно уходить, несмотря на строгое и беспомощное Дюжихино «Не пушу!»

Когда Дюжиха смирилась с моим уходом, она погладила пригревшуюся в ногах собаку, и на губах ее вспыхнула на миг тихая улыбка:

- А хороший у меня Толя на фотке, правда?

Ей совсем не нужен был ответ, она уже простилась со мной. И я уходила, я почти бежала от крыльца, чувствуя, как спину мне жгут кровавого цвета занавески на окнах сиротливого домика...

Пелагея Степановна была из последних тогда еще живых матерей, потерявших на фронте сына.

...Моей бабушке повезло: и старший сын ее вернулся домой живым, и муж вернулся, хоть и хромым. И вот теперь он - мой дед - лежал недвижимым. И вместе с ним истаявал, уходил в небытие родной и - неведомый мне - огромный мир. Мир, который сам не в силах был себя выразить и который бился, словесно бился в моей душе, не находя для себя очертаний...

И все-таки поймала я его на бумагу. Маленькую повесть о стариках похвалили на большом совещании, а потом издали отдельной книжечкой. Но сама я в ней спряталась за героев, чтобы вольнее гадать, что творилось в их душах.

«Когда зачинаются правнуки, уходят прадеды. И вся цепочка жизни продвигается вперед на одно звено. Не будь этого, тесно бы стало на земле...»

На рассвете старик ясно попросил пить, потом вытянулся и, хрипло дохнув, успокоился навсегда.

Хоронить его решили на деревенском кладбище. Накануне приехали туда. Муж Клавды и Николай прямо с автобуса отправились в село за водкой, а Клавдия с Анной Михайловной пошли к дому. Брели они медленно, оттягивая минуту, когда придется взглянуть на него. Но она настала, потому что должна была настать. Линялые голубые наличники улыбнулись из-за поворота как десять, как сорок лет назад. Но никто не выглянул приветно в окно...

Калитка скрипнула и сорвалась с петель, но Клавдия не заметила.

- Мамочки, - выстоналось у нее, и руки повисли плетью и притянули ее к земле.

Почти по пояс вытянулась во дворе трава, впервые никем не притоптанная и не скошенная. Колосились метелки и буйствовали попухи вдоль забора и обветренных поленниц, а возле крыльца, опутав скобу на двери, поднимались выюны с белыми душистыми цветами. Распутали проволоку на ручке и ступили в дом. В нем все сохранялось по-прежнему: застелены были кровати и оставлена посуда, даже дедовы окурки лежали на подоконнике. Просто вышел хозяин во двор...

Анна Михайловна прошла в залу и уставилась в пустой передний угол. На таяле были только обрывки газет. Она шагнула в спальню - и там в углу лишь серели паутины.

- Почто иконы-то увезли, Клавк?

- Не увозила я, - вымолвила она, и взгляд вдруг упал на окно, выходившее в огород. Стекло с улицы было выставлено, и зимняя рама держалась на одном гвозде.

- Залезали, что ли? - удивилась Анна.

А Клавдия, уронив голову на стол, заплакала.

Вернулись из магазина мужики, задвинули под кровать ящик с водкой и закурили.

- Ну? - вопросительно произнес муж Клавды и глянул на нее. Она не ответила, смотрела в себя застывшим взором.

Николай задвигал желваками и вытер пальцами глаза. Анна Михайловна пристально посмотрела на него: выпили?

- А дом уже не наш! - отрезал вдруг Николай.

- С чего это не наш? - встрепенулась Клавдия.

- Покупатели вон нашлись, - буркнул ей муж и встал, с трудом разгибая онемевшую в дороге спину.

- Какие?

- Обыкновенные, - обронил он от окна. - Гляди вон, идут мимо, оглядывают. В магазине приценились у нас...

- И вы согласились?!

- Не те, так другие, найдутся желающие...

Клавдия растерянно смотрела вокруг. Старая Анна Михайловна под села к ней и вкрадчиво сказала:

- А чего, Клавк... Неужели будешь и этот дом содержать? Себя-то хоть пожалей... Всю жизнь как в огне кипишь.

Клавдия молча всхлипывала. И мужчины молчали.

А наутро старика похоронили. И Клавдии долго слышалось, как стучат комья земли о дерево гроба и как хрустят по иголкам и шишкам маленькие ножки его правнуков. Они шныряли по сосновому погосту, и ясные глаза ребятишек вопрошали: почему невесело, если солнце, если цветы, если все вместе? Через много лет они станут говорить, что не знали своего прадеда и прабабушки своей, и им не будет печально от этого. И никогда не будет им мучительно больно смотреть на деревню, на дом, в котором выросла Клавдия, и никогда не зайдется тоской у них сердце при виде осевших могил на этом кладбище...

Стоял теплый август, и колосилась рожь, испятнанная васильками. Под горушкой журчала студеная Марьяница, и Клавдия, памятуя о ней, никак не могла освободиться от тревожного ожидания. Чего она ожидала? Что еще могло произойти? Трещали кузнечики рядом, метались желтые бабочки, спугивая робкие мысли о чем-то важном и далеком-далеком - как будущее, которого она уже не застанет, но в котором продолжатся ее дети, внуки и правнуки.

...Возле дома ополоснули руки и молча ступили на свежеемытый пол. Тетя Вера подала кутью, и каждый взял по щепотке. Выпили не чокаясь. Клавдия не могла пить. Она глотала слезы и думала, как это странно - поминки. Человек устает жить и умирает, чтобы не тяготить других. Он мечтает оставить всех в радости, а приносит горе. И собираются вместе те, кто не виделся год и десять лет, и кто не увидится бы еще, если бы не кончина родителей. Словно для того и существует смерть, чтобы напоминать людям, что они - от отца и матери и что множество их на свете, таких похожих и разных...

Клавдия в тоске вышла на улицу и возле крыльца чуть не сбила с ног Люсю. Дочка спрятала за спину дедову косу.

- Заросло все, не пройти... - оправдалась она.

Глянув на выхваченные в траве лысые островки, Клавдия проговорила глухо:

- Оставь.

- Я приезжать буду!

Махнув рукой, Клавдия ушла в огородец и опустилась на траву возле калитки. Когда-то здесь она нашла задремавшую старуху-мать. Слепая, та убрела ощупать лук на грядках да заплутала и от усталости прилегла в тени.

«Вот и я теперь на мамино место», - ясно думала Клавдия и тревожно вытянулась на траве. Вопреки ее ожиданиям ничего страшного не произошло. Напротив, она ощутила, как хорошо чувствовать всем телом траву, как снимает она напряжение...

- Слезы на меня не роняйте, в вине меня не топите! - вспомнила она материнский наказ. И заново опалило ее жаркое предчувствие тайны.

- И все-то ты знаешь! - предсмертно выдохнула старуха, когда окропила ее Клавдия святой водой. - Все ты знаешь!

«Что же я знаю, что?» - гадала Клавдия, лежа на траве и прислушиваясь к себе. И ей казалось... Нет, не казалось, она знала уже, что, похоронив отца, она стала иной, новой, и прежняя Клавдия жила в ней как смутное воспоминание о чем-то бесконечно дорогом, но невозвратном. В себе новой она обнаруживала потребность быть степенной и тихой и почти понимала то, что брезжило недавно на жаркой лесной опушке близ студеной Марьяницы. Прогретая земля делилась своим теплом, и оттого лежать на ней было уютно, как в колыбели. Падая с берез первый желтый лист, и, наблюдая его кружение, Клавдия радовалась близкой осени. Она не слышала, как возле нее опустился на траву муж. Вздрыгнула, когда он коснулся рукою ее волос.

- Устала?

Нежности не хватало ей всю жизнь?

Клавдия зажмурилась. И снова вспомнила слова матери:

- Вчерась батька мне в бане голову вымыл. Живучи не бывало! Не

с ума ли спятил?..

Что же это? Клавдия открыла глаза и посмотрела на мужа.

- Состарились мы, Ваня.

Она произнесла это шепотом, но муж услышал и ответно погладил ее по плечу:

- Пойдем, люди тебя ищут!

И они вдвоем вернулись в дом...»

Это было последнее сидение за столом в родительском починовском доме. Через годик, гостя у тети Клавы, я приехала в деревню за грибами и подошла к знакомой калитке. Она все еще висела сиротливо на одной петле, а вокруг беспризорно колыхались густые травы. Стоном перехватило мое горло, и я уткнулась лбом в забор, чтобы устоять. А дочка, обнимая меня за ноги, тоскливо захныкала и потом заплакала всерьез, не зная, о чем...

Чуть позже от отца я узнала, что дом наш в деревне продали.

Я не расстроилась. Конец так конец, когда-то он должен был настать. Подобных историй в селениях российских пруд пруди! А у меня и кроме деревни есть, чем жить: дочка вот подрастает; в газетке уважают, только пиши!

И я целиком отдалась работе. Мелькну на Алтае, мелькну в Ленинграде - и снова в вологодскую глушь, к добрым и славным настрадавшимся русским женщинам. Как впечатались в меня шукшинские слова восхищения их силой и долготерпением:

«Я не склонен ни к преувеличениям, ни к преуменьшениям национальных достоинств русского человека, но то, что я видел, что привык видеть с малых лет, заставляет сказать: столько, сколько может вынести русская женщина, сколько она вынесла, вряд ли кто сможет больше, и не приведи судьба никому на земле столько вынести. Не надо.»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК

Долго идет теплоход до Брусенца - восемь часов несет его на своей груди, незаметно подталкивает ближе к северу древняя река Сухона. Берега ее, поначалу голые и неприглядные, постепенно обрастают лесами, и тянутся, тянутся молчаливые волокиты от одной деревеньки до другой. Много селений было прежде по Сухоне, а теперь одна память осталась - горькая память в виде безглазых срубов; и смотришь, смотришь на эти брошенные дома, в которых гуляет ветер, и комок к горлу подступает - а отвести глаз не можешь! Сколько судеб с ними связано, сколько жизней здесь прожито, сколько тропинок протоптано отсюда в города...

А воды у Сухоны все шире, а берега у Сухоны все круче! И где-нибудь под самыми небесами - видишь - сидят на лавочке, щебечут старушки, из-под руки поглядывая на спешащую мимо «Зарю». А потом встречает тебя горделивыми церквами старинный город Тотма и укрепляет в мысли, что жива земля эта и люди в нее росли корнями навек, - только сселились погуще, только сменили телеги на мотоциклы, только пересели с лодок-долбленок на моторки.

Последние - примета июльской Сухоны: на носу, подняв уши, собака, а по-за ней - хозяйка с копешкой сена. У многих покосы по берегам, и видно,

как там и тут на береговых склонах томится на солнце выкошенная спозаранку трава. Много заботы у тех, кто держит скотину, и мало теперь охотников до таких хлопот. Вот припало к воде небольшое деревенское стадо, сморенное зноем, и, пока не скроется «Заря» за изгибом реки, успеваешь сосчитать всех буренок по головам...

Долго идет теплоход до Брусенца - за это время от Вологды до Москвы добраться можно. А тут все плывем и плывем. И пока бегут к берегам послушные волны, столько всего передумать успеешь, столько разных людей увидишь! Ткнется «Заря» носом в песок, и по сходням выйдут на берег пассажиры, а их места займут новые - кто с корзиной, кто с магнитофоном, кто с костылями, кто с ребятишками. Ах, как много народу на Руси, как много можно рассказать о нем!..

Воложанин Павел Иванович Баженов написал в редакцию областной газеты о том, что после войны он работал трактористом в Жаровской МТС Нюксенского района. Его наставниками были Татьяна Ивановна Баженова, ныне Храпова, и Екатерина Алексеевна Осекина. Много лет прошло, а и сегодня вспоминает он их добрым словом и хочет, *«чтобы как можно больше людей знало об их доброте и трудолюбии»*.

И вот по заданию газеты я плыву по Сухоне. Выхожу на пристани Брусенец и добираюсь до деревни Монастыриха, в которой живет Осекина.

«Которая горелая?» - весело переспросили чумазые пацанята и указали мне дом. А я содрогнулась: так легко прозвучало в детских устах это слово...

- Есть тут кто? - переступила я порог.

Молчание. Открываю одну дверь, другую.

- Здравствуй, гостя невиданная, проходи!

Так вот она какая, «горелая» Катя Осекина... Сажусь в кухне на лавку подальше от хозяйки и с болью то и дело взглядываю на ее изуродованное лицо. А она не замечает этого - привычная.

Ждет, когда я объясню, кто такая и откуда. Тогда я догадываюсь до-
стать и прочитать письмо.

- О-ой, Павличек-то меня вспомню-ул, - слезно тянет Осекина. - Ой, мил человек, Пашенька Баженов! Как же, как же, помню я...А у меня ведь беда!

Самый желанный слушатель- человек новый на деревне, и Катя рада возможности пожаловаться.

- Бык ведь меня боданул, будь он неладен! О-ой! - она хочет глубоко вздохнуть, и из груди ее вырывается жалкий стон. - Вот, куколка, кака жизнь. Быка на смерть сдала и сама за им следом пойду, видно. Совсем человеку мало смерти надо...Как он начал меня кулысить, как начал! Ровно все во мне остановилось... Не-ет, не оклематься теперь...

В избе жарко: второй день Катя перетапливает в печи жир своего быка Мартика. Мы вдвоем с трудом сливаем расплавленный жир в таз, и я спускаю его, горячий, в погреб. Там он застынет, а наутро Катя снова перетопит его, предварительно слив «оденки». Как она завтра с этим одна, бедная?

- Ой, - тонко вскрикивает Катя, и я пугаюсь. - Ребра-ти поломал, поломал! Этта вот, у позвоночного столба, больчае... О-ой, сдала да и покаяласе. Легче мне теперь без его?!

- Да как хоть вышло?

- А как? Откармливала его дома. У нас совхоз-от откормочный. Тутока, рядом, и сдавала, на пункте. На 600 килограммов с лишним потянул! Чего не думала, не чаяла, всем говорила: не бойтесь, не тронет бык! Ну, мужики и попросили меня привязать. Вот я и пошла. Нет бы по-за оградой, а я - в нее. Ма-артичек, приговариваю, Ма-артичек...Вот он меня и приговорил! А все одно не дался резать - стреляли. Почто бы мне идти?..Спасибо, Мартичек, отблагодарил, - Катя, ойкнув, кланяется, и голос ее суров, почти сердит, - спасибо, хоть живую оставил!

И тут же, не успеваю я моргнуть, она жалобно всхлипывает:

- А как весело я с им жила, как любила! Ведро вылизет - мыть не надо. Не прольет ни капли. Душа радовалась таку ягоду кормить...Все, два солнышка у меня закатилосе...

Она обреченно берет поднос и ковыляет в летнюю избу. Я следом послушно несу самовар. Он поет, и так хочется, чтобы было в этом доме за чаем шумно и счастливо.

В прохладной горенке просторно. Яркие половики, лавки вдоль стен, фотографии в рамках - обычная, но какая пустынная изба!

- В этом дому парень жил. Любила я его, - рассказывает Катя. - Колкой звали. Не судьба была нам повенчаться. Цело летико он болел, чах да так и помер. А своим сказал: «Катка была моя подружка. Коли продавать хоромы - только ей». А у нас денег не было. Матка евонная пожалела нас: ищите, мол, тысячу, это по-старому, а остатки я поманю. Тогда я репсовую шаль под заклад - и перебрались. А чтобы Колкина мать во мне не изверилась, я им все гостинец несу - робенков-то у них много было. Все отдам, а сама на тракторе голодом ежду...

Слушаю Осекину, и в памяти встают строки письма Павла Баженова:

«Я сейчас работаю шофером в автоколонне. В трудную минуту, а их хватает, вспоминаю этих женщин и те условия, в которых им приходилось работать. Трактора без кабин, сиденья без амортизаторов, пыль, грязь. Домкратов не было, жердью поднимали трактор, чтобы сменить колесо. Через смену-две делали перетяжку подшипников. Заводили машину ручкой. Мужчинам тяжело, а им?! Умыться сил не оставалось, возле трактора упадешь, как камень в воду, - сп-ать...»

- Трактор меня улек, куколка. Кабы не он, разве не обзавелась бы я семейным положением? - голос Осекиной тверд, и я верю ей без сомнений. - Мной сотни людей интересовались. Я в честе была, хорошо работала. Двадцать лет в эмтезсе да потом в колхозе сколь. До семьдесят третьего года на тракторе! А в войну-ту... по троем суткам не спавши. Надо дать производительность за себя и за друга!

На столе коробка с документами. Катя, щурясь, вглядывается в трудовую книжку.

- От, с тридцать седьмого году робила. А это чего? Удостоверение комбайнера? Оно...Эх, грамотки, грамотки...Посмотришь на них - они тебе здоровья не дадут, не-ет...А тутока медаль? Ага.

- 30 лет Победы в Великой Отечественной войне 41-45 г.г., - читаю вслух.

- Мне-ка вручили, - предслезно произносит Катя, - а я взяла в руки и говорю:»Благодарю Советскому Союзу и большевикам!«

В ее грубых, со следами ожогов, руках медаль такая крохотная!

- Вишь, какая я? - сама заводит разговор Осекина. - Обгорелая вся. А

была красавица!

Напротив на стене большой портрет. Катя-Катерина...Нет, не таким виделся той Кате сегодняшней день! И на трактор пошла легко и радостно - надо, значит, надо.

Перед самой войной это было, в мае. Пахали до ночи. Остановились перетянуть подшипники. Темно было под трактором. Костерок разложили, чтобы заодно и машину проверить, - берегли тогда технику пуще глаза...А тепло и сморило, задремала Катя... Когда вспыхнула на ней одежонка, исход был предreshен. Успела только мальчонке сказать, напарнику, чтобы из трактора воду слил. Туда, в сырую землю, и ткнулась пылающим лицом. Да поздно.

На нем и теперь сквозь морщины виднеются следы огня. Привыкла к ним Катя, привыкли односельчане. А тогда...

- Ой, тятенька, отруби мою головушку! Криком на пороге скричала...К ней-то запрягают, а грудь так и садит, так и садит. 30 километров везли на тарантасе. Ох, и покричала я волоком! Думала, умру...

Месяц лежала Катя в больнице. Жить не хотелось. Пыталась голодом себя уморить - не дали. Надумала отравиться - угадали. Подлечили, пальцев на руках поубавили, выписали. Дома первое время ложку держать не могла. Родители уйдут на работу - ей самой воды не налить. Кто мимо идет - Катя стукнет в окно, зайдут, дадут напиток. Так было.

«И такими руками она еще лет тридцать управляла трактором. Сколько хлеба вырастила, сколько льна убрала, забыв про инвалидность. Низкий ей поклон за все, что рядом с нею увидел, услышал, понял».

- Ах, Пашенька, все помнит! Трудолюбивый был. Да они, робенки, поза трактору тогда, ровно грачи, ходили... И я трактор любила, жалела его. Однако вдруг стало досадно: все одна да одна! Что за лихо? Хотела уйти, да вот...Ой, тяжко было в молодые годы отступить ото всего! Гляну в окно - девки-то гуляют! Сердце так и сожмется. Хлестанусь в солому и закричу большим причетом! Вот кака моя судьбина...Все подружки вышли замуж, все вы повенчались, только я, несчастна девушка, одна осталасе...Запою так - все и заплачут. А что слезы? Они не помогут...

...Прибраны документы, вымыты чашки. За окошком солнышко легло на леса - вечер. Красива нюксенская деревня Монастыриха - и на закате, и на рассвете, и в полдень. Крепкие дома грудасты, улыбчивы. Таким же снаружи показался мне и Катин дом. А теперь разворошили мы в нем горький костер памяти. Больно и неловко от этого: словами сожаления чужую судьбу не изменишь. Разве помочь чем?

Коромысло у Кати Осекиной небольшое - по ее росту. Наклоняться приходится низко, и пролить воду стыдно. Раз на колодец, два, три - наносить бы воды ей на год! Родных в деревне никого, одна как перст...Вот и полы подтерты. Светлеет в избе, светлеет и улыбка Осекиной.

- Иди чаевать!

За столом - гостя, старая Татьяна Селивановская. Ей восемьдесят, а лицо почти не тронато морщинами, ясное. Белый платок на седых волосах, крупный нос, покой и умиротворенность во всем облике. Полный контраст Кате, а - подружки. У кого ноги сегодня легче переставляются, та и идет навестить.

Заливают кипятком гороховую муку, хлебают этот кисель, заедают толченым луком - давняя, разлюбезная с молодости еда. Что еще надо? Тихий

обычный вечер. И год, и пять лет таких же вечеров - все одинаковы они у одинокого человека. Муж у Татьяны погиб под Ленинградом. А детей нажить не успели. Закатилась молодость, как солнышко. Остался от нее один сарафан - голубой, выцветший, да когда-то алая кофта.

- У меня тоже старинный есть, - подхватывает радостно Осекина и ковыляет больными ногами в другую половину дома. - Вот! С грибам! - она бережно касается оборочки на подоле.

Яркая клеточка, отделанная тесьмой. И плотности ткань небывалой, нетеперешней - самотканая!

- С Москвы приезжали, просили - не отдала.

- И верно, - кивает Таня.

- А в музей в Вельске, слышь, все-то прежнее есть. Берегут!

- Модно теперь старое.

- А перейдем, нет ли, на старую копию в работе? - вздыхает Осекина.

- Нынче все стали грамотные, всем надо ручку, всем надо за стол - косить ли, коня ли запряги - ничего не умеют! Семеро с ложкой, а один с сошкой. Беда!

- Беда, - кивает Таня. - С трактора пьяного снимут, а завтра опять посадят. А куда девашься? Механизаторы не обабки, каждый день не растут!

Привычный разговор. Где такой не услышишь? И ведь много, много в нем правды! Такой, что и на страницы газеты не вынесешь...

- За нынешние бы деньги да прежний бы народ - до ночи бы робили!

- Так, так. Раньше напляшемся, напоемся, ломоть хлеба в котомку - и на работу пешком. А теперь у крыльца посадят, у крыльца высадят - а все чего-то вроде не хватает, чего-то душу не веселит.

Не веселит!

- С вашу сторону видней, - это уже ко мне обращаются. - Почему так?

Почему? Виногато прячу глаза, хотя своей вины и не знаю. Нет, не только там, в их молодости, было особое, трудное время. Нашему тоже не позавидуешь: гниль и тоска несусветная. Но можно ли выбраться из них? И когда я пишу о таких вот женщинах - помогаю ли выбраться? Ведь не гонорар же нужен мне!! Душа плачет и бьется, как в клетке, когда вижу позабытых, позаброшенных людей...

Старая Татьяна опрокидывает чашечку на блюдце.

- Что показала денешко?

- Все, сыта. Почивайте. Сегодня ты не одна.

Уходит Татьяна, и Осекина, укладываясь на полу, охает от боли.

- Ну, Мартичек, отблагодарил ты меня. А я -то платье чисто надела, тебя повела...Только бы поправиться!

Стонала Катя всю ночь, и я просыпалась в отчаянии, шепча какие-то невнятные слова, как молитву.

Утром, уходя, я оглянулась на дом. Осекина смотрела вслед из окна.

- Ступай. Плакаю я, - произнесла одними губами.

Но я услышала и побежала прочь.

Куда я бежала тогда? Почему?

Помню, свернула в сторону Сухоны. «Она близко, - говорила Осекина.

- Пароход идет - чутко!»

И я услышала на реке буксир. И еще сильнее потянуло к воде. Но непроходимые кусты, заросли крапивы и шиповника не пускали. Я шла по одной тропе - и возвращалась, шла по другой - и возвращалась. И слезы,

злые, беспомощные, не приносили облегчения.

А когда выбралась, то оказалось, что за колючим лабиринтом был обрыв. Крутой, опасный. И желанная Сухона катила свои воды далеко вниз и недоступно...

«Ну и пусть!» - сердилась я на нее, на себя, на весь белый свет, огибая Монастыриху и направляясь дальше - к деревне Высокой, где жила вторая наставница Павла Баженова - Татьяна Ивановна Храпова.

Солнце пекло, придорожные травы задыхались от пыли: небывало жаркое сухое стояло лето. Далеко в поле трещали тракторы - совхоз заготавливал корма.

Так же было все вокруг и сутки назад - светило доброе солнце, жужжали осы над цветами и весело краснела в траве земляника. Душа моя воспаряла над просторами и счастливо отзывалась на все цвета и запахи земли... А теперь она была ранена и, казалось, истекала кровью.

...У крыльца Татьяны Ивановны Храповой в деревне Высокой стояли грабли. Я поднялась по ступенькам и попала в уютный дом, полный занавесочек. Они были над окнами, на дверях, вместо перегородок.

«Подъем сельского хозяйства - всенародное дело», - почему-то вспомнила я пожелтевший плакат на стене у Катерины Осекиной.

Две женщины вышли ко мне.

- Гостья? - излишне громко спросила одна, быстрая в движениях. - Ну-ну. Откуда?

- Из Вологды.

- Это сестра моя Шура, - мягко пояснила вторая, Татьяна Ивановна. - Она не слышит. С детства.

- И как же вы?

- А понимаем!

Она поглядела в окошко на небо, и Шура тут же отозвалась:

- Пойдем?

Мы вышли в огород. Я сгребала сено и поглядывала на сестер. Они вершили зарод. На него - белый платочек домиком - взобралась глухая Шура. Руки ее были по-мужски сильными и уверенными. Татьяна Ивановна вилами подавала ей сено, все сдувала с лица труху и улыбалась.

«Совесть меня побивает перед людьми, что лежу. Косить бы надо - такое ведро!» - полоснули мою память вчерашние слова Осекиной. Но я прогнала их - так не хотелось думать о чьей-то боли!

Плыли по синему небу облака, шмели жужжали в нескошенной траве, и резкие порывы ветра вдруг проносились над деревней: Высокая стояла на взгорке.

- И что такое место выбрали, не знаю, - говорила потом дома Храпова, поглядывая в окошко. - Метельно на высоте.

- Не гремит? - по-своему понимала наш разговор Шура. В этом доме, как и всюду, давно ждали дождика.

- Отдохни хоть, - сказала Татьяна Ивановна, - поешь еще!

- Хватит! - улынулась мне Шура. - Пока жива, надо робить!

Через минуту она была на улице, и ее сильный голос сзывал у калитки овец.

- Не посидит. И я бы бегала, да ноги больные, - пожаловалась Храпова. - Все трактор. С сорок второго на нем. Двадцать пять годов откатала. Павлуша Баженов сменщиком у меня был...

- А я к вам как раз от него!

- Да ну?! - она выслушала меня и вздохнула. - Помнит, ишь ты... Из рабочей семьи он, из хорошей. И боронили мы, и картофель сажали, и косили... А потом я и на инвалидности побывала, и в кладовщиках.

Татьяна Ивановна доставала грамоты, раскладывала их передо мной, а я прикасалась к ним и думала: удивительно! Собираясь в командировку, я сходила в краеведческий музей - видела на фотографиях трактор тех лет и плакаты, призывавшие девушек садиться на него. Но теперь поняла вдруг: стенды музея бесстрастны и холодны, пока не поговоришь с такими людьми, не ощутишь их живое тепло. Пока не поймешь, что же их, таких разных женщин, делает похожими. Что же?

- Давно, давно не видала я Катерину! Ишь, какое опять несчастье произошло... И почто бы держать ей быка?

- Я, говорит, без скотины не жила. Совхозу помогаю! Надо, - ответила я. И поняла: ну конечно, «надо»! Вот что главное в них - чувство долга.

- Бывало ведь и прежде у нее неладно. Повалил тоже бык в лужу на дороге и катает, и катает... Насилу отходили. А потом трактор-колесник ее переехал. Везла его с ремонта на санях, а лошадь под угор и понесла... Война это виновата, будь она проклята, - вдруг очень тихо сказала Храпова.

Чтобы отвлечь от невеселых воспоминаний, я позвала Татьяну Ивановну на реку.

Мы шли сиреневым от иван-чая полем, и она, словно впервые их встретила, оглаживала душистые стрелы. А внутренним взором все равно видела другое.

- Я на Волхове на оборонных работах была. Как обстрел - мы в лес... А потом перестали. Вон какие головы валились - не чета нашим!

Гром прогрохотал вдруг, и Храпова вздрогнула, остановилась.

- Странно мне, как про войну вздумую. Один затеет - и столько смертей! А мирное житье, оно ведь хочет жить и жить, правда?

Я кивала, словно со стороны слушая собственные мысли.

Вышли наконец на берег. Широкая Сухона простерлась перед нами и несла, несла свои воды неостановимо и завораживающе. А по-над ней собирались долгожданные тучи, раздумывая, пролиться или не пролиться дождем.

Мы сели на бревно и покойно вытянули ноги. Тихо было, тепло.

- Давно не была и еще не бывать бы здесь, кабы не ты, - сказала Храпова. - А в детстве каждый день прибегали. Ракушки вот эти - такие же, как тогда... А я - не такая. Куда оно девается, детство? Ты не знаешь?

Я покорно приняла из ее рук влажную перламутровую створку раковины. И словно обожглась: время, то далекое время чужой молодости вдруг стало реальностью...

- И деревня вон, на том берегу, - продолжала меж тем Татьяна Ивановна. - Раньше люди в ней жили. А теперь - пусто. Видно, всему приходит конец... У меня хоть дочка да внуки на земле. А Катерина - одиношенька... - Храпова вздохнула и вдруг ребячливо возмечтала: - Вот бы цветик-семицветик из сказки - здоровья бы ей заказать!

И снова я услышала стоны больной Осекиной. Охая, доставала она из печи чугуны, охая, разгребала по противню распаренную рожь, охая, водружала его на печь - у племянницы затевалась свадьба, нужен солод на пиво. Никому, кроме Кати, не сделать его.

...Возвращались мы с реки с охапкой зверобоя. Возле самого дома

нас застал вечерний ливень. И глухая Шура, размахивая руками, объясняла у крыльца, как она изволновалась. А мы с Татьяной Ивановной улыбались. Стекала, смывалась наконец-то давняя пыль с листьев черемухи под окном, оживали травы и цветы, и легче становилось дышать на земле.

А утром я спешила на автобус. Из Высокой он шел через Монастыриху. Катя Осекина должна была - по уговору - выйти на остановку, чтобы вместе со мной съездить к фельдшеру.

Она не вышла. И сердце у меня оборвалось: что-то случилось. В скобе ее дверей я успела заметить не взятую накануне газету.

А автобус мчался и мчался, увозя меня подальше от чужого горя.

Ну чем я могла помочь Катерине?! От пристани бросилась отыскивать медпункт. Луговины, взгорки, склоны, извилистая речушка, и снова - луговины, взгорки...Неповторимые места в Брусенце! Но даже я устала, добираясь до фельдшера. И все красоты показались мне насмешкой судьбы, когда я предстала перед закрытой дверью. Каково понапрасну приблести в такую даль Осекиной?!

Тогда я кинулась в совхозную контору. Долго пришлось объяснять, чего же я хочу. Вынужденно пообещали, что не оставят Катерину в беде...

Все. Я вышла на пристань и впилась взглядом в воду. Смута была в душе. Что-то я недоделала. Но что?

Гадать было поздно. Причалила «Заря». На берег вывалили пассажиры. Я терпеливо ждала, когда освободится трап. И вдруг я увидела...Катю! Никто не угадал бы ее боли, которая, знаю, отзывалась при каждом шаге. Опираясь на палку, она медленно, но уверенно ступала по сходням. Меня Осекина признала не сразу. А когда вспомнила, то в глазах ее на миг мелькнуло то выражение, с каким провожала она меня из окошка, - «Ступай, плакаю я...» Мелькнуло - и скрылось. Вот, сказала она, съездила к врачу в лесопункт, направили на рентген. Даст Бог, все обойдется...

Пусть обойдется! Я коснулась ее плеча, не смея обнять на прощание, и Катя кивнула сухо. Убирали трап, и я впрыгнула на «Зарю»...

Много лет прошло. Осекину я больше не видела. Читала в районной газете, что после моего очерка стали ее приглашать в школу на сборы - рассказывать о работе на тракторе. Выступала она несколько раз. И глядели на нее, обожженную, девчонки, думая каждая про свое...В чужую шкуру если и можно влезть, то лишь на время. Пожалеешь, поможешь - а дальше нужно свое жить. Или уж всегда быть рядом. Иначе - не честно.

Так и я вот, плача в душе, сколько раз проплывала мимо Брусенца и - не позволяла себе сойти...Жива ли теперь Катерина?

Жива ли старая ее подруга Татьяна Селивановская, с которой хлебали они гороховый кисель? Вот уж перед кем виновна я неизбежно!.. Просила меня солдатская вдова похлопотать о надбавке к пенсии. И целых три года после встречи я палец о палец не ударила...

Стыдно признаться, но я сразу подумала так: что какая-то «пятерка» человеку? Не велики деньги.

Оно конечно - если для нас. А для старухи, у которой мизерная пенсия, это целое состояние. Лук толченный да каша гороховая, может, и любимое блюдо, да только не одним этим такая привязанность объясняется. В восемьдесят годов в огороде много не наработаешь, диковинного ничего не насадишь. А о корове и говорить не приходится. Вот и живет - с чая на

кашу, с каши на чай...

Не понимала разве этого тогда? А вот сидела в закуточке подленькая мыслишка - вроде и не моя, но моя ведь! Сидела да успокаивала, не давала торопиться: старухе, может, и жизни ничего осталось, пока хлопчешь да справедливость восстанавливаешь, никому деньги эти не нужны будут!

Словом, не выполнила я тогда просьбы солдатской вдовы. И через год не выполнила. И через два... Ей в далекой деревне все казалось, наверно, понятным: приехала городская занятая женщина, выслушала попутно жалобу, уехала да и забыла - многие жалуются, всех за делами не упомнишь! Бог с нею...

А я помнила, желала забыть и - помнила.

Трудность состояла в том, что область наша большая, в те же места не скоро вернешься... Нет, опять лгу, выгораживаю себя! В тех местах я была после, и не раз, но дела как-то проносили мимо, мимо нужного мне военкомата. По рассказам старухи я знала: в нюксенских книгах ее муж не был записан среди мобилизованных на фронт. Случай не единичный - не до регистрации было, многих пропускали. Никто не верил, что не вернется, никто не думал, что овдовевшей жене, не успевшей нарожать ребятишек и потерявшей похоронку, так нужна будет на склоне лет законная надбавка к пенсии. Жалкая надбавка!

Одна надежда оставалась у старухи: в свое время переезжал военкомат из Нюксеницы в Тарногу, возможно, в тарногских книгах муж числится...

Я зашла по этому вопросу в тарногский военкомат лишь через три года. В пустом и гулком деревянном здании сильно пахло краской. Хорошо было после уличной жары, прохладно. И очень тихо. Наверное, потому, что в какой-то из комнат, подумала я, лежат эти самые списки. В них страшные пометки: убит... убит... пропал без вести...

Мне дали три амбарных книги - обычных, почти не потрепанных. Я раскрывала их по очереди, пробежала глазами. Раз, второй... Нужного мне имени не было.

Вот и все! И я не виновата!

А облегчение не приходило, напротив.

Ведь могла я выяснить это давным-давно; ну, не сама приехала бы читать списки - позвонила бы в военкомат, письмо бы туда написала! Это для старухи дело сложное, а для меня из редакции - раз плюнуть. Что ж я не делала?!

Ну и не делала, и ничего страшного. Все равно же не вписан был человек. И потом, думала ли, что работы тут на полчаса? Думала ли, что под одну обложку может быть втиснуто столько жизней? И смертей...

Нет мне прощенья. Жива, не жива ли моя просительница, а - не забыть ее. Линялый сарафан, блеклые глаза, надежда в них...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. БЛИЖЕ К ВЕЧНОСТИ

Самое удивительное, что добрались мы до Рысенкова! Целиной, утая по пояс в снегу. Впереди, конечно, Анна Афанасьевна, как хозяйка тех мест и обладательница валенок. Я - в сапожках - за нею, но это все равно что босиком, потому что приходилось вытаскивать друг друга - столько было снегу. В другой раз порадовались бы: хорошему урожаю быть при таком обилии. Но тогда лишь пот стекал по спине, и хваталась моя провожатая за

сердце и за поясницу.

Позже, через полгодика, когда пойдем мы этим же путем, но уже летней тропкой, она скажет, что промаялась после того путешествия неделю, даже за скотиной пришлось мужу ходить. Но тогда, в январе, ничто не могло Ржевскую остановить.

А заделье было такое. Гостили как-то у местных, у рослятинцев, ленинградцы из лаборатории народного творчества при консерватории. Сфотографировали исполнительниц старинных песен в старинных нарядах и вот - прислали фотокарточки. Никак не могла Анна Афанасьевна собраться разнести их по товаркам, а тут я подвернулась, которую надо проводить по нескольким адресам. И поскольку обходной зимний путь насчитывал от Афанькова до Рысенкова километров пять, то решили мы рискнуть напрямки - через укутанное снегом поле.

Потом сидели в Рысенкове, поджидая, когда высохнет наша одежда.

- А я уж поминала, что сушились карточки сделать, - радовалась старушка Крюкова, разглядывая свое изображение. - Только больно уж я морщевата получилась!

- Жизнь морщит, - отвечала Анна Афанасьевна.

- Дах ведь и смерть-то за крыльцей...Отплясали, отпели. По ветру вей, а по уму живи!...Вот наемдн только со свадьбы из Череповца вернулась - наплясалась вволю! Дах ведь только из- за колотого сахару и ездила.

Она достала из горки глыбу сахара, расколола ее ножом в ладони и высыпала на стол.

- Гореченького или студененького будете? А то дах есть и суп, и селетка.

Мы отказались от всего, согласились на чай.

- Да и чай-то ныне не тот, что трухи сенной накладено, - оправдывалась хозяйка.

- А я пива не перевозжу, - вставила Анна Афанасьевна.

- Дах дедко-то был, и я по бочке пива варила. А ноне кому?

- Дах приходи ко мне хоть по мел-то, дам для пирогов.

- Пришла бы, да дороги-то нет, - вздохнула Крюкова.

- Да, дорог-то пылко много, да ходить не по чему! Вон мы как! - Анна Афанасьевна посмеялась, глянув на нашу мокрую одежду на печи. - Как в бане упарились!

- Баня не театр, раз в год сходить можно, - хохотнула в ответ Крюкова.

- Приходи однако, - настойчиво повторила Анна Афанасьевна. - Поглядишь, как я полотенца выбираю.

- Ну? Ровно мати твоя не выбирывала? Откуда ты-то научилась?

- А вот и решила для интересу: смогу ли?

Сказала Анна Афанасьевна об этом с достоинством.

Потом в Челищеве, куда мы завернули, разговор ненарочно пришел к тому же. Разглядывали женщины фотокарточки, спрашивали:

- А кашемировки-то не прежние?

- У кого дах и прежние, - отвечала Анна Афанасьевна, гордая за земляков, которые сохранили старые наряды.

- У меня вон атласница таскается до сих пор, - робко вставил кто-то.

- А я все выпорол...Девчонки росли после войны, им на платья и нашила.

- А у тебя, Анна, ровно прежняя одежда-то? - обратили все взоры на

мою провожатую. - Только полосочки не по-нашему пришитые!

- Ты с Ляменги, даку ляменжух полосочки низко, а я юзенка, потому и повыше, - со знанием дела отвечала Анна Афанасьевна. - А юбку эту только той зимой сшила. Ничего у меня девичьего не было, и от матери не было. А выступать надо. Вот мне одна баба и говорит: надевай мою юбку! Надела я, да только пела и все думала, что все глядят на меня и знают, что я в чужой юбке... Пришла домой да скорей сбросила ее и отнесла назад. Вот тогда себе и сшила новую.

- Ты тут у нас, паря, в Челищеве набасишь! - ощупывали гостью женщины. - И правда, ровно прежнее все!

- Я теперь и полотенца выбираю по-старопрежнему, - похвалилась Анна Афанасьевна.

- По какую нужду? - не поняли ее.

- Теперь любят в городе! Чего родным разошло, чего пока в шкафу приберу. Ведь надо ранешнюю красоту-то беречь и сохранять!

Кто вздохнул тогда по забытым радостям, кто взглянул недоуменно и снисходительно, а кто и просто не придавал этому разговору значения. Половики домашние - еще куда ни шло, но все остальное, скатерки, сарафаны самодельные - это уж не от большого ума...

Вот еще одна женская судьба, в изложении самой Ржевской.

- Может, я в отца такая уродилась. Он ведь у нас все-все делал! Руки у него золотые, люди говорили. Вот и меня - никто ничему не учивал, а умею. Я ведь и дом этот вот своим рукам срубила! Да-да! Поверьте мне и моей душе, вот муж свидетель, даже он не мог, а я топором рубила. И не умела, а надо стало - дак попойду, посмотрю, как люди делают, как мужик другой рубит или чертит или еще что. Обязательно остановлюсь, поговорю, выспрошу, выгляжу. Только обязу помогли мне делать, а так - одна себе, одна и бревно притащу, и положу, и причерчу, и вырублю. Да...

Перво я, еще тринадцать годов, пошла в райисполком курьером. У нас тут прежде район был Рослятинский... Пошла, дак вот письма-ти между пальцам клала, какое в какую организацию - вот до чего грамотна была!.. Осень как-то телят караулила колхозных, а весной боронить заставили. Потом позвали: иди торговать булочками! Так вот с лотком по организациям и ходила, а лоток-то больше меня! Летом опять в колхозе поработала, а осенью стали меня звать на почту письмоносцем. Эта девочка, говорили, все бегом, все бегом, она справится. Несовершеннолетняя была, но приняли, годик прибавили. Метриков-то не нашли моих, значит, согласно акта и сделали. А мне в загсе и говорят: ой, девочка, у тебя и так-то годик маленькой, да ты еще год - тебя все старухой и будут звать. Ну, говорю, скорей налоги перестанут высчитывать! А ведь мы и не знали раньше, что когда-то будет и пенсия, не знали тогда, до войны...

И вот дали мне отпуск да отправили в Дом отдыха под Великий Устюг. Ехала я оттуда домой, и не знала, что - война. Отцу в гостинец везла вина, ребятам конфет, себе тапочки купила. Вот тебе пожалуйста, приехала с чемоданчиком! В избе развал - маму опять в больницу положили... Я все прибрала, примела, по воду сходила, самовар налила. А отец с ребятами в усадьбе картошку рыхлили. Пришли. Сосед пришел. Посидели. Ну, вот, Афонька, это сосед-то отцу, ты все говорил - война будет. Вот она и война...

Взяли отца на фронт в сорок втором, он и не вернулся. Я осталась сама шестая! Самая старшая и шестая. Вот и приходилось все делать. Мать-

то все в больнице, а ребятишкам штаны шить надо, да не из чего. Было у нас покрашено мотовье синего да белого, вот и пошла я сама сновать, да навилла, и все сделала, и наткала. Уж я плясать да вот песни петь не горазда была, а на рукоделье вишь какая переимчивая - что мать делала, все запомнила.

Мне еще лет девять было, научилась я вязать на спицах. Чулков-то в магазине не было, да и денег-то не было. Вот мать и сказала: хочешь, дак вей себе клуб, да крути, да вяжи себе чулки! Черные да белые чулки с синим полосинам я себе и связала. Вот и носила. А потом и сгодилось умение, на всю жизнь.

Как в колхозе-то работала - и бригадиром, и кладовщиком, и конюхом! А мужика в доме нет, а налогов - целая тысяча, где их выплатить? Так вот все и был у меня с собой клубок да крючок. Пашем, сядем отдыхать - я кружок и свяжу, лошади отдыхают - я еще навяжу, за день-то у меня четыре кружка - вот уж какой квадрат! Мы весной-то пока пахали, да сеяли, я на стол салфетку связала. Уж не знаю теперь, велики ли деньги за это давали, а все подмога была.

После колхоза-то меня дорожным мастером поставили. Дак и там я, пока иду 12 верст, один носок свяжу, обратно иду - второй готов. Мне кто трешник даст, кто побольше. Уж крючок в пинжаке всегда воткнен был. Чуть весной солнышко начнет пригревать, руки-то не зябнут, сию да вяжу, сию да вяжу. Вот мне и отдых, вот и денежки. Вот я годом эту тысячу и выработывала.

Другие говорят: ой, Анна, у меня и теперь твои кружева есть! Искусницей меня звали. Стоило раз поглядеть, уж я и перенимала узор. Талант, конечно, талантом, но и охота была. А у кого охоты нет на что, век того не научить ничему. Такое было поколение наше - надо было на хлеб зарабатывать. Нужда нас учила.

- Вот такая жизнь, - заключила Анна Афанасьевна. - Все пережито, все маяты перемаваны. Описать бы - целая бы книга получилась. Я все думала, где же люди, которые могут это сделать? А люди прямо на дом пришли, вот спасибо! Вот вы за меня и скажите всем, что как же оно будет вдаль продвигаться, народное искусство, если и мы, старые, от него откажемся? Так мы все перемрем скоро, никому ничего не передадим...Ладно ли это?

Дом у Ржевских - целый музей. На постели вязаное покрывало, на стене - самодельные ковры, который вышит, который из овечьей шерсти. А в шкафу и в сундуке каких только скатертей и полотенец нет! Большую выставку организовать можно.

Возле низкого окошка - станок, за ним зимними вечерами и просиживает хозяйка дома.

- Кто осудит, а кто и рассудит, что не всегда чисто и культурно у меня. Все тряпки да ниточки, все шерсть да катушки... А не могу вот, чтобы что-то в бросок пошло! Еще бы четыре руки в доме было - и всем бы работы нашла, не дала бы бездельничать! А так вот никакие пользы, никакие прока от меня на земле... Дай, думаю, то попробую, и это. Ковер вот задумала, на мешковине, а нитки - из свитеров старых. Как в журнале увижу рисунок - так и перейму. Эх, племянница вот приходила - поучи, тетя Нюра, поучи. Ей охота, она толковая. Вот я и говорю: учись, учись, учись! Меня, говорит, надо бы в школу, чтобы в школе учить этому. Дак ведь зарплату такую не выделить, нету такого закону. А то бы я бы молодяшек поучила!

«Да разве и стал бы кто учиться?» - думаю я, вовсе не оттого, что не

верю в энергию и способности Анны Афанасьевны, а потому, что и впрямь доживает свой век это прекрасное ремесло. Половики, тряпки - трудно вообразить это в молодых руках, когда в магазинах столько красоты машинного производства. Есть немало других способов выразить свои творческие склонности, и деревенский ткацкий станок - это по крайней мере наивно. Но сказать об этих думках я хозяйке не смею: так искренне болит ее душа...

На дворе у Ржевских - козлушки, на столе - разносолы. Нет, не только рукодельем занята Анна Афанасьевна, не только о несбыточном мечтает. Она и в хозяйстве стремится все иметь свое, как прежде. Другие, мол, плачут - того в магазине нет, другого. А нам дак и стыдно бы ждать в магазине: заведи скотину, и будет тебе и мясо, и молоко. Чтобы уж не стаканчиком мерять, чтобы достаток был - на то и деревня.

- Все равно не станут молодые тут жить, - робко вставляет хозяйин. - Ну-ко, скукота такая! Вот прежде...

- Ах, - подхватывает Анна Афанасьевна, - вот так бы и послушала бы, как прежде с гармонью по деревням ходили! Даже бы и заревела - вот до чего жалко... Вроде и живут теперь люди лучше, в достатке, а веселья нет. Отчего так? А помнишь, Андрей...

- Ну, - готовно откликается муж, и за этим словом встает для них обоих так много.

- Тятя горячим ножом мед в рамках режет, - задумчиво произносит хозяйка, - окошки открыты, на улице темно... А с поля, слышно, девки с песнями идут. Идут и поют:

- Гармонь весело играет, гармонист ломается.

Неужели гармонисту девочки не нравятся?

А другой на стукалке на осиновой заколотит! А девицы и запоют:

- Пастуха бабы бранят...

- Ты взяла бы чего, - перебивает хозяйин. - Вон хоть заслонку!

Анна Афанасьевна, прихватив столовый нож, нашаркивает по печной заслонке и снова начинает частушку:

- Пастуха бабы бранят - худо телоньки доят.

Не бранитесь, бабоньки, в пастве мало травоньки!

- Успевааете писать-то? - обращается она ко мне. - Я неторопоко буду говорить. Мне ведь чего охота? Чтобы оттуда-то люди оценили, чтобы сказали: дело, бабка, делаешь, и не стыдись, и не слушай, если кто насмешается.

- Ладно ты, пела, дак пой...

- Я и пою. Помнишь вон, как в Троицу из починков найдет народу?

Другая с парнем-то рассталась, у нее горе есть, дак она и запоеет, у нее поется:

- По веселому народу глазоньки раскинула.

Кого надо, на гуляночке того не видела...

А другие, бывает, уж женятся, а душа все болит:

- Погляжу я по народу - мой-то милый мужиком!

Ах, по ретивому сердечку проведите ножиком!..

Вот так и расстались мы зимой с Анной Афанасьевной - светло и грустно.

А летом снова привела меня судьба в рослятинские края. Рады мы были друг другу, как давние знакомые. Показала мне хозяйка свои изделия, которые изготовила за снежные месяцы. Поговорили мы о лечебных свойствах трав - сушит их Ржевская и каждой знает применение. Вздыхала она, что

задерживались у них с уборкой льна в совхозе, так и порывалась сходить в правление да присоветовать опыт, о котором то ли по радио слышала, то ли от людей. Одолевали их с мужем заботы по хозяйству: мечтали они привезти из лесу две повалившиеся осины, пока лист с них опадать не стал: то-то любо будет козочкам! Тут уж не полы мыть надо, извинялась Ржевская, другое подpiraет: картошку убрать, да лук вот сохнет на полу - а уж потом половики настелом и в чистоте зимовать будем!

- Да! - воскликнула Анна Афанасьевна. - Я ведь чего похвастать хотела. Нынче сама льну нарастила и намяла. Хочу все с самого начала попробовать, чтобы от грядки, от поля - и до рубашки, все бы самой! Одолею?

- Конечно, - искренне ответила я, не зная еще, как отнестись к этому странному движению...назад. А впрочем, вреда от этого никому нет, значит, и осуждать не за что. Кто-нибудь счел бы это за оригинальное хобби.

Показали мне Ржевские, как работали они прежде - и этим летом - молотилом.

- Эй, кошки, - пошутил хозяин, увидев их на печке, - вы там не спите, а пшеницу молотите!

И разглядела я в полумраке на печной спине сноп пшеницы, выращенной на огороде, и живописно свисавшие батманы нового лука, а за печкой - самоварную трубу, на которой в прошлый раз играла мастерица. И стало вдруг грустно-грустно...

И вот когда я почти собралась уходить, забывчивая хозяйка аж подпрыгнула на месте:

- Да что это я ныне? Ведь я к девкам-то не свела!

И мы подхватились и поспешили на другой конец деревни.

Подняли с постелей племянниц Ржевской - Нину и Соню - и заставили их выложить на обозрение свои произведения.

Вот тут я и увидела новенькие полотенца. По концам их - где объемной пряжей, где мулине - был выбран рисунок: полосочки и ромбики, цветочки и буквы.

- Пятеро девок до них росло, и некоторая не тянулась к рукоделию, а эти...вот! - счастливо улыбалась Анна Афанасьевна.

- Старшим-то не до того было! - вступилась мать. - Они со мной на свинарник ходили.

- И то правда, и другое - что и прежде не каждому давалось это ремесло! А Нина - та всю зиму ко мне выбегала. Видела, что тку, все ждала, как выбирать начну.

- Тут в школе старую свадьбу ставили, - похвалилась за дочку мать, - Нина носила свои полотенца для украшения!

- Понравилось девочкам?

Сестры лишь смущенно улыбались мне в ответ. Зато когда спросила их о чем-то профессиональном Анна Афанасьевна, откуда и смелость взялась!

- Вот так и запишите, что мы по поколению передали! - торжественно произнесла Анна Афанасьевна. И лицо ее в этот миг было лицом человека, исполнившего свой долг.

- Только вот думаю, что этого мало, - вздохнула Ржевская, уже провожая меня. - Они-то теперь умеют, а другие и не видывали в глаза, как эта красота творится. Вон в музее в Вологде стоит станок - стоит и стоит мертвый! А что бы оживить его, а? - У Анны Афанасьевны даже глаза загорелись. - Я

бы там в музее и показывала всем желающим, как что делается! А Соню бы с Ниной рядом посадить - что и молодяшки могут. Как, а?

«А что? - лихо подумала я. - Почему бы и не осуществить подобное? В зимние каникулы, например, когда и девочки-старшеклассницы свободны, и ребят в музее много будет...»

Анна Афанасьевна смотрела мне вслед с надеждой. А я уходила тем же полем, что и зимой, только вместо снега было оно укрыто живыми колосьями, готовыми отдать новый урожай.

Но - не случилось ничего из задуманного. Многое не случилось из того, что могло бы.

Мысль нашу о станке, работающем в музее, никто не подхватил, а сами мы навязываться не посмели. Ковры да полотенца, сотворенные Ржевской, одобрила отборочная комиссия, но на областную выставку они не попали - для всех чудес места не хватило...

Мучительно было мне сообщать в деревню об этом, но пришлось. Анна Афанасьевна сама заехала за вещами. Полотенца подарила мне - вешать, как в прежние времена, в красный угол, если он у меня будет... Не могла сидеть без дела - и в чужом доме нашла, что починить. А сама никак не согласилась лечь на чистое белье - хотя я у нее ночевала по-царски! Прикорнула на диванчике, как на вокзале, - одетая, ловящая каждый звук. Душа была у нее не на месте: дома осталась скотина да немощный муж.

А вот поди ж ты - больной-то оказалась она! Неожиданно появилась у меня опять - приехала в областную больницу на обследование. Мучила ее жажда и хотелось пить только кислое, холодное... Что у нас врачи посоветуют? Навыписывали чего-то. Рентген сделали. Поезжай, бабка! Хотя совсем и не бабка она была... Ни крохи у меня не съела, а стакан, из которого пила из-под крана, прихватила с собой, чтобы выкинуть. От греха...

Сказать ли стыдную правду? Я вздохнула облегченно, когда она уехала. Дел было неспорно. Да и всяк хорош, все-таки, на своем месте, а не в гостях.

В рослятинские края я попала вновь через несколько месяцев. Шла в Рысенково, мечтая о встрече. А застала очумевшего от горя Андрея Ржевского, который сидел посреди избы и решал, как поступать с хозяйством: одному ему ничего не надо!

- Бывало, минуты не посидит летом... Все клок сена несет козе... А тут косил у кладбища... лежит, не встает...

Я кожей ощутила, как разом рухнуло все прекрасное, что создавалось волшебными руками Анны Афанасьевны. Кому нужны теперь ее тряпки, ниточки? И не случится ли подобное однажды на всей нашей позабытой земле, если не предупредить это?

Но могла ли я лично противиться такой возможности более, чем делала это своим словом?... Я и так ловила каждый лик святости, чтобы поведать о нем людям.

...Долго путь от деревни к деревне - когда мороз за двадцать, когда ноги вязнут в снегу и устали руки от ноши. Но шагается километр за километром до большака, и бескрайняя белая пустыня погружает в воспоминания. Столько славных людей стали близкими!

Но что это? Аж до земли согнувшись, вперед не глядит, только палку-

подмогу переставляет - древняя старушка с рюкзаком на спине.

- Здравствуй, бабушка! Далеко ли?

- Здравствуй, милая, - задирает кверху любопытное лицо. - Да по хлеб вот выбралась.

- Пойдем вместе!

И, вздохнув, ступаем вдвоем до самого магазина.

- Что же хлеба-то тебе никто не принесет?

- А никого, милая, нету родства-то... Только вот крестница и навещает.

Ступает моя попутчица споро и верно, словно и рожден человек ходить вот так - от пояса параллельно земле. И несет она в себе какое-то мудрое знание о жизни, которое светится в выгоревших глазах ласковым светом.

У крыльца магазина мы останавливаемся, пристроив ношу, и самое бы время поговорить, самое бы время... Но - ждут меня люди в других краях. И вот она, долгожданная попутка, не сесть в которую уже нельзя.

- До свиданья, бабушка! - машу ей из кабины. - Дай Бог тебе здоровья до следующего лета. Авось свидимся!

- Заезжа-ай! - долго глядит она вслед, опершись на палку.

...И стоял тот снег, и напिताись водою трава, и поднялись хлеба золотыми разливами. Многое изменилось вокруг, совершая извечный круговорот. И, подвластные времени, подвинулись ближе к вечности люди. На морщинку прибавилось на лицах у стариков, чьи дни в своем подчинении законам природы так похожи друг на друга.

Умерла в Рысенкове Анна Афанасьевна Ржевская. Горько. И шагаю я от ее дома по знакомой дороге, и узнаю, и не узнаю ее. Где-то непадалеку деревенька Лукерино, а в ней - та согбенная старушка, что встретилась зимой. Заглянуть разве?

Указанную мне калитку открываю боязливо - что как не признает меня хозяйка?

А дом - на запоре. Но и убежать дальше собственного огорода некуда. Я захожу за дом, угадываю на грядках сложенную пополам фигуру и снова поражаюсь - как может ходить такой согбенный человек?

- Я еще и кошу за проценты! - гордо отвечает старушка, отирая пыльные руки. - В совхоз накусишь, и мне для козы будет. Глядишь, за труды еще и мучки выделят...

- Сколько же лет вам?

- Дак 77, ну. У нас Петров день-то 12 числа в июле живет? Так и есть, 77 стукнуло.

- А согнуло-то тебя так давно?

Она не обижается и отвечает чуть насмешливо:

- Да по молодости... Пастушила я колхозных коров, домой бы уже идти, а две поотстали. А и пошла по них, по хромых. И вижу - одна ногами в колодец попала! Я за колокольницу у ней ухватила и кричу нещадно - идите с веревкой!.. Вот и согнулась сама-то.

- Помню я про вас с зимы-то. Вот и фотографию привезла...

- Ой, дорогая, - разглядывает себя Мария Семеновна. - Лонись ведь это я шла к селу, а ты меня и так, и эдак... Признаю ведь я тебя, признаю! Не зазря сорока на колу ныне щелкала - гостю быть!

И вот в избушке мы, как водится, пьем чай. Кровать, стол да горка - вот и все убранство; а за занавеской - лук рассыпан по полу для просушки. Полна заботами осень года, да и осень жизни тоже. Все уже в прошлом, в

воспоминаниях, но весенняя радость нет-нет да и напомнит о себе. Так и мы коснулись прошлого, в котором разное было, - и обиды, и утраты, но поскольку заповедное оно, то и останется между нами.

- Вот черницы я натолкла с песком, ты ешь тоже. И пироги проведывай. Я-то заскребышек утром съела, не знаю, вкусны ли эти, - говорила хозяйка.

А мне отчего-то все вспоминался и вспоминался ее рассказ о том, как приваживали привозных коров к новому месту. Солили, оказывается, хлеба кусок, давали понюхать сначала новенькой, а потом всем коровам в стаде, и все крошечки потом им скармливали, а остатки - ей, чтобы не убежала, не боялась. Кормили ее и приговаривали:

- Пеструшенька моя, вот тебе родина твоя! Пеструшенька моя, вот тебе родина...

И так три раза. И действовало ведь!

Много чудес в жизни, как бы ни была она пропитана несчастьями. И как чудо, которому быть бы в веках, - вот эти женщины в русских деревнях. Где родились, там и пригодились, куда «в замуж» вышли, там и век доживают, там и родина, там и смысл. И хочется снова и снова смотреть в их лица - ясные и доверчивые, словно все у них в жизни еще только начинается...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. НОЧНЫЕ АНГЕЛЫ

Бабушку мою тоже звали Лидией...

Ну и что?!

А ничего. Я сама это понимала. Но когда впервые получила от Черепановой открытку с корявым старческим почерком, сердце мое сжалось над короткой подписью: «Твоя Лида».

Ну какая «моя»?! Совсем посторонний человек. И почему, почему моя душа должна постоянно болеть о ней? В конце концов, у нее в деревне есть и родственники, и просто соседи...

Но разве об этом речь? Мою бабушку тоже звали Лидией. Вот и все. В нашу первую встречу я так и сказала Черепановой радостно: «А мою бабушку тоже звали Лидией!» Лидия Никифоровна улыбнулась сдержанно, и взгляд ее, кажется, потеплел... Нет, он должен был взнись горестно: у нее-то нет и не было внуков! Потому что и детей не было, и мужа не было... Наверное, она подумала тогда: вот бы у меня была такая внучечка... «Приезжай! - сказала она на прощанье. - Ты мне как родная стала... Добрый ты человек. Я уж как не люблю таких, что должность заимуют и - гордые!»

И я приехала еще и еще. А между поездками получала открытки с короткой подписью: «Твоя Лида».

Я поняла потом, в чем дело. В них, во всех этих женщин, я вглядывалась, как в свою бабушку, - с которой не дано было мне поговорить в зрелости. Я рисовала их словесные портреты, словно ее портрет, - который так и остался недописанным. Я нуждалась в мудрости и тепле этих женщин - потому что была неприкаянной после смерти своих стариков.

И нигде, ни на ком не могла остановиться - потому что это каждый раз была все-таки не моя бабушка, не моя земля!..

Но они меня сформировали, эти женщины! А я и не заметила. А я наивно думала, что правильно мыслила сразу, сама по себе, от рожденья смелая!.. Как бы не так! Стоит только в дорожные блокноты заглянуть - и все ясно станет. Я ведь каждое слово за ними записывала, чтобы потом для

газеты только выстроить логично, - никакой отсебятины...

А уж говорить-то они умели! Но Лидия Никифоровна - особенно. Грамотная была.

- Отец наш у попа учился, - рассказывала, - первый был ученик. Я пришла как-то, а поп и говорит: чья ты есть такая, скажи? В какой класс ходишь? Все выпрашивает. Ну, я сказала, чья, а он и говорит: ты должна учиться! И стали они мне давать книжки детские. Я выучила их чуть не наизусть! Вот пришла отдавать, а поп и говорит: ну-ка, Никифоровна, как ты понимаешь в учебе? Я и начала рассказывать. А он меня гладит по голове: молодец, молодец! Вот хорошо, вот у тебя понятие хорошее! Надо тебе учиться... И вот приходит как-то мужчина и говорит: хозяйюшка, у тебя столько девочек, пошли которую учиться! Ну, а я четвертая была по счету. Старшие-то по хозяйству помогали - у нас хозяйство хорошее было, скота людно. А мне мама и говорит; пойдя когда, тебя еще не почто дома держать! Вот я и выучилась читать...А грамотных у нас в деревне не было. Вот я как только книги ни добывала! Всех обегая. Если приедет какой торговец в край, дак ему скажут: тут вот девочка есть, дай ей книжку! Тогда ведь худо было - чернил не было, а букварь был один, а нас четыре девочки ходили, и то листок каждый сам по себе... А потом старшая сестра вышла замуж. Мама и говорит: я вас пою да кормлю да одеваю, а вы эдак убежите? Мне такую неприятность принесете? Не ходи больше учиться, сказала мне. Закон! Не уйдешь. Вот и стала я дома. Скота-то много было. Пять коров, дак пять и телят будет, а овец-то сколько, да поросята, да куры, да телята - всех надо накормить! Так целый день и ползаешь...При маме нельзя было читать. Я когда залезу на печь да книгу-то утащу, она и заглядывает: смотри, ты пряди! Опять за книгу? А сама-то любила слушать, если интересно. Потом мне стала говорить: ты не ходи на беседу, я тебе лучше сказку расскажу. Она много сказок знала! Вот она мне сказку расскажет, а потом я почитаю книгу - она послушает...Я так всю жизнь и читала, как время было. В колхозе-то не было, а когда на базе работала или в магазине - было. Я тихо, конечно, читаю. Но были у нас в раймаге и грамотные; одна учительница была. Мы кончим работу, соберемся в будочке и до двенадцати часов, а то и до ночи читаем, если попадется хорошая книга. Был там кладовщик, дак все нас ругал: опять несет вас со своим книгам! А мы почитаем, да и оставим. И он тоже увлекся: и меня, говорил, вовлекли! И он не идет домой, читает. Хорошее это дело...

Вот так разговорились мы с Черепановой в мой первый приезд. Подивилась я, что на столе у нее книги. У молодого человека не часто их в деревне встретишь, а тут...

- Это мне девочки из библиотеки носят!.. Больше всего мне французские романы нравятся, - принялась пояснять сама. - Как в этом вот, «Жизнь» Мопассана...Как Жанна там всех любила, как целовала всех букашек, выйдя из монастыря. Думала, что такая вот и есть любовь. А этот подлец...Как его?

Лидия Никифоровна поглядела на меня, ожидая помощи, но не дождалась и закончила:

- Очень жалела я эту Жанну!

- Да, женская судьба повсюду незавидная! - согласилась я, подводя к нужному мне разговору. - Потому и песни, наверно, грустные сочиняли.

- Конечно, поэтому, - согласилась Черепанова. - Раньше все больше про любовь да про измену пели. Ведь как было? Вышла, значит, надо с мужем

жить. Вот и плакали через песню... - И неожиданно затянула: - Темной ночью холодной скрывался месяц в облаках. На ту зеленую могилу пришла красавица в слезах...

А я вспомнила вдруг ярко нашу самую первую встречу. Расположились перед зрителями Вологды рослятинские женщины - кто лапти сидя плел, кто стоял рядком, подпевая солистке. Была в группе и мастерица Ржевская, одевшая потом в свои домотканые сарафаны целый молодежный коллектив... Но главной фигурой была, конечно, Лидия Никифоровна Черепанова. Она сидела посреди сцены со своим подогом, как царица с жезлом, и высоко-высоко, для других недоступно, тянула:

- Закатилось красно солнышко-о за темные за леса-а,

Все-ти птички приуныли, час единая не спо-оет...

Как под деревом ветвистым стоит хижина-а но-ова.

Что во этой новой хижине призадумушка-а жи-ила,

Ой, какая призадумушка, она солдатская-а-а жена-а...

Специалисты за моей спиной только охали восхищенно - не слышали такого исполнения!..

Для Лидии Никифоровны то была первая и последняя дальняя поездка: больше ноги не позволили путешествовать. Поздненько создали у них фольклорный коллектив... И вот сидела теперь она в глуши в одиночестве со своим уникальным голосом и вздыхала:

- Эх, когда я в моготе-то была, и ездить бы! С концертом-то я никогда не отказалась бы, если бы ноги ходили. Свезут бесплатно, и накормят, и на людей посмотришь на добрых. Я ведь прежде всегда на людях была!.. Это ведь не позорно, с песнями выступать, это культура. А наши старухи смеялись... Чего? Когда каждый день с водкой пируют, им любо, а тут - нехорошо... Теперь вон старину-то стали любить. Все прежние песни подняли и по радио, и по телевизору. Только вот думаю: почему нынешние-то авторы, такие грамотные, а сочинять не умеют?! Вон ведь какие песни были про любовь, про жизнь... «Плещут холодные волны...» - вон ведь как сложено! Или возьми «На муромской дорожке», «Как родная меня мать провожала», - она листала старый потрепанный песенник. - Эта дак песня по тому времени справедливая! Вон как мать говорила: «Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты! Без тебя большевики обойдутся!» Не понимали еще мамы новой жизни...

- А что? - спросила я с подвохом, - шибко хорошая жизнь получилась?

- Хорошая, не хорошая, но жили по совести, - отвечала она. - Нас не посылали на работу, мы сами шли. А теперь совести не стало у людей... У нас вот, у докольных, никто не спрашивает, как надо жить. А когда бы спросили, я бы ответила: русского мужика нельзя кормить досыта! Он только впроголодь работает в охотку!.. Раньше, когда жили одиночно, то где хороший хозяин был, там и жили справно. Натуру человеческую надо знать. Почто вот Брежнев всех так распустил? И этот ведь, Андропов, рядом ведь с Брежневым был, чего же молчал? А теперь где ему все исправить? Не успеть..., - Лидия Никифоровна кивала на телевизор, где показывали нового «главу». - И почему у нас молодых править не ставят, а?

Ну что я могла ответить, если тот же самый вопрос жил давно и во мне, и во всех? Разумней было слушать, что я и делала благодарно.

- Жизнь-то нам дана всего 60-70 годов, и ту не можем прожить на славу... Я вот шью или вяжу, а все телевизор или радио слушаю. И вот я как думаю: надо сразу разоблачать человека! Вот за столом с ним сидишь, и

говори, что не туда, мол, поехал ты, брат... Сталина обругали, этот Никита. А ведь все видели! Надо было очурить его: не туда пошел, мужик! А молчали. Вот и дела такие... Где вот клевер теперь, где семена его? Хоть бы престарелые насушили да выколотили... Того времени частушку знаешь? Травопольная система, до чего ты хороша. В поле травка да цветочки, а в амбаре - ни шиша!

...Да, знали бы они, эти доколхозные люди, что будет у нас еще похуже! Конфеток старухам в деревню не возят - дефицит... Ради этого они спину гнули? Ради того, чтобы дрова привезти, распилить - за водочный талон? Это вверху взгляды менялись, у руководства, - то в одну, то в другую сторону нас заносило. А у тех, кто держался за землю и знал ее, у тех всегда все было четко и ясно: работать надо! Честно!

- Что вот нынче - по десять, по пятнадцать лет учатся. А потом еще работать учатся! А мы с семи лет на кусок зарабатывали, сразу понимали, что к чему... И правительство наше - ведь не поработает, а деньги получит! Вот и нечестно все поэтому. Никто теперь работу не меряет. И только старые люди переживают, что все плохо... Нет, нельзя больше эдак жить! В любом деле надо совет с народом держать, со старшими...

Думаете, стала бы я записывать это откровение, когда уже всплыло у нас странное понятие «человеческого фактора»?.. Нет, Черепанова, как и миллионы простых людей, все чувствовала правильно до того. Да никто ее не спрашивал. Ни из Москвы. Ни из области. Ни из района. Ни из колхоза. Сиди себе, бубни под телевизор и не лезь не в свое дело!

Кого виню? Не исполнителей высшей воли, во всяком случае. Они тоже были бесправны. Да и я, знавшая Лидию Никифоровну на протяжении тех смутных лет, когда у нас менялся глава за главой, я тоже не потрудилась обнародовать ее мысли. Не ахти какие гениальные - а по сегодняшним меркам и вообще устаревшие! - но так нужные в то время! Почему же не спешила я с публикацией? О многих менее мудрых женщинах писала, а тут... Или тоже опустили руки? Боялась, что редактор не отважится ставить необычные мысли в полосу? Ведь сняли в свое время из партийной газеты очерк про «горелую» Катю Осекину, только молодежка и осмелилась его дать... Или я перестала верить, что слово способно что-то изменить? Пишешь, пишешь, а в душах у тех, от кого хоть что-то зависит, никакого отзвука! Честно ли тогда складывать горячую строчку к строчке только ради денег?..

А теперь вот разобралась в наших давних с Черепановой разговорах - и снова поразились государственности мышления рядового человека.

- Погляжу вот в окно - лучшее поле два года пустует! Так и вспомню стихи: «Поздняя осень, грачи улетели... Только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она...» Нет, у нас такого никогда не было! Повывели народ из деревни. Почто бы вот выжили из маленьких, из дальних? Они бы жили там и работали. Летом и косили бы. А теперь эти сенокосы зарастут!.. А коров почто столько пускают? Лучше бы меньше, но лучше кормили. Вроде и не страшные коровы, а вымян нет. Значит, не продаивают. Раз нет, два нет, вот она и убавит вполовину... Я все ночи не сплю, все думаю, думаю, как дело наладить...

Похоже, они параллельно думали, Черепанова и наши нынешние правители. Как друг у дружки подслушали мысли!

- Правильно Горбачев сказал, - говорила мне Черепанова в последний мой приезд, - надо ставить в руководители того, кто знает землю. Я не пони-

маю, почему так деревню ведут? Ведь будь того беднее человек, он за хлеб все отдаст. Без деталей заводских еще можно прожить, а без хлеба - нигде никому не прожить! Значит, надо в деревне условия создать лучше, чем в городе, тогда у нас и будет все!

Будет, наверное, будет. Только им, старикам нашим, на этом свете покоя и довольствия уже не знать. Не дождутся. Одно у них переживание осталось:

- Кабы без этого военного пугала, жили бы и жили, и все бы неполадки можно уладить!

Только здесь, неопытная в международных делах, моя деятельница подкачала: не смогла предвидеть грядущих на планете перемен. Охала, веря, что только нас обижают, а сами мы - ангелы...

- Американцам стыдно бы должно - зачем людей убивать? Не скотина ведь! Видно, кругом теперь коммунисты есть... Коммунисты, некоммунисты, а все умрут. Почто же убивать? Пожалеть надо... Вот Джонсон, Кеннеди - эти дружили с нашими. А потом чего-то раздружились. И что нам делить с американцами? Мы к ним не пойдем, а они к нам не согласятся - некультурно, скажут, у вас, и холодно... Вот и надо, значит, дружить.

Кто бы спорил!..

Ах, Лидия Никифоровна, далекий добрый человек! Жива ли она теперь? Давно не шлет мне открыточек. Руки на груди сложила или - очки подвела?..

Когда она приезжала выступать в Вологду, сводил ее кто-то к окулисту, рецепт выписали. Радовалась старуха, бандерольку из Вологды ждала. А девушка та сердобольная переехала куда-то, устраивая личную жизнь. И не смогла я сыскать концов той дорогой бумажки... А в Росляatine давно ставку глазного ликвидировали - не положено! Езжайте в райцентр! С больными-то ногами...

- Давай хоть линейкой померяем! - просила Лидия Никифоровна, когда я объясняла, что надо непременно знать расстояние между глаз, иначе очки не купишь. Наверное, обиделась она на меня, решила, что трудов я испугалась...

Видят ли сегодня ее глаза книжные строки, или довольствуется она голосом радио?

Починил ли ей кто самовар? Я долго и бесполезно пыталась прочистить ломкой проволокой забившийся краник...

Не забыть мне последней нашей встречи. Я приехала летом, после обеда, и в аккурат угадала к работе: Лидия Никифоровна вытаскивала из гряды лук. Долго она не видела, что я подхожу, а когда разогнулась, то совсем не удивилась и не ахнула. Это когда ждут тоскливо изо дня в день, тогда и радуются сильно. А ей меня чего вспоминать было? Залетная птица...

Поглядывая на тучу, мы перетаскали лук на крыльцо. И там, когда уж хлынул ливень, долго сидели и со спокойной душой обрезали его, готовя для батманов.

Дождь лился долгий и мощный. Закончив дело, я стояла одиноко на крыльце и с первобытным чувством ужаса смотрела на мутную падающую стену. Не верилось, что где-то на земле может быть тепло и сухо...

Черепанова нарушила мое оцепенение, выйдя к застрехе с пустым ведром. Все бачки, тазы и корыта давно были полны воды, а мне ни к чему... Она пристроила под поток новую бадью и исчезла в доме, провожаемая

грохотом струи.

Я поняла вдруг, что надо делать. Зашла в избу, быстренько собрала половики и принялась намыывать незамысловатые хоромы. Особенно старалась собрать пыль по углам и под кроватью, куда хозяйке было не залезть...

За это время Черепанова нажарила картошки и согрела чайник. Тучу отнесло далеко, к горизонту, и из-под нее выглянули прощальные лучи. Улыбаясь им, я вымылась из бочки дождевой водой и села за стол. Мы по-семейному отужинали, строя планы на завтра. Посмотрели телевизор.

- Ну почто же они так! - опять ругала Лидия Никифоровна американцев. - Богу молятся, а убийством занимаются! Жили бы все в мире... Одно переживание из-за этого телевизора. А меньше знать лучше! Вон ко мне придет соседка вечером, как до стула коснется - и спит уже. А я все слушаю, слушаю, и потом ночь думаю, не сплю...

Ворочалась она и в эту ночь. Но все-таки уснула. Утром нас ожидал поход в лес. Я не могла отказать старухе в такой просьбе - сопроводить ее по знакомым местам.

- Одна-то боюсь, - пояснила она, - у нас соседка померла нынче в лесу...

Проснулась я сама и, не обнаружив Лидию Никифоровну в постели, сунулась к окну. Утро было туманное - в двух шагах ничего не видно...

Столкнулись мы на крыльце.

- Баню вот затопила, - спокойно сказала Черепанова. - Вишь, - махнула рукой, - как бело! Если поднимется - не будет дождя, а если падет...

К девяти часам туман рассеялся вверх, и мы отправились в ближний лес. Паутины на елках были еще в росе и красовались сверкающими на солнце узорами. Трава тоже была сырой, но нас спасали сапоги.

Черепанова брела по кромке леса, не обращая на меня внимания, погрузившись в себя. Только палка ее мелькала впереди, разыскивая в зарослях грибы. Ничего, конечно, не встречалось. Да и лес был какой-то неуютный, чужой. Я откровенно тосковала по нашим сосновым деревенским проселкам... А спутница моя сияла! Это было странно и - понятно.

Она и дома потом долго была сдержанно-торжественной, точно вернулась не из лесу, а из церкви. И только возле шкафа, готовя белье для бани, внезапно сникла.

- Бархат вот на гроб у меня припасен, - показала она небольшой отрез. - А может, мне не здесь и умирать-то придется, а в доме престарелых... Некому за мной ходить... А платей столько останется - куда?

Ничего я ей тогда не ответила. Горько и зябко стало, как когда-то рядом с бабушкой. Так всегда, наверное, бывает, когда повеет вдруг смертью...

Мы долго сидели в бане, впитывая усталым телом тепло. Лидия Никифорова изредка взглядывала на меня, точно сравнивая с собою, и сказала наконец:

- Я как будто вчера была молодая... И вот на тебе! Потому и думаю - неправильно кто-то сделал. Надо бы жить-жить, да и помереть сразу! Ведь что старые? Только маются...

- А вот давайте я вам здоровья наворожу! - весело сказала я, вспомнив бабушкину приговорку. - Ну-ка, где у нас веник?

Черепанова вынула из котла намокший там веник, встряхнула и оглядела его, умиленно поворачивая:

- Вот береза - тоже божественное дерево. Сколько про нее песен и сказок сложено!..

- Да, - коротко согласилась я и принялась похлопывать Лидию Никифоровну по спине, приговаривая: - Ехала из-за моря хавронья, везла целый короб здоровья...

Потом Черепанова отдыхала в предбаннике, тяжело дыша. А я, выждав время, подровняла ей волосы и постригла ногти.

- Дай тебе Господь здоровья, - сказала она тихо и робко, неумело погладила меня по голове. - Уж с этим, видно, и умру теперь...

- Да зачем же умру! - воспротивилась я. - Велики ваши годы!

Лидия Никифоровна промолчала, зная свое. И стала медленно намыливать. Намылила мочалку и, кивнув на нее, сказала:

- За вежотку-то тебе какое спасибо! С лямочками! Одной-то хорошо...Как моюсь, все тебя вспоминаю.

- А разве моя это?

- Твоя-а! В тот раз ты мне оставила...Вот я и берегу, из бани домой уношу, чтобы кто не взял тут.

Позже, напившись чаю, мы лежали в постелях, не желая засыпать, но и не имея сил разговаривать.

- Вот подумаю сказать что, - жаловалась Черепанова, - и вдруг ровно шторой от меня закроет!

Я успокоила ее, как могла. А она спохватилась вдруг, потянулась к столу:

- Надо повесить крест-то на себя, а то умру - никто не наденет... - Она вздохнула, ложась поудобнее. - Вот я все думаю - почему у нас народ дичее всех оказался? Надо ведь было поломать все церкви! Вон у нас в Андреевской...Я так и заревела.. Такое учреждение порушили - почто? А с кладбищем что сделалось? Все звала я женщин - пойдем вычистим кладбище! Хоть мелколесье вырубим...Не пошел никто.

И опять я смолчала, не зная, что отвечать. Права она была. Но она ведь ждала не согласия, а успокоения...

За окном совсем уж стемнело, я дремать начинала, когда она вновь вдруг заговорила:

- А еще я вот что думаю...Что я жизнь прожила? Не посмела закона нарушить. А ведь хорошие люди встречались...Один из прежних ухажеров звал сойтись, а не пошла я - загордилась. Спета песня - снова не начнешь!..А женихов-то для нас не лишку было... Вот одна и прожила...А был бы у меня теперь ребеночек - все бы не так одиноко. Какой бы это грех, правда? А ни разу в жизни против закона не пошла... Не могла.

Сквозь сон, борясь с ним, я пыталась запомнить, что и как она говорила, чтобы наутро записать. Да так и не заметила, как провалилась куда-то...

Спала плохо - просыпалась, вертелась, силилась что-то вспомнить. И вдруг окончательно очнулась от странных звуков - точно плакал кто-то. Я села на диване. Огромная луна смотрела в окно, кинув по полу дорожку. А Лидия Никифоровна...она пела во сне! С легкой улыбкой на устах, помолодевшая, она пела, сама того не ведая! Какие добрые ангелы кружили над ней в тот миг? Что обещали? Никогда я не узнаю...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. ЯГОДИНОЧКУ УБИЛИ

Нигде нет таких звезд, как в деревне. Небо и помню с той поездки - звенящий черный шатер над головой, а я стою посреди поля, запрокинув голову. Звезды мигают во мраке, искрятся, затягивают душу в свою бездну, и сладостно оттого, как никогда прежде, - словно маялась душа в поисках пристанища, и вдруг - иные песни, иная музыка зазвучали для нее... А ведь что и случилось? Ничего вовсе. Просто в снежном просторе без конца и края, рядом с одиноко светящим фонарем, я стою, согретая мыслью о хороших людях. И не щиплет мороз, не кусает щеки - за спиной моей, на горюшке, ярко светит огнями затерянный клуб. Там, за сценой, ОНИ. Переодеваются...

Не раз ездила я с нюксенским народным хором по району. Каждую зиму слали мне женщины приглашения: *«Мы снова продолжаем свои гастроли. Сделали уже семь/двадцать, тридцать/ выездов. Встречают нас везде хорошо, в газете пишут про наши выступления. Но мы на достигнутом не хотим останавливаться. Собираемся вечерами, повторяем старое, разучиваем новое. Приезжайте, съездите с нами. А то годики идут. Нам ведь по 70 стукнуло! Приезжайте!»*

И вот я выбралась опять. И летим мы по снежной дороге, летим в автобусе. Показываются в проходе чемоданы с костюмами, счастливо взвизгнув, уселись на коленях гармошки. Рыжей лисицей помчался за автобусом закат, да так и отстал, помрачнел на глазах. Огни зажглись в избах вдоль дороги, и тьма накрыла снега.

Частушки рвались и рвались сквозь замерзшие окна автобуса, смеялись одна другую, и шофер не мог сдержать усмешки от озорства и веселья пассажиров.

...А клуб встретил нас замком. Такого еще не бывало при мне. Разыскали где-то ключи. Но радость моя уже померкла. Только певичцы, ко всему привычные, не сникли. Носили из автобуса чемоданы, хлопали дверью, шутили. Может, за оживлением этим прятали тяжелую горечь, и от меня прятали особенно?

Я поразилась бесхозности здания. Парнишка, открывший клуб, провел гостей в комнату за сценой - переодеваться. Шелкнули выключателем - темно.

- Да тут лампочки нет!

Выкрутили в другом месте, принесли сюда. Парнишка влез на стул, поделал что-то на ощупь и сообщил из темноты:

- Не-а. Патрон сломан...

Тогда женщины задернули занавес, прикрыли газетами обнаженные окна и стали наряжаться прямо на освещенной сцене.

А я спустилась в зрительный зал. Два мальчишки в углу по очереди крутили пластинки: один ставил быстрые ритмы, другой все пытался дослушать песню «Дереvenька моя». Она была слышна мне и в коридоре, на стенах которого я обнаружила рваные обои, пожелтевшие плакаты.

- Стулья бы надо! - нашел меня кто-то из женщин. Мы отправились на поиски.

Заглянули на темную веранду - на полу там угадывалась свалка.

За одной из дверей постукивали. Открыли - в студеном помещении с выбитым окном одинокий молодой человек пытался играть в бильярд. Шары глухо падали на пол: не было сеток, чтобы задержать их в луае...

Щелкнули выключателем в комнате с надписью «кабинет директора».

Там разбросаны были рваные журналы, битые пластинки, лампочки, балалайки без струн. Перешагивая через следы давнего веселья, мы выбрали два стула покрепче, снесли их на сцену. И я поспешила прочь.

Вот тогда я и вышла на улицу. Далеко-далеко светилась огнями деревня. Ну разве захочется кому-то идти оттуда на концерт в такой клуб! Вся надежда была на дюжину, которые вот-вот должны были закончить работу...

Досада и непрощенная злость скреблись в моей душе. Утопая в снегу, я спустилась по едва заметной тропке почти до гудящей фермы. Одинок горел фонарь посреди спящего поля - и мириады звезд по-родственному взирали на него с высоты. Задрал голову, я стала смотреть, смотреть в манящую бездну... Она затягивала, всасывала душу в свою прекрасную гармоничную бескрайность... И вдруг оттуда, из ледящей вечности, снизошло на меня удивительное желанное успокоение. Я смиренно приняла вокруг все: и заброшенность клубика, и безлюдье, и детскую, вызывавшую досаду оживленность пожилых артистов. Я словно узнала, что по какому-то большому, космическому счету эти люди правы, бесконечно правы, и нужно делать то, что они делают, не взирая на помехи.

Не помню даже, как я вернулась в клуб, заняла место в почти пустом зале и стала ждать, уверенная, что люди придут. Изредка хлопала дверь, слышался топот обиваемых от снега валенок, и нас, зрителей, становилось на два-три человека больше. Первые ряды заняли, конечно, ребяташки - самые благодарные и самые невзыскательные судьи. Прибrellи старухи с палочками, в повязанных на глаза серых шалях. А когда концерт уже шел вовсю, на последних рядах оказались и несколько молодых пар.

Что случилось в тот вечер в позабытом деревенском клубе, и случилось ли? Пели да плясали артисты из нюксенского народного хора, в очередной раз разворачивая свою программу, посвященную сорокалетию Победы. Им хлопали. Старухи - те плакали. А молодые, что скрывать, порой даже не прятали усмешку: все теперь на телевидении воспитанные, местный уровень исполнения от столичного отличают и, если кто «петуха» пустит, заметят. Да и просто непонятно юным - чего старикам дома не сидится, ездят, выплывают?! Впрочем, и молодые все равно смотрели, не уходили. И заметила я, что чем дальше, тем реже мелькала на губах у них ухмылка...

Никуда не денешься от великого чувства, какое рождается в зале, когда поют люди о собственной жизни и личной боли. Это они, эти самые женщины, было время, выводили «По дороге неровной, по тракту ли...» Это они, когда грянул военный час, запели частушки, авторов которых и не найдешь теперь, потому что в каждой душе находили они отклик и казались собственными: «В наступленье фрицы шли, хвастаться любили, а под Курскую дугой им хребет сломили!» Это они, оглядываясь назад, на подвиги своих земляков, слагают новые частушки и поют их в районе повсюду: «Кормановского героя была ловкость велика, его мастером прозвали по захвату «языка»!»

Но главные и самые сильные строки в концертах нюксян - всегда о женской доле. Вся она давно зарифмована и оплакана...

Мы давай с тобой, подруженька, винтовку изучать,

Добровольцами поедем наших дролей выручать.

Сколько грядок в огороде, столько ягод во саду.

Мы с товаркою готовы к обороне и труду.

Ягодинка изучает в армии винтовочку.

Я, девчонка, ухажу на лесозаготовочку!
 Ягодиночку-то ранили у Дона у реки,
 Он остался, роза алая, без правыя руки...
 Пишет братец из окопа: «Милая сестреночка,
 На моих глазах убили моего миленичка».
 Боле разу не надену кофточку суконную -
 Дожидалась письма - прислали похоронную!
 Ягодиночку убили и засыпали песком,
 Не играет боле веночка веселым голоском...

Глазами читаешь эти строки - и то сердце сожмется. А слушать? А видеть плачущие глаза?.. Сколько раз в ухоженных и заброшенных клубах выходили женщины на сцену и возвращали свою и чужую боль - кто мужа, кто брата, кто отца убитого вспомнит, и долго не просыхают слезы на лицах, а их и не смахивают, таких слез не стыдятся. И никогда не считали женщины, сколько народу в зале, потому что не ради собственной славы пели; им важна была память, которая в концертах вставала из забвения и жила уже сама по себе, наполняя пространство образами ушедших...А в небесах в это время мигали и падали, падали таинственные звезды...

Я впервые увидела нюксян лет пятнадцать назад. Только-только начинала я приживаться в Вологде. Только-только схоронила бабушку. Только-только открывала по-настоящему глаза на мир. И вдруг - областной смотр художественной самодеятельности.

Я сидела в зрительном зале и замирала от обилия чудес, сменявших на сцене одно другое: тальянки, пастушьи барабанки, танцы-«восьмеры»...Никогда и нигде я, ленинградка, не слышала и не видела ничего подобного! Никогда и вообразить не могла, что на звуки голоса так вдохновенно может отзываться сердце!..Будто свет явился мне тогда, обозначивший впереди весь мой путь. И я пошла по нему, вслушиваясь в старую народную песню. И обретая себя.

А через несколько лет было знакомство. На фольклорном празднике в Великом Устюге. Я услышала снившийся мне голос той давней, с красным бантом тальянки, и пошла на него, покорная предчувствию. И увидела ту малютку-тальянку и руках у веселой женщины, которая кивнула мне, зовя за собой...Сколько частушек тогда перепели для меня нюксяне - не счесть! На сцене не дали им развернуться вволю - так они на улице свое взяли! И народ собрался вокруг не избранный, не начальственный, как в зале, а свойский, простой, на открытость отзывчивый. Такой все поймет. И вот тогда...

Как сейчас вижу этот миг: притопнула Филинская ногами, прошлась по кругу, и готовно прильнула к ее дроби гармошка.

- А ну-ка, граждане, по леву сторону,
 Да я военную спою «Семеновну»!

И эхом отозвались ей женские голоса:«Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, да я военную спою «Семеновну!»»

Как хорошо, что был у меня в руках магнитофон, - никогда больше не спела Филинская эти частушки так! Что тогда был за момент? Редкий какой-то, невозвратный...

- А раньше жили мы, цвела рябинушка,
 Да защищать страну уехал милушка!
 - Ла-ла-ла-ля-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла,

Да защищать страну уехал милушка! - подхватывали женщины припев и дружно замолкали перед новым куплетом.

- А мы простились с ним под березою,

А он махал, махал букетом-розою.

- Ла-ла-ла-ла-ля-ла...

Голос у Филинской был уверенный, не утративший молодой силы; все невольно затихали, вслушиваясь в текст.

- А встала утром я, да умывалась,

Мое сердячко заволновалось.

Заволновалось мое сердячко,

А тут и вышла я да на крылячко.

А у крыльца стоит да почтальон лихой,

Да подает письмо, не говорит со мной.

Я взяла письмо, а пишет милый друг,

Да покатались да мои слезы вдруг...

Я думала, мне показалось, но нет - голос Филинской дрогнул раз, потом другой, а когда запела она, как «от ранения да помер миленький», он совсем сорвался вдруг, и целый куплет пришлось ей под музыку без слов продобрить по каменной мостовой. Припев в этом месте тоже зазвучал обрывисто, и женщины порознь заотворачивались к стене...

Много позже, вспоминая тот день и меня с магнитофоном, они так и спросили:

- Это ведь вы тогда плакали?

- Потому что вы плакали, - защитилась я, вновь близко ощутив те слезы, неожиданное и сильнее которых, быть может, и не бывало в моей жизни. Из-за них поклялась я себе, что обязательно приеду в Нюксеницу разгадать загадку «Семеновны».

И я приехала. Приехала не одна, а с парнишкой-кинолюбителем, с которым незадолго до этого мы ездили по местам съемок «Калины красной», создавая свой первый фильм - памяти Шукшина. Ни тогда, ни теперь не подзревали мы, как намертво затягивает кино, стоит к нему прикоснуться... Мы просто не могли не заснять, как поет Филинская свою «Семеновну».

Было лето, жаркое и томительное для северных мест. В Сухоне плескались ребятишки, отгоняя с поверхности воды разводы солянки и масла. От берега к берегу задумчиво плавал белый паром, доставляя в райцентр машины и людей. По крутой шаткой лестнице старики, женщины и дети поднимались вверх, и я, наблюдая их сквозь поникшие ветви береговой ивы, поражаюсь: каждый на миг во весь рост вставал на фоне заречного леса и закрывал собой горизонт, точно утверждая - вот он, я, человек, неповторимый, неведомый тебе! И исчезал из поля зрения моего, великодушно уступая место другому. А следом являлись новые лица: богатые, влекущие, бесчисленные, как бессчетны и разнолики у нас на Руси красота и добро...

Домик Анны Алексеевны Филинской в аккурат против этой лесенки, на самом оживленном в летнее время пятачке. Быть может, поэтому все в Нюксенице и знают ее и дом укажут, спроси только Алексеевну.

На зов Алексеевны часа через два собрался почти весь народный хор - от одного к другому по цепочке была передана весть о нашем приезде с кинокамерой и магнитофоном. Вскоре готовно пофыркивал под окошком автобус райотдела культуры, и, покружив на нем по селу, мы выехали на

окраину.

- Вот здесь поля раньше были, - кивнул за окошко сидевший со мной Александр Михайлович Бородин. - Сколько раз я их пахал! А теперь все застроили, ушли поля на пенсию, и я тоже...

- Что-то наш дружок годы считать начал, - весело отозвался кто-то из женщин. - Ну-ка, смотри соколом! Про нас еще кино казать будут!

- Почто бы старых таких и снимать, не знаю...- пробурчали в ответ.

За моей спиной началась легкая перебранка, из тех, которые так похожи на детские ссоры и потом вспоминаются светло.

- Который раз вы опаздываете! Ведь люди приехали!

- Ну ладно...

- Исправляться надо!

Вдруг кто-то жестко заметил, обрубая крылья:

- Всему скоро конец...все исправимся...

И стало тихо, и годы нависли над всеми своей однозначной очевидностью.

А шофер меж тем вырулил по крутым дорогам на берег и выключил мотор.

- Прибыли! Можете наряжаться.

Женщины вновь оживились, высыпали на улицу, полезли в сумки и чемоданы, доставая юбки, бусы и вышитые передники. Мы незаметно снимали, как мелькали зеркала, перед которыми они подводили губы, повязывали старинные платки. И когда явились они предо мной на просторной зеленой поляне, я поняла, почему так любила их в этом наряде: то были одежды их молодости, и они умели носить их с достоинством.

Как-то в областном центре удивленные горожане, оглядев диких костюмы, спросили:

- А вы какой национальности?

- Вологодской! - гордо ответили женщины. И запели...

И теперь на берегу, на закате долгого дня, расположившись на траве, они задушевно пели все, что пелось им в те часы. Всплывали в памяти сказания о любви и разлуке, о коварных изменщиках и увядшей красоте, о печальной женской доле.

Я смотрела на просветленные лица и перебирала в памяти имена: рядом с Филинской - Павла Платоновна Шушкова и Анна Ивановна Маринина, спиной друг к другу, вытянув ноги, сидят Мария Ивановна Лыкова и Александра Михайловна Клементьева, возле звонкоголосой запевалы Галины Николаевны Дьяковой - руководитель Валентина Григорьевна Седякина, скромно и затаенно подпевают им Нина Владимировна Федулова и Наталья Власимовна Попова. Вот и все почти участницы нюксенского народного хора. А ведь было в нем когда-то 50 человек!.. Увы, жизнь не беспредельна. А молодые в народный хор не идут - им зсраду подавай! Подрастут, поймут, конечно. А пока записывали мы старые песни на магнитофон - молодым, до востребования. И пожилые люди, словно дети, восхищались чудо-техникой, и слушали через микрофон свои голоса, и улыбались.

- Будет жить?

- Будет! - отвечали мы.

- Тогда следующую!

И долго разносились над Нюксеницей, над притихшей Сухоной и радостью, и боль, и светлая печаль.

Когда солнце коснулось леса, водная гладь заалела, точно налитая дневным жаром. Оставив съёмочную технику, мы ступили на ласковое песчаное дно. Впереди покачивались на воде молевые бревна. Беспокойные чайки, распугивая тишину, пристраивались на них и, величаво застыв, плыли дальше, влекомые сильной рекою.

Мы оглянулись, заслышав всплеск воды: кто-то из женщин, неразличимый издали, позабыто входил в речную прохладу. И все потом долго и заворуженно смотрели вслед уносимым водой белоснежным вольным птицам...

А вечером, когда прибрано было со стола и были полигты в парнике огурцы, я, глядя в окошко на задумчиво ползущий паром, спросила Филинскую:

- А почему говорят, что «Семеновну» только вы поете?

- Да потому, что это моя песня, я ее сочинила.

- Вы?!

- Я, а чего такого? Приключилась у меня тогда с мужем беда, вот и сочинила. Как-то само собой вышло...

А я взяла письмо, да распечатала,

А распечатала, да горько плакала.

Да здравствуй, Аннушка, да и сыночек мой,

А за победу-ту да ранен милый твой!

А ранен милый твой, рана опасная,

Да прощай, милая, моя несчастная!

«Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла», - отозвался во мне припев, и я ясно увидела, как отчаянно притопывают ноги Филинской по каменной мостовой Великого Устюга.

- А фотография его есть у вас?

Анна Алексеевна достала из горки альбом и, полистав, подала мне крошечный снимок.

- Только эта вот, на документ снятая. Не собирался ведь помирать-то... Он такой у меня был хороший, муж-то, Сергей Александрович, - погруженно в себя начала она, и я затаилась, включив магнитофон. - Таких, наверно, нет больше! И так мы с ним жили - просто на жалость! Бывало, на речку пойдем... а у меня косы большие были... Он то расплетет их, то заплетет, то меня попонесет... За одиннадцать лет я не слышала от него что-нибудь грубое, не слышала! По дому-то все сам делал. Ты, говорит, еще наработаешься... Как знал! А если я чего-то не взгляну на него, он уж бежит: «Нюрчик! Что с тобой?» Как с дитем со мной водился - вот какой был...

Филинская замолчала, вглядываясь в фотографию, и улыбнулась чему-то потаенному.

- Очень я плакала, когда его проводила. Син-то маленький был. Теперь говорит - помню только, как папа меня до речки нес... Взяли его, значит, на командира выучили. А первого году он и погиб. С госпиталя написал мне, что ранили его в левый бок, в левый бок груди, значит. Может, мол, мне уж вас больше не видеть...

Филинская смахнула слезы и продолжила:

- Вот я про все это и сочинила. Вот все как есть, так точно и было, эта «Семеновна» моя!

А меня ранили да в левый бок груди,

Да не видеть мне-ка больше родной земли.

Да меня ранили, ты моя милая,
 Да ты найди себе второго милого...
 Ла-ла-ла-ла-ла-ла...

- Выходила я за второго, как война-то кончилась. У его жена неладно сделала, он не стал с ней жить, пришел ко мне свататься. Мы с им молодец-вали вместе...Пошла я за него. Пожала. Контуженный он вернулся. Вот так и прожили 27 лет, и его схоронила. А фамиль свою прежнюю так и не меняла - не хотела, чтобы один сынок остался Филинский. Вот. Теперь он полковником в Ленинграде...

За окошком серела северная ночь. Мы лежали с хозяйкой в разных концах дома и громко переговаривались, точно отгоняя окружившие нас видения прошлого. Но они были сильнее.

- Ой, а снился ведь он мне первое время! - вздыхала Филинская. - Беда прямо. Одну ночь придет, на край кровати сядет, поговорит со мной, вторую придет...Я угостить его хочу, а он встать не пускает! Вот ведь как. Давай, думаю, матери скажу. Взяла и сказала. «Мама, ко мне по две ночи Сережа приходил!» Да что ты, она руками всплеснула, это ведь неладно с тобой! Всем- всем говори, - это мать-то мне, - увидишь, говорит, кошку, собаку, человека - всем говори, что к тебе Сережа ходит. Только, говорит, в уме говори, а не вслух...Ну вот, до ночи дожидла я до третьей, легли, на втором этаже легли с матерью. Лежу. Стук! Стучит в окно! На втором этаже! Я взглянула в окно-то, а он и стоит. Стоит и говорит: «Открой, сынок, смотри, что мамка сделала, - и кобелию на хвост навязала, что я к вам приходил.» Да как сосуткает после этих слов, как сосуткает! Так до самого свету я не уснула больше...

От рассказа этого и мне жутко стало бы лежать в ночи, если бы не слышать, как проходят мимо дома запоздалые путники; понимаешь, что не один ты на земле и есть, быть может, горе погорчее. Хорошее, среди людей место выбрала Филинская, возвратившись после долгих кочеваний по стране на родину. Когда память рядом, пусть и труднее, но дороже каждый день...

- А однажды, - после молчания вновь заговорила Анна Алексеевна, - бежала я проселочной дорогой на мельницу. Бежу, под угор-то стала спускаться и смотрю: стоит в костюме черном и рубашка белая! Он любил так - всегда уж он оденет костюм, всегда носил рубашку, что воротник на костюм уголками...Ах, смотрю: Сережа! Я бегу к ему, да и возьму его и схвачу. Схватила - а и совсем пень! Совсем пень березовый, подкоренный...Тут я платочек оставила - с головки у меня свалился, и не знаю, не помню, как я до этой мельницы дошла...

Почтальон принес листочек беленький,

От ранения да помер миленький!

А он костюм носил, рубашка белая,

А он меня любил, я очень смелая!..

...Повалили меня тогда на печку, потом я дней пятнадцать в больнице отлежала. Думала с ума сойду. С работы прихожу, и все плачу, плачу...А у нас была в лесопункте старушка, вот она и наведальась ко мне как-то. Водой меня опрыснула, по плечу колонула - все, говорит, забудешься теперь!

- И помогло? - не поверила я.

- И правда - вдруг все я забыла! А что она со мной сделала, не знаю. Мы не верим этому, и сама я не верю, но вот как бывает... Он же у меня не похоронен, потонул он, раненный, на переправе. Может, поэтому меня и бес-

покои́л ходил...Ой, тяжелое это было время, как вздумаю..о-ой! Боже сохрани! Филинская заворочалась на кровати, устраиваясь удобней, пофыркала носом и умолкла.

Тикали ходики, мирно, вечно. Самотканые дорожки на полу потеряли краски: ночь. Она все покрывает мраком. Вот встанет завтра солнышко, да мала я, засылая, и все будет совсем иным...

...Какими радужными половиками встретила нас в своей летней светелке Александра Михайловна Клементьева! Ее руки проворно орудовали деревянным станком, постукивали сновалки, шептались меж собой нитки и тряпочки. И то светлое в душе, что скрыто у каждого человека и не всегда угадывается в мелочах быта, тут являлось непрощенной радостью, которую и пощупать можно, и пройтись по ней босыми ногами так сладко! Нет, подумала я, бывает свет и без тени: разве похороненное в душе горе может рождать такую красоту?

Может...Оказалось, что Клементьева пережила в Ленинграде блокаду. Муж у нее тоже погиб на фронте.

Эх, война, война, убила дролечку,

Посажу ему на память елочку!

Ла-ла-ла-ла-ла-ла,

Ла-ла-ла-ла-ла-ла,

Да посажу ему на память елочку!

А потом мы пришли к Марининой Анне Ивановне. Огромный дом,огород, мирно сохнут на заборе перевернутые вверх дном банки. На столе - пироги. Во дворе - внуки играют. Вот, с надеждой выдохнула я, устав от напряжения этих дней: здесь-то наверняка все в порядке! Мы расслабленно сели за стол, славно пообедали. И потом, как принято это в добрых семействах, принялись рассматривать фотографии. Дети, внуки, племянники...А от кого племянники? От братьев, которые...У Анны Ивановны Марининой погибли на войне три брата: Коншины Василий Иванович, Александр Иванович и Симон Иванович.

Да расти,елочка, да в зеленой траве,

А мой миленочек лежит в сырой земле...

Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла,

А мой миленочек лежит в сырой земле!

Не могли мы в Нюксенице избавиться от этой мелодии! Пришли к Павле Платоновне Шушковой. Небольшая, по-девчоночьи стройная, с лукавыми глазами, она с радостью вспоминала, как маленькой со старшими сестрами ходила на свадьбы. Те пели, а она держалась за их платья, чтобы не потеряться. С тех пор и мурлыкала, мурлыкала. А когда потребовалось показать свадебные обряды, оказалось, что Шушкова помнит все многочасовые причеты!

- Вот, например, - бойко поясняла она, - причеты в тот день, когда невеста ждет жениха. Девушки поют, а она причитывает, потому что у нее отец давно умер. Вот она посмотрела, все собрались, а отца нет, вот она и призывает, чтобы он пришел на ее свадьбу:

- Погляжу-то я посмотрю да по широкому терему

Да у нас цело собранище да все гости и гостеньки

Да сватовья да и сватьяшки да все и братья и сестрицы

Только нет не явилосе господа красно солнышко

Да и родимого-батюшка...

...Был у Павлы Платоновны жених, но ушел на фронт и не вернулся. Поэтому нет у нее ни детей, ни внуков. И в концертах хора запекает она свадебные причеты, которые не суждено было ей спеть на своей свадьбе...

Вот об этом обо всем мы и сняли тогда любительский фильм. На всех добрых людей не хватит профессионалов; а я не могла успокоиться, пока не увидела дорогие мне лица на экране.

Эту единственную плохонькую пленку привезли мы в Ньюсеницу, собрали всех участников хора и показали им самих себя. Снова надевали женщины свои наряды, снова плясали и пели на зеленой лужайке на берегу Сухоны, снова запевала Павла Платоновна свадебные причеты, а Филинская помогала ей плачем. И хоть знали мы, что плакала Филинская «за невесту», на этих кадрах звучала «Семеновна» - веселая и горькая, как плач:

- Растет елочка, на ней иголочки,

Поверьте, граждане, как жалко дролечки!

Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла,

Поверьте, граждане, как жалко дролечки!..

Вечером гостеприимный дом Филинской вместил всех желающих. Когда вновь заговорили о фильме, Павла Платоновна поднялась и молча обняла нас за плечи.

- А у меня тоже муж погиб, - чуть слышно проговорила со своего места Евгения Васильевна Генаева, которая не смогла участвовать в съемках.

Следом за ней подала голос Граниила Васильевна Шемякинская, тоже из наших новых знакомых:

- А я в войну поваром на аэродроме работала...Помню, как под Шепетовкой кормили мы голодных ребятишек, а одна девочка и запела: «Раскинулись рельсы широко, меж ними колеса стучат. С Украины нашей увозят в Германию лучших девчат...»

- Хватит, - повелительно сказал кто-то. - Хватит о войне!! Веселое давайте!

И заиграли две гармошки, и Филинская взяла в руки драгоценную свою тальянку, и пошло веселье, и пошли бабы выплясывать!

- Не ругай меня, мамаша, что сметану пролила.

Мимо окон шел Алеша, я без памяти была!

- Я иду, а мне навстречу трактора да трактора.

Почему любовь горячую не лечат доктора?

- Говорят, что постарели, это глупый разговор!

Большевистская закалка, комсомольский наш задор! - выскочила на простор Павла Платоновна, снимая с плеч платок.

Ей отозвались из-за стола другие женщины, кто кого перепоеет. Частушка сыпалась за частушкой, одна другой хлеще. И когда я, замороженная музыкой, их добрыми лицами, вновь вслушалась в текст, я поняла, что главную для них тему нельзя заглушить никаким весельем.

- Ягодиночку убили из винтовки маленькой,

Он лежит в сырой земелюшке, цветочек аленькой!

- Ягодиночка убит, шинель на кустике висит,

Пилотка в травке зеленой, убит навеки мой родной!

- Ягодиночку убили, да и мне бы умереть.

Никоторый никоторого не стали бы жалеть!..

Вот так, погруженная в чужие страдания, и дожила я незаметненько до 33 лет. Говорят, что-то должно случаться в этом возрасте, в этом роковом возрасте... Но дни шли, а ничего не случилось! Напротив, я чувствовала потухаю, потухаю... Я не хотела больше писать о несчастных женщинах, .. не могла больше вмещать чужой боли! Точно надорвалась когда-то и не заметила. А количество услышанного все никак не сотворяло из души моей иного качества...

Тогда я решила, что нужно обратить свой взор на молодых. Ведь в деревнях возле старых женщин, неизбежно испытывая на себе их влияние, вызревают девчонки. Знала же я когда-то славных сестер Чудаковых в Белозерье! Знала других. О них не получались очерки - биографии коротковаты для высоких страстей. Но никогда не пыталась я увидеть деревенских девушек как чьих-то дочерей и внушек. А ведь они - веточка от того мощного ствола, за который я цеплялась, выискивая свет в равнодушной жизни...

Так оказалась я на любезной нюксенской земле в деревне Пожарище в семье Клементьевых, где проживали три поколения женщин. Несколько дней пробыва я с ними, сопровождая на реку, на ферму, на собрание, в клуб, и, конечно, влюбилась в их светлые лики - лики бессловесных тружеников. Но когда вернулась домой и села писать, то поняла вдруг: не хочу! не могу!! не буду!!! Разве не грех в угоду кампании рассказывать о сложном положении в животноводстве? Разве честно хвалить местных девочек, которые выручили колхоз, оставшись после школы на ферме? Ведь совсем не на агитацию райкомовцев они отзывались, а просто послушались собственного сердца, которое говорило им: надо! И если я теперь просто «отпишусь», чего со мной почти не бывало, то переступлю для себя ту черту, за которой начнется падение; пусть мне одной видимое и понятное, но - падение... А ведь есть - должны быть! - слова и мелодия, которые очень тонко могут передать, что же действительно чувствовала я среди тех людей.

И я отыскала их. Не знаю, одобрите ли вы меня... Но я пылала вся, услышав в себе этот ритм...

Мои колени пахли молоком... И вы забрызгаетесь пенистыми струйками, когда возьмете в первый раз подойник и к вымени пристроитесь коровы. Она на вас скосится темным глазом, как бархатным и чуть настороженным, и, повинувшись, медленно вздохнет. Ее судьба послушна человеческой, увы, не всякий раз разумной воле, и вымя, загудевшее натужно, она должна скорей освободить. Ей до того, что к девочкам на ферму приехал нынче горе-журналист, нет никакого дела; но причудой моею выбрана она сегодня. И вот уже сию я на скамейке, дрожащими коленями сжимаю подойник, что немислимо тяжел, и пробую негнуцимыми пальцами тянуть ее набухшие соски. Корова по прозвищу Черешня, меня с ленивым видом презируя, жует долгоиграющую жвачку, погружена в особый мудрый мир, как бабушки, что вяжут на скамейке свой бесконечный красочный носок. А я, напрасно честь свою спасая и забывая пот смахнуть со лба, дою, дою, и пенистые струйки, шипящие, как малые котята, все угодить стремятся не в подойник, а прямиком в подхваченный подол. Вот почему, когда мы возвращались и позади горели очень тускло ночные огоньки на спящей ферме, мои колени пахли молоком...

Со мной шагала легкою походкой в косыночке, повязанной игриво, в

тугих сапожках, вымытых под шлангом, и с песней на улыбчивых устах девчонка, нареченная Мальвиной. И я в который раз себя ловила на мысли, что любого посетит: наверно, в сердце матери навечно он поселился, этот чудообраз Мальвины с голубыми волосами, каких никто не видел наяву. Мы можем сами сказку сделать былью. И разве чудо будет меньше чудом, когда у дочки волосы - что смоль?.. Мальвинушку и бабушка Настасья лелеет, как и мать ее Лидийку, и внучку называет не иначе, как только сладким именем Малинка. «Малинка, принеси... Малинка, спи!»

Но как заснешь, когда в вечернем небе уже дрожат заждавшиеся звезды и мотоциклы рвут ночную тишь, пофыркивая резвыми конями, готовыми нестись во весь опор. Им не беда, сегодняшним ребятам, что клуб у них в Пожарище закрытый, а до другого километров пять. Их техника в момент домчит на танцы! И за спиной у рыцарей при шлемах - как легкие ночные мотыльки - девчонки, их обнявшие с надеждой и пахнувшие пробными духами... Вы спите, мамы, бабушки и гости! У вас у всех уже такое было. И это потому к вам не вернется, что мы выросли на этой же земле и породниться с ней должны навеки. А это значит - не поспать ночами, когда туман над Уфтойю клубится, когда росой оmyвает ноги и запекает в роще соловей...

Когда лежишь удобно на постели и сладкий сон тебе смежает веки, так жалко тех, кто явится под утро, чтобы поспать коротенький часок! Потом возьмет свое недетский возраст, сойдут мечты безгрешные на душу, и ты счастливо позабудешь все; а среди ночи, трижды просыпаясь от брякнувшей щеколды на дверях, отметишь вместе с незаснувшей бабкой: «Малинка... Колька... Васька прибежал!» И дом вздохнет, как бабушка Настасья, которой семь десятков уже было и на которой - завтрак и корова, поскольку всем с утра идти в колхоз...

Зимой - еще до свету, летом - с солнцем поднимется и выскользнет из дома сама хозяйка - Лидия Иванна, вперед Мальвины поспеша на двор. И нескольких коров к ее приходу она уже успеет подоить. Ее рука уверенно и быстро подмоет вымя, включит аппараты и ласково погладит по бокам коровье стадо: «Как дела, девчата?» «Девчата» только мыкнут ей в ответ. Дескать, чего еще желать скотине? В кормушках - корм, в поильниках - вода. А было ведь когда-то... ой, беда!

А было ведь когда-то, что парторга (Мальвины мать была тогда парторгом) не где-нибудь колхозники искали, а здесь, у этих самых вот коров! По месяцу Лидийка их доила, проглатывая слезы глубже сердца и потеряв надежду на доярок, давно сменивших это молоко на «молочко от бешеной коровки». Когда б не дочь, любимая Мальвина, ей горше было бы тогда вдвойне. Но девочки - Мальвина и подружки - справлялись так уверенно и просто с работой возле матерей своих, что Лидии Ивановне впервые явилась мысль оставить их работать вот здесь, на этой ферме, хоть на год.

Со стороны смотреть - совсем не видно, как Нюксенский нехваленый район свои переживает неудачи; по строчкам сводок душ не разглядеть. Но каждый раз газеты открывать и видеть свой район или хозяйство в «почетном, достопамятном» низу - нет, это может вынести не каждый! И слава Богу, если не выносит: знать, в наших русских мужиках и бабах жива еще великороссов гордость, и медленно, но верно она тянет и вытянет, конечно, старый воз!

Они и так - Мальвина, Нина, Валя - остались бы работать после школы. Совсем не потому, что всюду брошен не очень осмотнительный призыв: «В

колхоз - всем классом!» Разных я видала на фермах и телятниках девчат; но знаю я, что чем сильнее кричат при этом им о подвигах и славе, тем все трудней становится державе. Насильно мил не будет никогда и человек, тем более - корова, ведь у коровы - свой, особый нрав; она не примет никаких петиций - не полюбит, и с молочком простился!

...Не знаю я, откуда прорастает у нас в сердцах безудержная ~~нежность~~, но вижу, что без этой сладкой боли на свете очень нелегко прожить. Когда тебя вокруг все раздражает, когда любить еще не научился ты эту речку, поле и леса, и кажется тебе, что за морями, - никак не дома доля тебя ждет, ты знай, что просто ты нещадно молод, и то, что принимаешь ты за голод твоей души, есть напросто гордыня; сознайся в этом и возьми отныне себе за правило не требовать и брать, а отдавать и снова отдавать... Твоя судьба отнюдь не исключенье. И в этом мире с первых дней творенья лишь тот сумел найти покой душе, кто верил в рай с любимым в шалаше, кто счастье понимал, как тяжкий труд, - ведь люди сами свой талан куют.

...Когда восток пугливо золотится и молоком подернуты низины, ступает по росе моя Мальвина, а следом скачет преданный Трезор. На ферме он любимец, как и дома. Все закоулки там ему знакомы, и по проходкам бегать хорошо. Девчонки, если раньше кто пришел, ему с подойника плеснут попить в братину, почешут за ушами и со смехом уйдут к себе - готовить аппараты. А пес, неся бочонком свой животик, отвалится в солому возле входа и засопит, как малое дитя. Над ним Арбуз - замшелый старый мерин - свою наклонит медленную морду, понюхает и пару раз лизнет: мол, спи спокойно, милый добрый пес. А к братине, используя минутку, хвосты трубою, заспешат котят и тоже, словно малые ребята, уделаются свежим молоком; их мама-кошка вымоет потом и пожурит, что снова ели в драку: какой позор, ведь вы же не собаки...

Зимой тепло на ферме от дыханья жующих жвачку дремлющих коров; а летом свежий воздух проникает во все ее промерзшие углы, и из окошек, как в кинотеатре, виднеется зеленый старый мир, залитый солнцем, щебетом и медом. Всегда Мальвина прибежит пораньше, пока с ночного не вернулось стадо, и по кормушкам разнесет с любовью гостинцы для буренушек своих. (Вы помните, наверно, ваше детство? Как славно было прибегать с гулянья, когда тебя встречает дома мама и суп уже дымит на столе!)

Напрасно говсрят, что для коровы различья нету, кто ее подоит и грубыми иль нежными руками возьмется отрабатывать зарплату! Она заметит, вздох или улыбка тебя за этим делом посещает; она душой зайдется в тихой скорби или тебе ответит каждой клеткой, тоскующей о равенстве живого. Мы все на этом свете плоть едина - букашка, человек или скотина... Когда ж тебе печалью сердце гложет и радости земные мало множат твою единственную - радость бытия, забудь о нашем ненасытном «я»: во все века оно с пути сбивало - оно росло, а радость убывала! Доверься с благодарностью потомкам тому, что до тебя открыли деды, - в науке их извилистой и тонкой нам много предстоит еще изведать. Но главный вывод прочен и живуч: сияет солнце только после туч! И - тот не знает радости труда, кто в поте не трудился никогда.

Бывало - вы старух порасспросите, они на ферме днями спину гнули, они корма на двор возили сами и воду волочили на себе. А тоже билось под Фуфайкой серой и сердце молодое, и стыдливо была коса упрятана в косынку, и ждали вечерами на свиданьях их парни с огрубевшими руками, робевшие

шершавую ладонью коснуться крепдешинового платья...Под утро возвращались наши бабки, и целый день не сон владел сознанием, а сладкие минуты жарких игр. В своих руках и горе, и веселье - вновь вынем эту истину на свет, и спорить с ней у нас резона нет.

Быть может, женихи другие были? «Да те же, за которых мы и вышли, - отштутят старухи и погасят улыбку на иссушенных губах. - Любовь - не только игра и пляски да зимнее катанье на салазках. Кататься любишь - будь добра, вези - по снегу и в распутицу, в грязи. Семья есть труд и хлопоты без счета. Семья есть счастье, но еще - работа...»

Когда Мальвина прибегает с фермы, совсем не помышляя о двух-сменке, и падает в светелке на диван, чтобы доспать потерянный часочек, ее лицо назойливо и жарко щекочет солнца лучик золотой. Я, спрятавши его за занавеску, сажуся подле, грея на коленях по очереди славных трех котов; а Леопольд, Пушок и гордый Барсик из милости готовы подчиниться, поскольку их хозяйка крепко спит. Потом она проснется и пошутит: «Ты, Леопольд, опять храпел, как трактор! Тебе бы можно выдать документ». И ловкими руками из комода она достанет трудовую книжку и тракториста новые права: и это, мол, умею и сгодится, с умом бы только всем распорядиться! Потом возьмет ведерко и в светелке она намочит крепкие полы. А чтобы поразвлечь меня, достанет альбомы с доброй сотней фотографий. «Вот Коля, он меня малышкой нянчил...Да, я, ну неужели не похожа?! А это Коля служит. Снова с кошкой. Он любит всех животных без ума! А эту колбасой кормили долго, а то бы непременно убежала, испортила ребятам этот снимок...Брат и меня теперь снимать научит! Вчера мы с мамой хохотали долго - он полчаса кассету заряжал, мы думали, уснул под одеялом!..А это - Вася. Он у нас силач - по три ведра воды несет, и мало. Машины «оживляет» - хоть бы что! Из списанной как новенькая будет. Нет, мы самостоятельные люди!»

Ах, этот дом Клементьевых на взгорке! Была там и зимой я, и в уборку, когда сыны с рассвета до заката трудились, как и их друзья-ребята. В колхозе тридцать девять женихов, тоскующих без девичьих оков! Их всех бы ко двору, к семье и к детям! Но кто им «да» заветное ответит, когда из года в год поток невест с весною уезжал из этих мест?

Дай Бог, дай Бог мне снова воротиться под Уфтюгу, в зеленые края, когда сумеют все остепениться, когда у всех появится семья! Дай Бог дожить и бабушке Настасье до тех желанных вымоленных дней; мы славно и не раз сидели с ней, выгадывая для внучаток счастье.

«У нас дак Кольке хоть не говори, когда по дому что приделать надо, - сорвется тут же, тут же побежит...Никто не уклонится от работы, уж здесь не хочу тебе соврать. Дубы такие - ну-ка погляди-ка! - под самый потолок уж поднялись. А все придут и спросят первым словом: «А мама где?» Не могут без нее! И то сказать, одна, считай, растила, копейке счет учила их вести. Они теперь стали женихами, а на кино без спросу не возьмут! А деньги? Есть, какое денег нету! На книжку отчисляют все исправно, чтобы на свадьбу с мамы не тянуть. Другие - дела, вишь, не разумеют, а про вино и среди ночи помнят! А наши - Боже их храни и впредь! - бутылку сами покупать боятся. Вот как оно аукнулось, отцовство...От этой водки все на свете беды! А мы так мирно да и ладно жили, не слышали от них худого слова. Вот буде Ваську только поругаю: опять в хармане спичками разит! Бросай курить, храни свое здоровье! Гляди, от Кольки разве что конфеткой, да, знамо, шоколадной, опохнет...Ругаю, а смеюсь: какое диво? Хоть мужиком у нас полахнет в доме.

А нечем в печке засветить бывает - сама у Васьки спички и возьму...Мужик-то мой, их дед, Иван Лобазов, на псковском направлении погибший...Да, вишь какое дело...Пусть растут!»

Когда меня кому-то придется вдруг упрекнуть в поспешности суждений и в выводах, с какими - обождаю, я не смущусь растерянной девчонкой и не скажу: «Ах, да, я не права...» Среде этой жизни так легко утратить святую веру в красоту добра, начавши твердо осуждать земное и не всегда высокое обличье, которое порой мы принимаем. Что ж из того? Когда б мы были Боги... Но мы всего лишь люди, человеки, и нам не чужды всякие грехи. Но знаю я: в минуты озаренья, душою грешной ясных звезд касаясь, мы выбираем на весах Вселенной ту чашу, из которой нам не пить. И в этом светлом самоотречении, когда, тоскуя, наша плоть сгорает, мы сами превращаемся в частицу того огня, которым рождены. Ах, только б...только б не было войны!

Люблю, когда морозно за окошком, и спину жарит печкино тепло, и валенок, положенный под шею, гораздо мягче пуховой подушки, а празднично поющие котята нежнее всяких импортных таблеток с тебя снимают стрессы и тоску...Люблю смотреть в окно без занавесок - они совсем в деревне неуместны, - когда один, как в песне дуб зеленый, стоит фонарь под самою калиткой и ярко освещает тишину. Люблю, когда всплывут воспоминанья об этом доме около дороги и снова я услышу свежий запах с мороза принесенного белья. Мать у стола и гладит, гладит, гладит. У печки бабка рукавицы ладит и смехом говорит, что вот, добро, что у ребят рубах полным-полно, а то б Лидийке век не отстирать того, что могут парни намарать. Мальвина прыснет, вспомнив, как на ферме ей в валенок засунули мышонка и как она совсем не напугалась, а девочки визжали и до слез. Василий с Колей только ухмыльнутся: мол, эти ваши бабьи слезы-визги, подумаешь! У нас дела серьезней. И снова, утонув в страницах книги, забудут, где и кто они теперь: зимой и можно только почитать, а там, глядишь, опять страда, гулянья...

- У нас добро, - сказала бы Настасья. - Как снег сойдет, ручьями под горюшку за ним и влага быстро убежит, и чистота, и красота в деревне!

- Вороны над черемухой летают, - заметит тут дотошная Мальвинка.

- Видать, к теплу, - в окно посмотрит мать. - Не будет больше прорубь замерзать...

- Ну-ну, опять Малинушке работа - рубахи полоскать. Чай не охота?

- Ничто, поедет скоро в города! Там из-под крана теплая вода, - не подымая глаз, подскажут братья. - Давайте шейте модные ей платья!

- Езжай, езжай, не слушай братовей! А вы бы смену подыскали ей, - хозяйкою вмешается Настасья.

- Придут девчата, главное - начать, - с тревогой и надеждой скажет мать. - В Лесютине не ждали, а пришли же!

- А вишь, надоед ваших все же ниже!

- Ничто, ничто, - ответит маме мать. - На агронома надо поступать!

- Поди, болит душа и у самой, когда полями побредешь домой?

- Всего познала... - затоскует мать. - Теперь деревню детям поднимать!

Я улыбнусь на печке голубой...

А утром унесут меня домой машина, самолет, потом такси...

О, память, бережно носи в своих глубинах негасимый свет, который светит людям тыщу лет!

Вот так я закончила свое последнее произведение для газеты. Говорят, кое-кто посмеивался над ним. Может, и справедливо, тем более, что напечатано оно была стихотворной строфой, а писала я совсем не стихи... Зато Мальвине понравилось, знаю. И это для меня важнее.

С того дня до того, в котором пишу, прошло лет пять. В газету я так и не вернулась. Загляну теперь иногда по делам, пройду по родимому коридору, открою дверь своего кабинета... Чужое все! Нет здесь и памяти о том, что было. Пришли иные времена, другие имена мелькают на страницах. А нас, «ветеранов», никто из молодых и не знает, только вежливое «Здрасьте!» при встрече, вот и все. Плакать ли об этом? Когда-то и мы со скрытым превосходством раскланивались с прежними журналистскими китами. «Знаешь, это тот, который...» - «Да что ты?! Надо же...» И тема была исчерпана. Что там другие? Вот мы, вот наше время - это да! И мы старались, выкладывались. Всякое бывало, но - мы верили, что делаем нужное дело. Я - верила.

А сегодня... Кончился тот кусок шагреневого кожи, что отпущен был на становление личности. Шикарный кусок! Ничего - в редакторскую корзину, все - на полосу! Кто мог - тот успел, тот сегодня не комплексует, видя, как ожили, зашевелились, забарахтались в жизни все, кто может двигаться. А если ты от одного берега отплыла, а к другому не прибилась - не твоя ли в том вина?

Не моя ли вина?

А как славно, как логично все получалось! Просто подарок судьбы! Ты устала от газеты? Есть красивый выход: Высшие курсы сценаристов. Только что объявлен набор на документальное отделение. Представляешь? Все твои мечты о кино, как по волшебству, осуществляются. Это вам не любительщина, это - профессиональный кинематограф!

Удивительно!.. В детских своих дневниках отыскала запись: «А вообще-то я буду сценаристом». С чего?! Мне было лишь пятнадцать, и о кино я не думала. Значит, можно какие-то вещи предугадывать и за двадцать лет? Но тогда... как же страшно представить, что станет явью и другое предчувствие: я падаю, падаю в жуткую бездонную пропасть, запоздало понимая, что вещало об этом сердце, но не слушалась я его...

«Не залетай, доченька, высоко. Больно падать будет!»

Спаси, Господи, и помоги!

Разве не с чистой душой сидела я перед приемной комиссией, объясняя, что я хотела бы снять? Мечты мои легко читались по сданным на конкурс газетным публикациям. «Вы знаете, есть такая Филинская, которая сочинила собственную «Семеновну»! Мы сделали о ней фильм, но кто его видит? И потом - эта ужасная пленка, этот звук, который отстает...»

Уж там ли меня не понимали?!

И свой первый курсовой сценарий я написала о нюксенском хоре, о Филинской. Его хвалили, но сказали, что для съемок нужен режиссер, который бы собрал бы материал один к одному. Где его взять? И где взять студию? Ведь там сейчас все падки до «жареного», способного на шуметь. А тут - какие-то старухи, и опять эта война...

«Ладно», - зажалась я. Дольше ждали - подождем еще. Старухам всего за 70, а они «решили песни петь лет до 90»...

Одно мучило - «кушать хочется». После зарплаты и гонораров сестра на стипендию - оно замечательно, особенно с ребенком. И безумной надо быть,

чтобы отказаться от предложения поработать для кино: такие деньги!

Совсем не продаваться я шла - душу вложить хотела. Одного не учла, не знала: в кино режиссер - барин, что он захочет, то и снимет. Мало ли что мне там привиделось о деревне! Девчонка, шагающая по грязи, старухи, судачащие о жизни, председатель, удящий рыбу... А где производственный цикл? Где работники, поставляющие продовольствие? В аннотации четко было сказано: фильм о роли человеческого фактора в экономических отношениях на селе. Вот и дерзай!

Поломали мне хребет. Три раза переделывала сценарий, убирая лирику, чтобы угодить чиновникам из худсовета. Фильм «горящий», сама согласилась спасать, не откажешься... А о том, что режиссер, заворачивая назад варианты, набивается в соавторы, нужно иметь опыт, чтобы догадаться. Такие ясные глаза на тебя смотрят! Их обладателю так хочется сделать настоящее кино! Читай: проходимое, он на этом деле собаку съел, а я - из яиц, которые хотят учить курицу... Не знал он, что грядут совсем иные времена и фильм наш на другой день после сдачи окажется устаревшим. Зато я о себе знала: к людям тем, которые меня поили и кормили, которые душу мне выворачивали, веря, что и моя болит об их доле, - к людям тем я не посмею больше приехать, как бы мне этого ни хотелось. Ладно бы очерк написать, где я сама за каждое слово отвечаю. А тут... я появилась не как сценарист, нет! Я была лазутчиком, который разведал, где что лежит, и подослал голодную стаю. Она совсем не порядок хотела навести, совсем не помочь разобраться в чем-то. Она знала, чего хотела. И отрывала людей от дела на целый день, чтобы выстроить один показушный кадр. И прерывала откровения сразу, как только сказана была нужная для фильма фраза. В нем изначально не могло быть правды. И от стыда за участие в этом деле не избавиться мне никогда. Хоть и уехала я со съемок на пятый день, пряча бессильные слезы.

А вы говорите - свой режиссер! Где его возьмешь? Как отыщешь? Такие попытки здоровья стоят... Или - просто писать и писать сценарии, веером рассылая их по студиям? Ведь делают так некоторые. Авось повезет!.. Но возможно ли боль свою переплавить в слова и - выбросить в корзину?! Ведь сценарий - не очерк, который готов, когда написан. Сценарий живет только на экране, и если нет режиссера, то нет и тебя. И нет тех людей, которые в твоём воображении ходили, говорили, любили!.. Ничего себе выбор я сделала, ушла из газетки!.. Никому и нигде не нужна.

Но - Курсы не оставишь, дело надо доводить до конца, а там видно будет. Значит, и диплом надо писать с умом. Так, чтобы и кино вроде проглядывало, а вроде и занятие для меня было не бесполезное. Снять - никто фильма не снимет, зато я что-то для себя обрету, пока пишу... Но что? Где я должна копать? Тем острых пруд пруди, и охотников на них не меньше. Рвануть ли мне с толпой со старта, надеясь оказаться в первых и получить заслуженное вознаграждение? Или сразу расписаться в своей несостоятельности и выбрать что-нибудь потише?

Сердце мое - где же твоя подсказка? Где твой голос, который выручил меня когда-то на заре моей жизни? Как светло мне стало в промозглом Ленинграде, когда воскресли в испуганной душе мои дед и бабушка! Слово из невесомости выловили меня чьи-то заботливые руки, и дали ощутить твердь, и попридержали подольше: цепляйся! так надо! А я - незаметненько так, постепенно - что поделаешь, дескать, судьба! - отлеплялась от этой почвы, отлеплялась и - оторвалась наконец. Опять зависла между небом и землей,

и где верх, где низ, где худо, где добро - одному Богу известно.

Ниночка! А-у-у! Да ты ли это? Не твоя ли душа задышалась в столице после Вологды? Не твое ли сердце противилось толпам, смраду, суете? Что тебе это дает? И зачем тебе это кино? Драться в своре из-за куса мяса? Но ведь годы пришли поститься. И так немного нужно человеку, чтобы выжить, - глоток воды да ломоть хлеба. Была бы душа жива. А потому...

...Вот потому и поехала я на лето в забытый мною Починок. Авось пустит кто-нибудь в свой дом погостить! Заодно попригляжусь. Там ведь тоже люди живут. Почему диплом должен быть о ком-то другом, а не о них? Комиссии нашей все равно, а мне - польза и отдых. Верно? Верно!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. ПУСТЫЕ ГЛАЗНИЦЫ

Сколько раз я появлялась в грибное время в Починке и украдкой оглядывала дедушкин дом. Даже в огородец нельзя теперь зайти...А там ведь наши яблони, наш куст калины! Все там наше!

Господи, тетя Клава, что же ты наделала?! Почему поспешила, ни с кем не посоветовалась - продала, как в омут головой кинулась?...Я бы стала теперь приезжать в деревню на целое лето - человек я вольный, работа не держит...

- А где ты раньше была? - в первое время плакала вместе со мной тетя Клава.

Где я была? Взрослела на стороне. На Вологодчине. На Алтае. На встречах молодых писателей. Все ума набиралась. Дочку растила. Теперь хватилась - и нате вам!

- А кому он нужен был, этот дом? - уже нападала тетя Клава. - Отцу твоему в Ленинграде? Молчишь...Николаю в Донецке? Тоже нет...А нам с Валькой и на Нее забот хватит, некогда его сторожить. Сожгли бы тут ребятня - вы же меня бы и прокляли! А так хоть стоит...

Я молча вытирала слезы.

- Ну хочешь, - жалела она, - хочешь, я тебе тысячу сниму с книжки? Для вас ведь и лежит. Думаешь, я много за него выручила? Надул ведь меня этот хрыч! Околдовал. Продай да продай. А когда подписали документ, подал денег на полтыщи меньше. Он и этого, говорит, не стоит! Чтоб ему, злыдню, ни дна, ни покрывши...

Хозяин новый, правда, был тот еще человек. На первом году столько кляуз успел в сельсовет написать, столько ссор в деревне развести, сколько Починок за всю свою бытность не знал. В общем, помянули и нас земляки крепким словом: нашли кому продать! А не выселишь теперь. Ходи да локти кусай.

Это я и делала...

Приехав «на диплом», я снова оценила обстановку. Ничего не изменилось, все были, слава Богу, живы. Но на краю деревни теперь пустовал дом. Хозяева его давным-давно перебрались в новый, а в этом то родные их жили, то знакомые. А теперь и те уехали, не поладили с колхозным начальством.

Дом был крепкий, под шифером.

- А продайте его мне! - пошутила я с Горбуновым.

- Не-ет, - спокойно отказал он. - Детей еще не пристроил, вдруг надо будет... А жить - поживите! - добавил он неожиданно. Места не жалко. Да и

ты ведь не чужая, знаем тебя...

Он снял замок и пропустил нас внутрь.

Что там делалось!!

Целые сутки мы с дочкой выгребали из избы пустые бутылки, битую посуду, рваные газеты, грязные тряпки, мхом заросшие чугуны, пузырьки из-под лекарств, исцарапанные пластинки, плесневелые шапки, засаленные книги, банки из-под молока, ломаные карандаши, пыльные портфели, запутанные нитки, сапожные принадлежности...Чего только не было! А не свое - так далеко не выбросишь. Свалили все это на мосту да в кладовке. Завесили рваными половиками. И до ветру в темноте ходили только парой: жутко было от гнилостных запахов, мерещилось, что прячется кто-то среди этих отбросов прошлой жизни.

Ночью к нам приходили мыши. Привыкшие доедать остатки прежней роскоши, они рыскали теперь по кухне голодными волками, брякали посудой и не давали заснуть.

- Ты слышишь? - севшим голосом спрашивала меня дочка.

- Ну и что? - бодренько отвечала я, чувствуя, как холодеют ноги...-

Нас-то они не съедят, спи!

Она отключалась, а я долго еще напрягала слух и постукивала об пол припасенными граблями. Только это никого не пугало, кроме меня.

При порывах ветра в рамах побрякивали стекла. Казалось, кто-то старается проникнуть к нам в дом. На всякий случай под кроватью у меня лежал ржавый топор. Защищаясь - можно...

Лишь к утру, когда улетучивались все страхи, я засыпала. Но каждый вечер перед наступлением темноты чувствовала, как начинает портиться настроение, как стремлюсь я побыстрее, не зажигая света, затаиться в постели и призывать новый рассвет. Это было позорно и - неистребимо.

Неужели так же жутко было в доме одинокому деду, думала я. Неужели таково же тем старикам и старухам, которые доживают брошенными свой век по российским деревням?..

А по утрам мы собирались в центре Починка, у дома Нинки-бригадирши. Ковылял с другого края мудрый Мишенька с ведрами в руках, и я кивала ему: «Здравствуйте!»

- И вы странствуете!

- Что сегодня на обед будет?

- А вчерашнее подогреем! - отшучивался он, сенокосный повар.

Мишенька да глухой Коленька, Нинка со своим сморчком Генахой, Горбунов с Горбуновой - вот и вся трудоспособная компания. А мы с дочкой так, для интересу. Сели в кузов на лавки.

С ветерком заехали в Михали, забрали там человек десять, а еще в Суршине подсели. Пришлось потесниться, а ноги поставить на испачканные копытю ведра. Накидали дров для костра, картошки для супа, погрузили вилы и грабли и тронулись - туда, где с холмов открывались необъятные дали, где леса смыкались с горизонтом...

В тех лугах, где теперь колхозные сенокосы, где гуляют косилки и ворошилки, были когда-то деревни.

20.7.1955.

«В маленькой деревне Залыва, которую прежде по праву называли

«медвежьим углом», у большинства семейств имеются радиоприемники, велосипеды, личные библиотеки, швейные машины и т.п. Все это приобретено в последние два-три года на доходы от коллективного хозяйства. Хорошо и культурно живут колхозники. И в этом - родник их вдохновенного труда. Здесь за июль надоили столько молока, сколько за весь прошлый год».

На месте Залывы сейчас - высоченные травы... Не стало в Михалевском сельсовете деревень Раменье, Подвигалово, Иваново, Варки, Лясково, Абросимово, Данино, Шляпино. А теперь умирает и прекрасное Червино. На горушке оно. А воду снизу носили, с реки, горевая, говорят, вода была, трудная. Колодец рыть - не докопаться до нее, а водопровод кто проведет для двух семей? Вот и они перебрались недавно в Суршино, в колхозную квартиру - типовой невзрачный домик. И стало Червино похоже на кладбище. Дома с пустыми глазницами, сорваны с петель двери, провалились крыши. И только яблони вдоль оград еще плодоносят для кого-то...

Горе наше российское! Сколько политических смерчей промчалось над деревнями, сколько голов загублено и детей не рождено!.. Пока читала я в Публичной библиотеке подшивку Нейской районной газеты за 50 лет, волосы дыбом вставали. И не понимаешь ничего в истории - а поймешь, между строк угадаешь трагедию! И она ведь коснулась каждого из тех, с кем теперь я общаюсь. Не их лично, так их родителей, дедов. Вот бы все эти заметки о вчерашнем дне их земли прочитать сегодняшним жителям Михалевского сельсовета! Уж они бы поговорили, они бы прокомментировали!

1.4.1932.

«Невнимательность некоторых сельсоветов приводит к тому, что часть кулаков не выявлена и не обложена твердым заданием. В деревне Шляпино Лебедев А.Ф., до революции имевший до 10 рабочих - каталей обуви, твердым заданием не обложен. Кулак может благоденствовать лишь тогда, когда сельсоветом руководит правый оппортунист».

- Ну и что? Какие это кулаки? Работать умели, вот и жили справно!

- А почему же в колхозы не вступали, да еще других отговаривали?

20.9.1932.

«В колхозе «Первомайский» Михалевского сельсовета весной этого года проходила чистка колхоза. Остался невычищенным кулак Кудряшов Л.И. Во время уборки он подбивал женщин на то, чтобы они не выходили на работу. Кудряшов послал своего сына на побочный заработок, несмотря на то, что правление колхоза его не отпускало, так как испытывало недостаток в рабочей силе. «Провались вся ваша работа, мне нужны деньги», - заявил Кудряшов.»

- И правильно! Какие деньги могли быть в таких колхозах? Сбруя, инвентарь, все валялось, где попало. А с людей требовали сдавать коров, лошадей туда...Чтобы они с голодудохли!

15.4.1932.

«В колхозе «Культура» Михалевского сельсовета колхозники от необобществленных коров убивают молодняк. Примером послужил член сельсовета Молодцов, который убил теленка 4 недель...Нужно немедленно сделать расследование и привлечь их к ответственности».

- Как просто: привлечь к ответственности, объявить врагом! Вместо того чтобы разобраться!

- Но ведь были же вредители!

2.6.1931.

«Кустари Овчинниковы из деревни Раменье Михалевского сельсовета занимаются вредительством в кожезаготовке. Они умышленно портят овчины. В марте месяце ими было испорчено взятых на заказ для выделки 200 штук овчины. Вредителей Овчинниковых нужно привлечь к уголовной ответственности».

- А если они это от отчаяния, оттого, что никто не хотел слушать их мнения? Может, они понимали, что творятся какие-то страшные ошибки! А их «чистили», «чистили»...

20.7.1931.

«В стороне остался такой фрукт, как Овчинников Яков Егорович, которого следовало обязательно чистить как бывшего эксплуататора (до 1922 года имел овчинную мастерскую с одним постоянным рабочим и нанимал сезонных рабочих)».

- Ну и что! Обыкновенная артель. Была у человека голова на плечах, вот он и руководил, и организовывал. А кто не умел соображать, тот нанимался на работу - исполнять. Все правильно!

20.7.1931.

«Факты таковы: чистка колхоза была проведена наспех ...и слишком мягко. На чистке не спрашивали биографию чистимых, а только как они сейчас работают и почему не вступили в колхоз. Масса колхозников активности не проявила и самокритика не развернулась».

- Потому что несогласны были большинство, вот и молчали!

- А ты бы не промолчал?!

20.7.1931.

«У председателя правления есть связь с Овчинниковым Яковом по старой памяти, так как он работал у Овчинникова работником два лета. Сейчас они вместе пьют и сына Якова - Константина Овчинникова - ввели в состав правления».

Председатель сельсовета т.Коротков изрек даже такую истину, что «есть поповские сыновья и зажиточные лучше некоторых бедняков-трудовиков».

Необходимо провести повторную чистку при новом составе комиссии».

- Вот и полетело в те годы зазря столько умных головушек! Если умеешь думать - значит, правый оппортунист!

- Зато теперь можно не только думать, но и говорить!

- Это нам можно, мы уже жизнь прожили. А вы бы, молодые, не торопились. Всяко бывает...

- Да как же жить тогда, если не верить?! Если все время чего-то бо-

яться? Так мы никогда ничего не изменим!

- Ты погоди, не ерепенсья...А вы помните, как у нас тут кулаки активиста убили?

- Это которого?

2.12.1932.

«24 ноября 1932 года в деревне Починок Ермолаев проходило собрание, и товарищ Смирнов Константин Васильевич бы на нем председателем. Это был человек тихий и смиренный и показывал образец борьбы за проведение политических кампаний, за 100%-ное выполнение обязательств перед государством по заготовкам. Так и на этом собрании он добился принятия заготовок на 100% и решения на другой же день все вывезти. На выступления кулацко-зажиточных элементов против этого мероприятия Смирнов сказал, что он считает, что большинство с ним согласится, а зажиточных мы вывезти заставим. В тот же день в деревне Шляпино, приветствуя решение деревни Починок Ермолаев и отметив инициативу товарища Смирнова, собрание при сопротивлении зажиточных/ братья Соловьевы и другие/ приняли такое же решение.

На другой день вечером тов.Смирнов, сдав заготовки, возвращался домой. Возвращались вместе с ним три брата Соловьевых, Любимцев - зажиточные, и кулак Назаров, родственник последнего. В двух километрах от моста через речку Нею, по направлению к деревне Данино, была совершена зверская месть кулаков - ударом топора в голову Смирнов Константин был убит.

Кулаки хитроумно задумали план своей мести. По возвращении с заготовительного пункта из Неи они, чтобы замести следы преступления, загнали лошадь с трупом т.Смирнова в болото, а сами, подняв тревогу в своей деревне, предложили задерживать каждого, кто проезжал через деревню».

- Ну, что? Опять скажешь, что кулаки - нехорошие? Так вас в школе учили?

- Не задирайся, разобраться надо... Кто, например, был этот Смирнов? В деревне - всего шесть лет, с 1926 года. До этого был железнодорожным рабочим. Значит, землю не знал и не чувствовал. Он - уполномоченный, что с него спросили, то он с деревни и требует. Был у него авторитет? Не было, ясное дело...А тут еще голод стоит, люди мрут...А им отдай последнее!..Так что все закономерно. Тот, кто был посильней хозяйством и характером, тот не выдержал и совершил самосуд. Все по правде.

- Правда, да не очень! Потому что не политические мотивы двигали убийцами. Вернее, не только политические. Не классовая ненависть все решила, а... вино. Все участники истории, как свидетельствует процесс, были пьяны! Ма-аленький такой нюанс, про который газеты предпочли забыть. Они быстренько развернули политическую кампанию и стали отражать волну патриотизма.

- Которого не было!

- Почему не было?

- Да потому...

18.12.1932.

«Михалевский сельсовет в ответ на убийство не только выполнил, но и перевыполнил план сельхоззаготовок, а по картофелю даже на 106%.

В ответ на кулацкую месть на женской конференции в Михалевском сельсовете две женщины подали заявления в партию, шесть женщин вступили в колхоз.

Мы будем еще активнее участвовать во всех мероприятиях, проводимых советской властью, заявили они.»

14.12.1932.

«Граждане деревни Абросимово в ответ на вылазку классовых врагов-кулаков, которые убили крестьянина-бедняка активиста Смирнова, отвечают вступлением в колхоз под названием «Ударник». Просят райколхозсоюз выслать представителя для организации работы в колхозе».

- А через полгода эта самая газета пишет про организованный явно «сверху» колхоз, что он «встал на антиколхозный путь».

10.7.1933.

«Эти люди, носящие звание колхозников, никакой колхозной дисциплине не подчиняются, наряды не выполняют, устраивают склоки, споры во время работы, с возгласами: «Разве мы будем подчиняться такому председателю и бригадире?!»

- А почему «не будем»?

- Да потому, что ставили тех, кто только говорить уметь, а не дело делать. По правилу - кто был ничем, тот станет всем!

- Ты подумай...А ведь упирался народ, долго не сдавался!..

- Ничего, сломали, как видишь. Дожили теперь, что хоть лапу соси.

- Поправится все! Вон сколько всего разрешили теперь !

- Ну-ну... ты еще веришь?

...Хочется мне придти с дочкой в брошенное Червино, заглянуть во все дома, в которых уже тысячу раз побывали до нас любопытные. Может, что-то ценное из прошлого и удастся найти? Серп или мялку, веретено или ендову, прялку или уцелевшую кринку. Сгодится для музея. Ведь должен же быть такой и в Михалях!

- А что? История у нас интересная! Мне вот отец рассказывал, что прежде тут помещик жил по фамилии Червин, потому и Червино называли...А вот про Суршино никто не знает.

- Зато Кокуево - от кокуя. Кокуй - это был нарядный головной убор у девушек, он так вот повыше лба был...И деревня немножко на высоте как бы, тоже вроде кокуй.

- Ну, еще чего насочиняете!

- А чего? Народ зря говорить не будет...Вот, например, про Данину гору говорят, что ее татаро-монголы своими шлемами наносили!

- Почто?

- А я откуда знаю!.. А в Нельше вроде как корабль с золотом затонул.

- Это у нас-то?!

- Нет, ребята, смеяться нечего. Если всем этим заняться всерьез...

- Да кто будет? Кто?!

- Клуб, кто же.

- Ага, скажи еще - изба-читальня! Когда они хоть что-то делали? Ты

видел?

4.5.1937.

«Если заглянуть в Михалевскую избу-читальню, то кроме голых столов ничего не увидишь. Избач товарищ Смирнова в нее ходит редко и то лишь для того, чтобы убрать в шкаф газеты. Смирнова никакой работы не ведет. Красный уголок в колхозах и кружки при избе-читальне не организованы. При читальне имеются волейбольные принадлежности, но они всегда находятся под замком у избача.»

- А у нас вон теперь волейбольную площадку забетонировали, ну и что? Пять человек придут, которые молодые, а другим куда?

- Сиди дома да книжки читай!

- Какие?

2.2.1938.

«Товарищ Смирнова свою работу забыла. Изба-читальня часто бывает запертой. Библиотека-передвижка из Нейской районной библиотеки давно уже не менялась, и читатели новых книг не видят».

- Ну, это когда было! В те годы не до этого было!

- А потом?

27.7.1955.

«- У вас есть что-нибудь о кукурузе?

- Нет. В этом году никакой литературы не брали.

- А что есть по полеводству вообще?

- Вы посмотрите книжечку «Колхоз «За социализм» Костромского областного госиздательства 1947 года. Может быть, вам «Памятку электропильщика»?

Этот разговор состоялся в магазине Михалевского сельпо, где продавцом Н.Смирнова. Тут же на прилавок продавец выложила почти весь фонд литературы...

- Не дает нам райсоюз хорошей литературы, - сетует т.Симонова. - В прошлом году нам привезли учебники для школы взрослых, а такой школы у нас нет. И старую не списывают, заставляют ею торговать. А колхозники спрашивают произведения наших писателей, детскую литературу.

Книжной витрины в магазине нет. Литература лежит под прилавком. Была в этом магазине товаровед райпотребсоюза Н.Белугина. Поперекалывала книги, некоторые уценила, с тем и уехала...»

- Можно подумать, что теперь у нас легче книжку купить! Все в Нею надо ехать.

- Зато дома вон сколько библиотек у всех!

- У кого это? У начальства, может, у которого везде своя «лапа»...А для нас везде один справочник механизатора. Развлекайся! Будто нам не надо культурно отдохнуть.

22.1.1956.

«В Конновском клубе по вечерам собирается молодежь. Но чем она

занимается? Под балалайку или гармошку танцуют «семизарядную», пляшут «сударушку»... В клубе имеется радиоприемник, патефон, но уже полгода, как они вышли из строя».

- Выходит, что ж? Под патефон дак культурно, а под балалайку нет?
 - Тебе, может, и теперь балалайку надо? В музей пора сдать!
 - Вот и досдавались, что никто ничего сам не умеет. А начнут в городах снова на гармошке играть, и нашим надо будет. Модно!

3.6.1954.

«Заведующий Михалевским клубом тов. Бухарин даже не открывает его каждый день. Ни диаграмм, ни плакатов, ни таблиц, популяризирующих передовые методы в сельском хозяйстве и промышленности, здесь нет... С января 1954 здесь не было поставлено ни одного концерта. Кино в клубе не демонстрировалось четыре месяца.»

16.3.1955.

«Хорошо живетсЯ Нине Гулиной. В ее ведении находится Михалевский клуб, и управляет она им, как захочет... Тов. Гулина предпочитает проводить вечера в какой-нибудь компании, а не в клубе...»

- Ты погляди - прямо как проклятый этот Михалевский клуб! Кого ни поставят, все плохо!

- Да не в этом дело! Хотя чего ты в этот клуб принеси, хоть какую технику... Хотя какого человека найди, но если я буду ждать, что какой-то дядя или тетя меня развлекут, ничего не получится! Человеку должно быть интересно жить и работать, вот тогда и весело будет. Что я, сам без головы, что мне помогать надо? Мне всего и надо-то, может, чтобы было куда уйти от супруги - поговорить с умным человеком!

- Ну, брат, это тебе прежде дак к попу надо было, а теперь и не знаю. Где его возьмешь, умного?

1.5.1932.

«Попы не раз водили нас молиться на наши поля, святили, кропили их «святой водой», но от этого мы не видели повышения урожая. Мы увидели повышение урожая тогда, когда вступили в колхоз и стали работать по указанию агронома и агронауки, применяя машины, минеральные удобрения и т.п.

Ясно проработав и обсудив вопрос о религии, для чего она создана и кому от нее польза, мы решительно отказываемся от веры в Бога как в какую-то сверхъестественную силу и от религии вообще. Мы считаем преступной растратой времени - хождение в церковь, а поэтому отказываемся посещать ее. Мы создадим свой храм культуры, разумного отдыха, где выковывается культурный человек со свободной мыслью, направленной на строительство социализма».

4.5.1932.

«В день 1 мая все колхозы Михалевского сельсовета в знак протеста против попovsky праздника «пасхи» выехали в поле и работали от 6 до 9 часов утра. С 9 часов утра все в организованном порядке пошли на демонстрацию. У всех колхозников настроение бодрое. После демонстрации устраивался для всех чай и художественная постановка».

21.8.1963.

«На бригадном собрании колхозники деревень Варки, Кокуево, Подвигалово и других все как один высказались против справления Успеньева дня, который раньше справлялся 28 августа. Это самое горячее время. До гулянья ли теперь... Было решено провести праздник урожая 22 ноября. На этот день и приглашаем к нам в гости всех родных и знакомых. А в Успенев день праздника не будет».

...Как наивны мы оказались, полагая, что и душу нужно строить по новым экономическим законам! Как неосторожны... А она не смогла питаться лозунгами и призывами, умерла - тихо и незаметно в созданном нами «храме культуры и разумного отдыха»... И тогда мы стали вдруг бить во все оставшиеся колокола и кричать о жестокости и бездушии. Да о чем же кричали, когда и души-то, по самым смелым заявлениям, не существовало в природе?!

Светлая наша белокаменная церковь в Михалях! Березы вокруг хоровадом... И кресты на куполах целы - не нашелся, слава Богу, в свое время «крепкий мужик», чтобы сломить их, утверждая свою дикость!.. Но внутри все нарушили, что смогли: то мельница там, то склад. И жутковато, стыдно проходить мимо, словно все так и должно быть... На крыше деревца кверху вытянулись, даже из камня произросли! Сколько ж еще надо времени, чтобы вернулось все на круги своя и Богу было отдано Богово? Чья тут воля нужна? Или - желание?

- О-ой, а церкву-то открыть бы, дак старухи все бы пошли помочь почистить! Все бы пошли!

- Надо просить, чтобы склад отсюда убрали!

- Я давно прошу, да все не строят новый...

- Ой, и не верится даже... Неужели когда-нибудь можно будет с кладбища-то зайти в церкву да помянуть всех своих? Дай-то Господи!

- Можно не только по-вашему, по-церковному помянуть... Помянуть - это значит помнить. Это значит, ребятишкам рассказать, как у нас тут все было в прошлые годы, как люди жили, работали, как ошибались и каялись, словом, про все, и про хорошее, и про плохое, чтобы честно! А лучше бы дак не только рассказать, но и показать. В том же клубе... Вот выходит, например, на сцену девушка и говорит:

- Дорогие товарищи! Сегодня, в канун такой-то годовщины Великого Октября, мы хотим предложить вашему вниманию... живую газету! Каждая страница в ней - это эпоха нашей жизни. Это ее взлеты и разочарования, ее победы и ошибки. Сегодня нам особенно важно оглянуться назад и понять, где просчитались деды наши, где могли бы мы стать сильнее, честнее, справедливее...

- А потом кто-нибудь начнет с тридцатых годов, когда начала выходить газета:

«На выкатке сплавсектора на участке номер три работает бригада колхозников колхоза «Путь крестьянина» Михалевского сельсовета. 17-18 июня эта бригада без разрешения уехала вместе с председателем колхоза домой, уведя с собою рабочую лошадь. Взамен себя они прислали на работу школьников до 16 лет, которые работали до прибытия сплавкома два дня. Благодаря безобразию бригады не работали четыре лошади. За срыв работы на выкатке из-за гуляния на «троице», за эксплуатацию несовершеннолетних

бригада колхоза «Путь крестьянина» должна ответить. Колхозник».

- А почему подпись просто «колхозник?
- Потому что пули в затылок боялись, вот почему!
- Тихо! Дальше давайте...

«Давайте старые затасканные ветхозаветные песни заменим боевыми новыми!

«Железными резервами мы выросли везде,
Клянемся, будем первыми в бою, в строю, в труде.
Мы молодая гвардия, непобедимый стан.
Мы молодая гвардия рабочих и крестьян!
Над каждою трущобою наш вольный зов звенит.
Упорною учебкою грызем наук гранит.
Мы молодая...»

- Из статьи Молотова, опубликованной в нашем «Голосе стахановца» в 1937 году:

«...Нужна внимательность даже тогда, когда сигнал идет из чуждой среды и по чуждым нам мотивам. Если мы разовьем эту способность, способность по-большевистски вникать в эти сигналы...тогда мы быстрее будем исправлять наши недостатки и предупреждать происки многих вредителей и диверсантов».

- Частушки предвоенных лет:

«Много мы благодарим дорогого Сталина,
Стало нынче лучше жить, веселее старого.
Мы стахановцами стали, любим труд свободный свой.
Нас ведет великий Сталин, большевистский рулевой!
Жить зажиточно в колхозе - это дело наших рук.
Так сказал товарищ Сталин, наш любимый вождь и друг.
Из колодца вся деревня ключевую воду пьет.
Вся деревня про ударниц песни новые поет.
Мудрым Сталиным самим наше счастье ковано.
Никому не отдадим то, что завоевано!»

- Из заметки 1941-го года:

«За последние два дня от колхозников Михалевского сельсовета поступило для Красной Армии 44 овчины, 8 пар валенок, 6 ватных брюк, 5 шапок и другое.

Особенно активно прошел сбор теплых вещей в деревне Кокуево, колхоз «Культура». Колхозник Будилов Николай заявил: «У меня два сына находятся в Красной Армии. Не пожалеем и отдадим лучшие вещи!» Славный патриот сдал для Красной Армии пару валенок, полушубок и овчину. Старушка Анастасия Кудряшова принесла для сдачи ватные брюки и две овчины. Бригадир полеводческой бригады товарищ Крутиков сдал ватные брюки, шапку и две овчины. Жена мобилизованного Будилова Клавдия - пару валенок и

овчину.»

- Публикация 1943-го года:

«Я, инвалид Великой Отечественной войны Бабулис, проживаю в Михалевском сельсовете. Мне нужна была обувь. Получив разрешение, я сделал заказ в сапожную мастерскую артели инвалидов...Сняли мерку, пообещали выполнить заказ за два дня...Но ...увы! Пять раз приходил я из Михалей в Нею за ботинками, и все пять раз мне отвечали: «Еще не готовы!» В общей сложности я прошел около 200 километров и только на шестой раз мне принес ботинки завхоз детдома № 15. Но они оказались малого размера ввиду того, что не было большой колодки.. Так бездушно относятся в артели к инвалидам Великой Отечественной войны.»

- А еще говорят, что раньше народ был чуткий!

- Всегда всякие были! Были такие, что и прятались от войны. А другие вон стихи с фронта слали, как Кудряшов из Кокуева:

«Когда в России бой гремел, шла битва в Белоруссии,
Я и тогда прицел имел насчет Восточной Пруссии.
Я говорил, что мы еще пройдемся за границую,
Сводить расчет на их земле последний будем с фрицами.
Все вышло так! Дела идут. На карту нынче глянем-ка»:
На нашей улице - салют, а на немецкой - паника...»

- Ты думаешь, это он сам такое сочинил?

- А кто его знает? Тоже надо бы изучить, разведать...

- Кто будет-то? Только мечтаем!..

Бывает так, что стоит по осени черемуха, черная от ягод. И вдруг в один прекрасный день стаей сядут на нее птицы и - улетят. И останутся лишь голые кисти да ветки. Обидно! Но после драки чего кулаками махать?..

Как любили мы ребятишками запрыгнуть на ходу в дребезжащую телегу и трястись на ней, свесив босые ноги! Дед охлестывал легонько лошадь по боку, и она катила нас под гору, туда, где журчала студеная Марьиница. Мы поливали из ведра речной водой лошадиные бока и шаркали, шаркали их щетками. И лошадь благодарно подрагивала кожей и косилась на нас влажным глазом...

Что теперь осталось от этого? Заброшенный двор посреди деревни. И пол, и потолок в нем провалились, сломаны ясли, догнивает в проходе солома и валяются ненужные колоды, из которых когда-то пили лошади и коровы. Только ветер посвистывает бесприютно, гуляя здесь в любую погоду. И деревня в дверные проемы тоже кажется кинутой.

Но это не так! Даже в крайнем пустующем доме поселились люди - мы с дочкой. Пусть на время, а все веселей стало починовским. Идут мимо, заглядывают на наши окошки...Чужие планы на завтра никак не продлят твоей собственной жизни. И все-таки человек жив надеждой, что дни его прошли не напрасно, что дела его, став незаметным кирпичиком в фундаменте, будут держать то здание, что поднимется к небу позже...

Брожу я по деревне и вспоминаю, как строгал дед дранку для крыши.

Раз - и готово, раз - и готово! И вились стружки колечками, и играли мы ими, босоногие... А еще помню, как ковылял он с полным тазом меда в руках. И выставлял его на табуретке за калитку. И босые детские ноги со всей деревни обступали его. И пальчики лезли в сладкий таз снова и снова...

Легким видением идут впереди меня по деревне девчончи ноги, и колотят по ним, по голым, «косы» до пят, сплетенные из разноцветных ленточек... А потом с качелей на повети тонкие голоса поют надрывно: «Называют меня-а некрасивою-у, так зачем же он ходит за мной...»

У деревенских ворот, которые мы открываем и закрываем перед машинами, утром и вечером ребячье столпотворение: все ждут, когда для нас швырнут в песок благодарственные медяки из кузова. Если их напросеивать за лето много, то хватит на пряники. И можно будет угостить бабушку...

...А однажды вечером я не вышла к воротам. В те минуты, когда ребятишки счастливо визжали, роясь в песке, я сидела на повети. В ладонях моих лежала мертвая ласточка, птенец, выпавший из гнезда. Я разрыдалась над ним, а бабушка сказала: «Ступай на повить, на закатное солнышко, и дыши, дыши ему на грудку, на сердце... Авось поправится!»

Ах, бабушка, бабушка! Зачем я поверила тебе, что посильно человеку оживить умершее?! И вот дышу теперь, дышу на прошлое, надеясь на чудо... Но кто же его сотворит, кроме нас?..

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. НА РАСПУТЬЕ

Хитрый ход был у меня в том сценарии: в перерывах между разговорами со мной деревенские помогали мне...строить новый дом! Почему бы не помечтать о несбыточном, если другого выхода нет, - наш дом не вернешь, а пустующий продавать отказались...И я размечталась так, что все читавшие поверили в мои материальные возможности.

- Ну, когда переезжаем в деревню? - подначивали меня при встречах бывшие однокурсники; у них-то картины снимались одна за одной...

- Вот-вот, - обещалась я.

А сама меж тем второй год лежала в городской квартире без дела и глядела в потолок... Как же рано кончается все на свете! Ни работы, ни борьбы, ни любви - ничего мне уже не надо. Даже - покоя. И суета наша - бессмысленна. И исправить в этом мире ничего нельзя. А потому - стоит ли пребывать в нем после того, как ты понял это?.. Даже если это просто возраст сказывается и пресловутая планета Уран повергает меня и уныние, есть ли у меня силы, чтобы начать жить снова? Не я ли подавала столько надежд в молодые годы?! И вот -лежу, тускло глядя в потолок и бичуя себя последними словами. Доигралась! Все от меня отмахнулись, все обо мне забыли... А все потому, что пренебрегла я житейским напутствием отца: «Смотри, дочка, не залетай высоко!»

О, не дай же упасть, Господи! Ну, скажи, подскажи, что я должна делать, чтобы заслужить Твою милость?

Неужели, неужели, где накурено и потно,

Я могла когда-то петь и смеяться беззаботно?

Неужели, неужели и в моих глазах когда-то

Перевернуто читалось то, что проклято и свято?

За былые прегрешенья не отринь меня, о Боже!

Неужели...неужели я была ребенком тоже?

А теперь - перед Тобою, вся - покорность и страдание...

Неужели? Неужели не поможет покаянье?!

Сколько времени мне нет спасенья ночами - разрывает душу на части унижительный страх смерти. Хорошо тому, кто приходит к последней черте с чувством выполненного долга. Но познала ли я, что мне должно было исполнить на этом свете? Пока любилось - любила. Пока мечталось - мечтала. Пока писалось - писала. А теперь? Лежу целыми днями и сочиняю какие-то глупости...

Вот и все. Затих последний танец

У моей причудливой судьбы.

Я была покорна, точно агнец,

Даже если были вы грубы.

С высоты свободного паренья

Я гляжу теперь на вас на всех...

Что за ерунда? Дело не в этом, просто я...

...Не хочу поддаться суете

И бежать безумною под флагом.

Кто сказал что ошибались те,

Что сочли уединенье благом?

Кто сказал, что в яростной борьбе

Есть моя высокая планида?

Каждый выбирает по себе -

И король, и шарлатан, и гнида...

Да неправда все это, неправда! Рисуюсь сама перед собой. Рифмованная психотерапия! Попытка выкарабкаться из депрессии без посторонней помощи. А сама жду, жду, что кому-то понадобится, - со сценариями, с рассказами, с очерками, наконец. Неужели и для газеты я уже непригодна? Конечно, и для нее - в первую очередь. Что я могу сказать людям, если...

Мое молчание беременно словами,

Которых миру лучше не слышать!

Ведь все равно безудержное пламя

Внутри планеты будет полыхать,

И все равно проклюнутся наружу

Веселые наивные ростки...

Но пусть никто из вас не обнаружит,

Что все полно печали и тоски,

Что все полно бессмыслицы и боли,

Что искони торопится к концу,

Что вольные рождаются в неволе

И что безгрешный равен подлецу.

Зачем вам этих истин истязанье?

Они сродни загробному лобзанию...

Зато куда превыше всех познаний

Рассвета полыхающие раны,

И новые в стволах гудящих токи,

И первые восторженные строки

В устах у тех, которых не сломали,

У тех, кто только начал полыхать!

Мое ж молчание беременно словами,
 Которых миру лучше не слышать...
 Боже милостивый, но я ли не знаю, что на самом деле все не так, все
 гораздо светлей в этой жизни?! При условии праведности, конечно...

Боже мой, какая же отрада -
 Позабиться в девственном лесу!
 Боже мой, какая же награда -
 Паутинки шепот на весу.
 А когда в скрипучие ворота
 Постучатся, приглашая в тлен,
 Боже мой, какая же работа -
 Подниматься с ноющих колен...
 «Боже мой!» - мы повторяли с детства,
 Ничего не требуя в ответ.
 «Боже мой!» Испытаннее средства
 От печали не было и нет.

Что же я маюсь, что не нахожу себе места? Сказано же мудрыми - к
 сорока годам у всех бывает кризис. Просто исчерпаны обстоятельства. Про-
 сто звезды сдвинулись. И на черном-черном небосводе предстоит мне раз-
 глядеть, где же сегодня мое место в безграничности Вселенной. Не может
 быть, чтобы в ее бескрайности не нашлось уголка для знобливой души... Не
 может быть!

Где же ты, мое сердце, о чем стучишь на перепутье моем? Деревня?
 Деревня... Деревня!

Да, это я живу теперь затворницей.
 Да, это я презрела суету.
 И для трудов соорудила горницу,
 И друзей объезжаю за версту.
 Мне не милы давно забавы прежние,
 И не о них теперь моя печаль.
 Я полюбила пажити безбрежные,
 Работу, одиночество и чай.
 Январской стужей домик мой хоронится
 Под пологом сияющих снегов,
 И дикий зверь огнем его сторонится,
 И нет в него тропинки для врагов.
 А в ясный полдень лета быстротечного,
 Лесной обозревая оком,
 Я вспоминаю наши дни беспечные
 И долгие гуляния вдвоем...
 Минуло все. И домик скосбочился,
 И поседевшей стала голова.
 И верую в печальные пророчества,
 И знаю только горькие слова.
 Когда бы мы справлялись с невзгодами
 И сохраняли юношеский пыл,
 Как трудно было б примириться с годами
 И осознать простое слово «был».
 Но вот во мне угасли все желания
 И еле-еле жизни бьется нить.

И благодатны заморозки ранние,
И, кажется, не жалко уходить...

Не жалко уходить? Врешь! И желания угасли не все! Пока ты лежала, глядя в потолок, судьба вон какую штуку выкинула: тот парнишка, с которым снимали любительский фильм памяти Шукшина, а потом «Семеновну», взял да и поступил во ВГИК. Сказал себе - буду режиссером. Документалистом. Вот и все!.. Так что от кино, как от суммы и от тюрьмы, зарекаться нельзя. Вдруг это и есть тот самый «твой» режиссер? И почему бы снова не отправиться с ним в Ньюсеницу?!

...Сценарный замысел мой был прост. Ньюсенский хор стал бы путешествовать по деревням с концертами, а мы подглядели бы течение жизни. И по ходу сделали бы несколько отступлений в биографии военных вдов. Однако гладко все бывает только на бумаге. Снимать-то ведь надо конкретный клуб, конкретную деревню! И мы отправились их искать. День ездим, второй, третий. Беспокойство и раздражение нарастают. А фильм даже в сознании разваливается на куски: нет нерва, на который потом стали бы нанизываться все эпизоды. Без него же пленку можно тратить километрами - все полетит в корзину! Фильм - это не просто жизнь, это - отбор из жизни, это душа наша, боль. И зрительный образ этой боли должен стать точкой отсчета.

Всегда перед открытием чувствуешь крах, замечено. В четвертый раз впустую возвращались мы из поездки. Хотя чем-то полезным хотелось завершить день. И оператор остановил машину возле деревни, которую мы уже проезжали. Там он заприметил пару домиков, которые хотел поснимать на фото. Измученные тряской, мы согласились и пошли за ним следом.

Деревня живописно спускалась к реке, но была тревожаще пустынна. В двух домах мелькнули жители, но нас не окликнули. Мы медленно брели по высокой траве, точно околдованные. Живыми окнами глядели на нас дома, живое овечье блеяние стояло в воздухе - а душу непонятно холодило, как на погосте.

И вдруг кто-то из нас очнулся.

- Ребята! Да тут же замки...

Как пелена упала с глаз! Один, второй, третий крепкий дом стоял закрытый. Не заколоченный, чтобы не дразнить любопытных, но и не зовущий к себе: ни тропочки не протоптано, ни грядочки не посажено.

А потом появились и другие - схороненные под крестами досок на окнах, с развалившимися боками, со мхом на крышах...

Но самое страшное было в конце. Выходили уже к дороге, и вдруг - прочный запертый дом, а рядом, стена к стене, - другой, старый, осевший. Так возле ядреного боровика в лесу часто доживает, догнивая, источенный червями и склонивший голову родительский гриб.

У этого «родителя» была изрешечена крыша. Сквозь редкие балки падали вниз снопы света. А внутри...

Мы вскарабкались по гнилым ступеням и замерли.

На замшелом полу посреди пустой избы стояла... кровать. Обнаженная, железная, ржавая. И - ничего больше. Только лавка еще вдоль окна, а в углу слева - то, что было когда-то печью. Теперь остов ее малиновым цветом украшали стрелы иван-чая...

Дыханье у меня перехватило. И, сама не зная, почему, я молвила:

- Вот где надо кино-то снимать...

Лихие слова да вовремя сказаны. Они и решат потом все, когда наспоримся мы досыта и отоспимся.

А в те минуты было не до рассуждений. Бережно ступая по сопревшему полу, я добралась до лавки, села на нее и уставилась на кровать. Никто не говорил. Было чувство, точно нас зажало костлявыми руками прошлое и не выпустит, если мы оброним хоть слово.

И в этой тишине внезапно раздался шелест шагов по траве. Я выглянула в окно: согбенная старуха открывала калитку, направляясь к нам. Она ступала впереди себя палочкой уверенно, как оружием, и мы струхнули.

- Пошли!

- А чего мы делаем? Пускай. Украсть тут нечего.

Старуха меж тем доковыляла до шатучей лесенки и остановилась перед ней. Ее встревоженное лицо с толстыми очками уставилось на нас.

- Здравствуйте, - сказали мы, подходя к порогу и спрыгивая вниз.

- Здорово-те, - ответила старуха. - Кто и есть такие, не знаю.

- Да мы тут...фотографируем, - показали мы аппараты.

- А-а, - протянула она равнодушно. - А я подумала, не свои ли пожаловали. Грозилась летом приехать в этот дом, а все нету...

- А вы за сторожа здесь оставлены?

- Живу я здесь, вон в том дому, - она махнула палкой в сторону. - А в этом вот доме народилась.

- В этом?!

- Ну-у, - кивнула она на избу с кроватью. - Отседа и в замуж вышла...

- А зовут вас как?

- Серафимой.

Через несколько дней, когда в эту деревню мы привезем на съемки нюксенский народный хор, бабушка Серафима тоже сядет на траве среди зрителей. И будет улыбаться веселым песням, и печалиться над грустными.

Артисты дадут концерт прямо на лужайке, возле амбаров. Будут плясать «восьмеру» и «метелицу», будут передразнивать друг друга частушками.

И поймает камера лицо Павлы Платоновны Шушковой.

- В несколько смен мы пахали на тракторе, там же и спали, не уходили. Сменщица за руль, а я маленькая была, дак не ложилась на землю, я на тракторе прямо - голову на коробку скоростей, ноги скрючу и - сплю себе. И шум мне не мешал, ничего!

- Я на тракторе работала в ночную сменушку, Сильно стучает мотор, расстраивает девушку.

В эмтеэсе под окошком посадила тополя.

Это память того года, как на трактор села я.

Встань-ка, маменька, пораньше, посмотри на зорюшке:

Дочь на тракторе работает в колхозном полюшке...

- А жених? Жених был, конечно. Да ушел на фронт и не вернулся... Фотография?

После долгих сомнений она позволила нам заснять ее - старинную карточку с надорванным уголком...

Но судьба горькая не у нее одной из певиц. Вот крошечная Александра Михайловна Клементьева, Шурочка.

- А потом и объявили войну...И все лапты полетели, и скорей в квартиры все...Посадил он меня на колени и говорит: «Вот сейчас мне позвонят

из штаба явиться...Сколько ты можешь меня ждать? А я быстро так и отвечаю: «Хоть десять лет дождусь! Хоть десять лет!»

Остался на войне Шурочкин муж. Как надломилась когда-то ее душа, так и не выпрямилась. И сколько уж десятилетий перечитывает она фронтовые письма.

«Тебя прошу не оплакивать меня преждевременно. Нужно понять, что не один я нахожусь в РКК, и мы должны делать не так, как нам хочется, а так, как нам диктует, от нас этого требует Родина... Ты должна только ждать меня. Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наведут грусть...»

Ах, как ноет сердце, когда читает Шурочка это всему миру известное стихотворение!.. И на фотографии они с мужем - как пара голубков...

Подачливей судьба у Филинской - хоть сын у нее остался. Только всю жизнь плачет она через «Семеновну» о муже, и выплакаться не может!

- Ах, война, война, убила дролечку. Посажу ему на память елочку. Расти, елочка, да в зеленой траве, а мой миленочек лежит в сырой земле. А растет елочка, на ней иголочки. Поверьте, граждане, как жалко дролечки!..Он пиджак носил, рубашка белая, а он меня любил, я очень смелая!.. Я как заговорю об этом, меня сразу слезы...И думаю - почему меня Бог обидел этим, что я осталась сиротой такой? А таких много ведь, много такого нашего брата...Много я в молодости ее пела, эту «Семеновну». Я как спую, дак вроде сама себя утешаю этим... Не могу, каждый раз реву. И когда я помру, может, я уж тогда и думать не буду, какой он был у меня хороший, муж-то. Таких, я думаю, на белом свете нет!..Когда мне сон приснится, так я завтра хожу, не знаю - я, не знаю - нет. И схвачу себя, и рву себя, - какая, думаю, я несчастная, так получилось, так жизнь не сложилась... Проклятая эта война все сделала! Очень тяжело...

...Обе мы плакали тогда перед камерой. В который раз давала себе зарок сдержаться - и не могла. Снова и снова явственно сваливалось на меня горе миллионов, и слезы лились от бессилия. От бессилия помочь им чем-то. От невозможности отдельно рассказать про горе каждой - матери, жены, дочери, раненной войной. А ведь они все того достойны - быть выслушанными. И если волею моей - волею сценариста - выбраны для фильма только три вдовы, как смотреть мне в глаза другим, о которых я знаю? Эти трое дожили до того дня, когда затрещала возле них профессиональная камера. Но дождутся ли другие?.. И есть ли тогда выход?

А из головы не выходил трухлявый дом Серафимы. Ведь не зря же набрели мы на него!.. Разве в душах несчастных женщин не так же гуляет ветер и льют дожди, как в этом доме? Не так же сорваны с петель рамы и заржавлены койки? Не так же холодно и мрачно, даже если солнце пробивается сквозь дырявую крышу?

Вот почему и сели в этом мертвом доме на лавку три наших героини. А с ними рядом - бабушка Серафима, тоже вдова. И еще много других женщин из этих мест - столько вдов, сколько вместила старинная скамья. Будь она длиннее - со всей России горестных женщин усадили бы мы, со всей страны...

Сидели они, молча глядя в камеру, и слушали песню. Я всю ее приведу здесь, потому что мелодия каждому знакома: «На муромской дорожке...» А вот слова...Кто их автор? Неизвестно, как обычно в народе. Одно наверняка: автор-она, Военная Вдова...

- Не в поле ветер свищет - военный гром гремит.

Мое сердечко чувствует, что милый там убит.
 Никто так не сражался, как милый на войне,
 Он пули не боялся, все думал обо мне.
 Пришло письмо печальное - мой миленький убит,
 Убит, убит, израненный, среди поля лежит.
 Среди поля широкого, ничем он не прикрыт,
 Над косточками милого там ворон злой кружит.
 Была бы птичкой-пташечкой, слетала бы туда,
 Все косточки собрала бы, во гробик сложила.
 Сложила бы во гробичек, земле бы предала,
 Тогда б могилка милого красивая была.
 На том зловещем местечке трава растет пустырь,
 И там бы обязательно поставить монастырь.
 Надела б черно платьице, в монашки жить пошла.
 Без милого, любимого я счастья не нашла...

Уезжали мы из Нюксеницы по-настоящему - и в фильме, и в жизни. И Павла Платоновна, и Филинская, и Шурочка пришли нас на рассвете проводить. В который раз за много лет мы обнимались с ними, как с родными, не надеясь встретиться еще. И шум теплого заглашал последние слова... Старухи долго стояли на причале - отдельно друг от друга - и махали белыми платочками, пока мы не скрылись из виду...

«Бог пасет», - говорят старые люди, когда что-то удастся. Ни одного метра пленки не ушло в брак. Живут на экране голоса и лица.

А мне не легче! За кадром осталась судьба Серафимы, которая в тот миг, когда я открываю кран в городской квартире, смиренно тащит в гору свой бидончик с водой; которая не может вьюжной зимой выбраться из своего дома; которая сказала в наказ всем молодым: «За стариками пусть лучше глядят!»

И о любимцах своих не рассказали мы и десятой доли жизненной правды. Взять хоть Павлу Платоновну с ее уникальным голосом и безмерной памятью на причеты. А хоть раз за много лет поговорила она со мной без прибаутки, без дистанции? Ничего я про ее истинные чувства и думы не знаю, ларчик остался закрытым. «Эх, война, война, убила дroleчку» - и все.

А Шурочка? Несчастливая вдова? Народ судачит, что обманута она мужем. То под Берлином он погиб, то в Кингисепе... Нет у нее похоронки. Сбежал, говорят, от нее он, не захотел вернуться! А она насочиняла легенд и живет ими. И меня заставила в них поверить... Или все не так?

У той же Филинской не легче история. Написала я в газете, с ее слов, что у второго мужа «жена неладно сделала, он и не стал с ней жить». А потом пришло в редакцию письмо:

«Я являюсь дочерью вот той жены, что, вы пишете, сделала неладно. Вы заделали очень большую старую рану. Когда отец от нас ушел, мне было 15 лет, поэтому кое-что понимала. За матерью никаких провинков не было. И если бы она захотела что-то сделать, то он бы ее убил. И так не раз до полусмерти уколачивал. А с Филинской он до развода гулял год. Вот они «Семеновну» и выпевали! А война еще не кончилась... Отец с Филинской по складу и слабостию пара, оба любят петь и плясать, громко пожить на народе. А вот мать, тихая, работающая, не очень уважала все его вечеринки... Если вы мне не верите, пусть эта штучка Веселова

приедет выверять. Я прошу, чтоб вы в газете обратно написали, что его жена не не ладно делала!»

Съела, «штучка»?! Спряталась тогда в ответе за редакторскую подпись: *«Н.Веселова упустила из виду, что есть у этих событий и другая сторона, за которой - другие судьбы, и о них она ничего не знает. Благодаря вашему письму журналистская оплошность стала явной, и я думаю, что это послужит хорошим уроком не только автору очерка, но и всем молодым журналистам...»*

Вот где лежат истинные трагедии - на перекрестке судеб! Но я всегда по-детски уходила от них. Не так разве?

Тогда какая же правда может быть в моих делах - в том, что я пишу, что снимаю? Слезно-сусальная? Но такой все давно сыты, накушались за десятилетия. Сейчас нужно Истинное Слово, Слово Правцы, Мудрости. И если мне оно не дается, то не лучше ли помолчать? Ведь никто не виновен, что не шли в печать в эпоху застоя мои рассказы, а в эпоху гласности не идут в производство мои сценарии. Никто не виновен, кроме меня. Кто Говорит, того всегда слышат...

А мне стоит всерьез подумать, как жить дальше. Может, и вправду лучше спрятаться в деревне и замереть. И жить нормальной человеческой жизнью, не уча других. Козу доить да растить картошку, радоваться простым вещам - солнцу, ветру, дождю и снегу, первой траве и последнему листу, редкому письму и улыбке прохожего. Нажилась я в свете!

«Не залетай, дочка, высоко...»

Вот и падаем...

Три лета мы приезжали в пустой дом постояльцами. Три лета пытались в мозгу переиначить судьбу, как кубик Рубика, - а цвета все не совпадали, не исправить было сделанного раньше!

И вдруг Горбунов передумал:

- А покупай-ка дом! Недорого продам. Дочка последняя подросла, уеду, говорит...А чего он зря стоять будет?

У меня чуть ноги не отнялись от счастья! И пока не оформили бумаги и не рассчитались, я все боялась: что как спохватится он, вспомнив нашу историю?..

А потом мы принялись за дело. Перво-наперво выгребли с дочкой всю чужую грязь. С полатей, из шкафа, из чулана, из светелки, с моста, с чердака. Тракторную тележку горой нагрозили! Горбунов едва сдвинул ее с места. Уволол и свалил в дальний овраг. Прощай, прошлое! Только и останется от него дата постройки дома, выцарапанная с улицы над окном: 1929.

Мы оклеили потолок белой стороной «застойных» плакатов, призывавших повышать производительность труда и экономнику делать экономной, На кухне завесили стены картами - чтобы чувствовать себя не хуторянами, а частицей человечества. Настелили половиков. Сшили занавески. Повесили на стенку портреты деда и бабушки. И стали ждать гостей.

За все наши прошлые приезды бывала у нас только кухня моя Тамара - дочка тети Вали. Почему из всех родных тянуло в деревню только меня и ее? Загадка. И в юности Тамара чаще других бывала у стариков. Все полы намывала - такой я ее запомнила. И теперь, чуть выходной, - на автобус и к нам, подальше от своей столовой. Благо муж покладистый.

- Я хоть отосплюсь в тишине!

Что сделаешь, тоже не молодеет...А отдохнет, и начнутся воспоминания. Я прерываю их, чтобы не бередить душу. Но вижу, что каким-то чудом в Тамаре неназванно живут и дед, и бабушка. То вдруг скажет она со стариковской интонацией:

- Ну что, желанное мое?

И защемит сердце.

То вдруг побежит за водой, вперевалочку, а память моя так и закричит: это мать ее, тетя Валя, так поторапливается, а уж она по походке - все деревенские - свидетели! - вылитая бабка Лидия! Да и с глазами у тети Вали теперь то же самое - катаракта.

А однажды вечером за чаем Тамирина дочка Оля склонилась над блюдцем, откусывая кусок, - и встала перед моим взором фотография из далекого прошлого: бабушка у нас в Ленинграде, дожидаясь операции на глазах, склонилась с куском домашнего торта... Тот же платок домиком, такие же очки теперь - у Оли, те же движения! Разве не чудо?

- Пойдем хоть огородец дедов поглядим! - просит Тамара.

- Нет, - твердо стою я. - Когда-нибудь...

- Как не хочется отсюда уезжать... - стонет Тамара, собираясь на работу.

- Ольгу оставляй мне!

И Ольга остается, чтобы вместе с моей дочкой впервые встречать деревенские рассветы и провожать закаты... Если мы не можем что-то вернуть себе, то мы можем подарить это детям.

...А однажды навестил нас на машине мой двоюродный брат Борис.

- Колеса сами завернули, - сказал, будто оправдываясь.

Прошел в избу, похвалил порядок и оттуда только глянул на наш прежний, дедов дом.

- Не могу, как увижу батьковы наличники! ..Ты хоть знаешь, что это он делал?

Дядя Геннадий покойный делал? Который по полу катался, когда отец мой приехал его проведать? Знала, что он мастер на все руки, а о наличниках - нет...

- Да-а, - закулив, сидел задумчиво Борис. - Сдала наша деревня, опустела. Я ведь лет десять сюда не заезжал...Ну, точно, с дедовых похорон!.. Заметно все изменилось.

- Ну, продолжал он, потрянув таким же белым, как в детстве чубчиком, и мне вдруг показалось, что он опять вспомнит про овец, которых пас без меня...- А вы чего сюда вдруг надумали? Люди из деревни в города едут, а вы как-то не по-человечески... Ты чего вообще-то в жизни добиваешься? Никак не могу понять. То писала чего-то, потом училась опять...Все ищешь свое место в жизни? А, сестренка? Не долго ли?

Я не обиделась на него, но и не ответила: знала бы я сама, чего хочу! Перевела разговор на Борисовы дела. Он нехотя, но поведал, что отказался от начальствования в лесопункте.

- Там, понимаешь, никакой перспективы, лес весь вырубил. Все плангнали, а где дальше людям работать, не думали. Я восставал не один год, да меня быстренько на бюро райкома пригласили...Сейчас там другой плоды моей деятельности пожирает: и спорт у них на первом месте в районе, и технику передовую получили, которую я дожидался...А я вот нервишки

подлечил и на лесозаводе теперь. Там потише, а на конфликты я сам теперь не полез. Все равно ничего не изменишь.

- А перестройка?! - спросила я нарочно.

- А ты в нее веришь? - тяжело глянул он мне прямо в глаза. - Что-то у нас я ее ни в чем не вижу. Может, ты разглядела, а, журналист? Вы на это дело прыкие!

- Не обзывайся, я давно не в газете, - нехотя ответила я.

Что я могла разглядеть, копаясь в доме да бегая за грибами? Мелькнула на колхозном сенокосе, пофотографировала людей, сделали с дочкой стенд для правления. Народ ходит глядеть, довольны. А мне стыдно: вроде как заискиваю я! Так и вспомнился Василий Макарович с его откровениями:

«Те, кому пришлось уехать /по самым разным причинам/ с родины /понятно, что я имею в виду так называемую «малую родину»/, - а таких много, - невольно несут в душе некую обездоленность, чувство вины и грусти. С годами грусть слабеет, но совсем не проходит. Может, отсюда происходит наше неловкое заискивание перед земляками, когда мы приезжаем к ним из больших «центров» в командировку или в отпуск. Не знаю, как другие, а я чего-то смущаюсь и заискиваю. Я вижу какое-то легкое раздражение и недовольство моих земляков чем-то, может, тем, что я уехал, а теперь, видите ли, приехал. Когда мне приходится читать очерки или рассказы других писателей о том, как они побывали на родине, я с удивлением не нахожу у них вот этого мотива: что им пришлось слегка суетиться и заискивать. Или у них этого нету? Или они опускают это потом, вспоминая поездку?... Не пойму. Я не могу опустить это...»

И я не могу опустить. Мне важно понять, у меня-то откуда этот стыд? Ведь не я уезжала - отец мой уехал. Тогда, когда после войны начался голод. В газетах про это прямо не писали, но умный и между строк читал. Иначе с чего бы вдруг в районной газете стали мелькать заметки о септической ангине и борьбе с ней? Болезнь эта, писали, случается от зерна, перезимовавшего под снегом. В нем скапливаются яды, которые не разрушаются ни при какой обработке... Если человек заболел, то в первые дни может быть жжение в горле, тошнота, рвота, а потом болезнь уйдет в скрытый период на три-четыре недели. И тогда уж ничем не можешь: внезапно поднимается температура, станет трудно глотать, и откроется из носа и горла обильное кровотечение...

Вы бы отказались спасти своего ребенка, если бы ему грозила такая смерть? Если бы где-то брезжила надежда на лучшую жизнь?

Вот и бабушка моя проводила моего будущего отца в Ленинград. А уж что они при этом чувствовали... С Шукшиным то же самое было, а ему я верю.

«Мне шел семнадцатый год, когда я ранним утром, по весне, уходил из дома. Мне еще хотелось разбежаться и прокатиться на ногах по гладкому, светлому, как стеклышко, ледку, а надо было уходить в огромную неведомую жизнь, где ни одного человека родного или просто знакомого. Было грустно и немножко страшно. Мать проводила меня за село, перекрестила на дорогу, села на землю и заплакала. Я понимал, ей больно и тоже страшно, но еще больней, видно, смотреть матери на голодных детей. Еще там оставалась сестра, она маленькая. А я мог уйти. И ушел».

Другой вопрос, что дал им этот уход. Отец мой всю жизнь отгорбатился на заводе и заработал силикоз и инвалидность. А дружок его Митька Шутов остался крепостным в Починке - не сумели ему раздобыть нужную для отъ-

езда справку. Стал Митька комбайнером, лучшим в области, орденов напoлучал. Ребятишками мы катались с ним в бункере, и нам на головы рекою лилось спелое зерно. А потом, незаметненько, состарился он за работой и заимел хронический бронхит. Вся разница в том, что отец мой надышался в городе пыли металлической, а друг его в деревне - крестьянской. Отец с романтичностью ветерана не может покинуть родимый цех и бегаёт на побегушках, задаром исполняя то, чего не станут делать молодые. А друг его слез с комбайна и на пенсионном досуге привел в порядок брошенный трактор - в деревне сгодится всем. Все лето он пропадал с женою в лесах - пенсионерам дали покосы на неудобьях, а там больной не скоро управиться. Просить же о других наделах гордость не позволяла. Да и кого просить? Сами должны понимать...

Лет двадцать назад, когда дочь дяди Мити вернулась из Москвы, срезавшись на вступительных экзаменах, я дню три пряталась у деда в доме, чтобы не попасться ему на глаза. Мне казалось, что он сорвет досаду на мне, выкрикнув: «Это вы, городские, бойкие, и все там для вас! А наши дети чем виноватые?»

А теперь, взрослой, как к близкому человеку, ходила я в его дом - звонить по телефону. Брала на прокат нужный в хозяйстве инструмент. И не кто-нибудь, а дядя Митя отбивал нам косу и чинил грабли.

Прежде с таким делом все ходили к нашему деду.

Отец мой не встречал друга тоже с похорон деда. Вообще в деревню не заглядывал: выходил с автобуса - и сразу к кладбищу, а оттуда опять на автобус... Оформив дом, мы с дочкой официально пригласили его. И он приехал.

Митя Шутов в то время лежал в больнице с приступом астмы.

- Вот, - растерянно развела руками жена его, полная Лиза-копешка, не зная, конечно, что домой муж уже не вернется. - А ты, Павлик, стал совсем как дедко Коля вылитый! Даже чудно. - Она поразглядывала ввалившиеся щеки отца. - И ходишь так же... Может, заглянете ко мне? Или вы чего попросить хотели?

- Хотели, - сказал отец. - Нет ли у Мити длинной лестницы?

- Да вон, по-за сараем, - проковыляла во двор Лиза. - Берите! А чего вы надумали?

- Да дочке вот помочь надо с крышей, - кивнул отец на меня.

- Ну-ну, - согласилась Лиза.

Отец латал драночный фронтон не один - вдвоем с братом Николаем. Тот нарочно приехал из Донецка, чтобы повидаться и с ним, и со мной. Войдя в мой дом, сразу по-хозяйски оценил все: на чердак заглянул, в подпол слазил, светелку проверил. Наметил для себя план необходимых работ. И сказал, закулив:

- Ладно, Павловна. Дом крепкий. Нашего лучше... Тот уж совсем накренился... - он проморгался, сняв очки, и снова водрузил их на орлиный нос. - Обживай!

- Вот только сада нашего жалко, - буркнул отец и тоже засмолил папиросу. - Такого ни у кого не было...

Я вдруг свежо и радостно вспомнила запахи той «бунинской» осени, в которую мы с дядей Николаем последний раз собирали с земли душистые дедовы яблоки. Вспомнила, как после похорон бабушки вместе с ним затянули мы старинную «Лучинушку». Вспомнила о своем сочувствии к нему, которое

я неумело изложила в своей первой книжке.

«Разговоры о детях он всегда воспринимал виновато: до сих пор не свикся с судьбой. Нет, никогда эта виноватость не оборачивалась презрением к жене. Не смел он обидеть ее, и без того обиженную Богом! Нежность к ней имела трагический оттенок и лишь возрастала оттого, что он честно и до конца пил вместе с нею горькую чашу одиночества. Однажды он подумал, что они с женой похожи на пчел, которых обманули, - поставили перед летком улья сахарную водичку, и вот они пьют ее, принимая за нектар, ожидая меда, а на поверку выходит, что все пустое, все зря, без смысла. Неужели так?»

Ему часто снился один и тот же сон. Будто едет его жена верхом на возу соломы. Воз огромный, переваливается с боку на бок, как сытая корова, и от этого качается перед глазами вся разноцветная земля. И вот она едет, едет и никак не может доехать до широко распахнутых ворот в их деревенский двор. Все время едет, едет - на одном месте...

...Жалела Клавдия брата. Ей маятно думалось, что томится он на чужой стороне, рвется на родину, и если бы не жена... Смешала она все в его жизни - раздобрела, раздалась вширь, а самого главного не сделала - не родила. С тоской думала об этом Клавдия, и так, и этак поворачивала свои мысли, а выходило одно: вокруг дети, внуки и правнуки, как эхо, на разный манер продолжали ее отца и мать. И только Николаев голос обрывался, гложунил вдали, устав метаться безмолвно».

Писала я это, думая больше о красоте слога, нежели о прототипах. Жену дяди Николая назвала другим именем, чтобы уж никаких претензий.

А она вдруг смертельно обиделась. Сначала на тетю Клаву за ее тайные мысли, а потом, поразмыслив, на меня как их автора. От дяди я получила письмо о «разрыве навсегда наших дипломатических отношений».

И все равно каждый год по весне я вспоминала его с любовью и благодарностью - как бывшего фронтовика. И поздравляла с Днем Победы мысленно.

А однажды летом зашла ко мне в деревенский дом баба Настя - самая старая жительница Починка. Луку принесла, картошек, молока банку.

- Как хоть вы тут? Не оголодали? Молоко-то переночевалое, но из холодильника, ешьте!

Пристроилась на лавке, поохала над фотографиями стариков.

- Как живые!.. А про тетку-то Лидью никак мне не забыть. Как прибрела она ко мне перед смертью самой. Прибрела, села и молчит. И молчит, и молчит... Да чего хоть, говорю. А она как заплачет... Так и ушла, ничего не сказала, чем он ее забил. Так с собой и унесла в могилу. А я все об этом думаю, думаю... Да и к нему-то потом заходила. Сидит зимой в ватнике, дрожит, а печка нетопленная. И похлебать нечего, один чай... Главке я сказала тогда: уморите старика, забирайте на Нею!.. Надулась она на меня, и сейчас дуется, а чего? Охота ли нам, старым, дом покидать? Да уж нечего нас слушать. Старый что малый... Не ездит Главка к вам-то сюда?

- Не-а...

- Жалеет своего дома, жалеет. Да чего теперь... А я вот чего все хочу у тебя спросить. Спомню - и опять забуду. А теперь вздумала и давай побегу... У Николая-то как жена в Донецке? Помню, привез он ее с войны-то сюда, а батька твой нос сморщил - не понравилась! Ну-ка - лапти не умеет

обувать, его заставила!.. На сенокос ее с собою возьмут, а она серпом-то не умеет и знай зубами рвет соломку. Что ты, говорят, зубы спортишь! А она в ответ: чем же мне тогда заняться? Может, попеть вам? И поет, поет... Тоненькая была, капризная. Но тетка Лидья Николаю сказала: привез - не обижай! А он и говорит: я поклялся ее никогда не оставлять. Она мне жизнь спасла; выходила меня!.. Вот так вот. А сама-то, вишь, несчастная оказалась. Ее девчонкой еще немцы поймали, она воду несла на коромысле, а они схватили - только ведра сбрыкали... Вот почему и не рожала...

Вспыхнула я от того рассказа и долго ходила оглушенная.

Хотелось тотчас письмо в Донецк написать: простите ради Бога, только почему же мне никто о таком не рассказал?!

А ты спрашивала? - отвечала я сама себе. И понимала, что никогда туда не напишу...

Жизнь сама все разрешила. Схоронил дядя Николай жену. И приехал в деревню, чтобы помочь мне. Высокий, красивый, совсем не постаревший. Ничем обидным не помянул прошлого. «Сама все понимаешь... А о покойных плохо не говорят».

Как не хватало мне общения с ним! Все-то он знал, все помнил о деревне, о прежних людях. Обо всем судил здраво, логично.

Отец мой рядом с ним - как уса́тый мальчишка, слушал, кивал.

- Тебе бы не шофером - министром надо было служить!

- Отслужили, Пааилик! Пора закругляться. Вот к старикам еще в лесок сходим простимся, и все, больше здесь не бывать...

- А ко мне приезжать?! - воскликнула я.

Дядя Николай не ответил.

... Уезжали мы в сентябре, когда уж начал облетать лист.

Обжитой за лето дом оставался зимовать один.

А весной меня снова зажала хандра. Разосланные сценарии мертво лежали на студиях. Я лежала в Вологде и ждала, ждала...

«А время идет... - подсказывал мне шукшинский Серега Духанин, ощупывая сапожки. - И так и подойдешь к той ямке, в которую надо лечь, - а всю жизнь чего-то ждал. Спрашивается, какого дьявола надо было ждать, а не делать такие радости, какие можно делать?»

Нет, не время решать, убеждала я себя. Через два года закончит дочка школу, мы свою баньку в деревне выстроим, вот тогда...

А в душе нарастало ожидание катастрофы. Радио и газеты пугали, что обострились экологические проблемы, упала нравственность, выросла преступность. Я не имела сил бороться с этим. Пускай разбираются они, молодые. Мне бы только спрятаться в глуши, куда пока не докатился шквал бед, и взвесить, что я еще успею, а за что уже не стоит браться. Зрелость тем и отлична от молодости, что вынуждена выбирать.

Итак, в газетах и на студиях выживут без меня. Славный город Вологду защитят патриоты - у них нет иной земли. А у меня...

Она стояла перед глазами, деревня! И я впервые ясно осознала, что родина - не та местность, где выписано тебе свидетельство о рождении, а желанная земля, в которой тебе хотелось бы быть похороненным.

Я давно знала, что хочу покоем на михалевском сосновом погосте, где корнями деревьев переплелись друг с другом мои предки. Я хочу, чтобы на простом кресте надо мною написали мои строки, рожденные в тоскливой

ночи:

«Что вы, глупые птахи, распелись над песчаным моим бугорком? Знаю я: так же зелены ели и колышутся под ветерком. А вон там, далеко, за рекою, так же свежее дыханье лугов и таким же овечьим покоем легки контур ночных облаков. Что могло измениться с уходом незаметной обычной меня? Так же стадо прошествует бродом среди томного жаркого дня, и потом ввечеру на поляне будет юность томиться в тоске, а луна - как лампада - заглянет к тем, чья жизнь уже на волоске... Что ж вы, птахи, опять раскричались, словно все повернулось вспять? Дни мои безвозвратно промчались. Дайте спать!»

Мне хорошо будет, если внуки мои и правнуки, вслед за многими поколениями, повторят слова высочайшего заклинания: *«Чаю воскресения мертвых!»*

Мне покойно будет, если они, стоя на кладбище в «нашем», родовом углу, они, знающие о жизни то, чего мы и вообразить не смели, они, *«со всеми своими институтами и книжками»*, так и не смогут, глядя на холмики, ответить на простой вопрос: *«кто из нас прав, кто умнее?»*

...Что ж я не еду так долго к желанной земле? Городские удобства боюсь потерять? Неправда, я повсюду могу жить... Неужели томит предвозвестие? *«Больно будет падать, доченька!»* Я не хотела падать! *«Все - из деревни, а она - туда... Это здорово надо нагрешить, чтобы сбежать от людей!»* Неужели молвы я боялась?!... А, быть может, гордыня заедала? Я ведь не только себя собиралась спасти - я хотела собой «осчастливить» деревню! Ну-ка, городская снизошла, понесет культуру в массы!.. Красиво, черт побери!

Вместе с тем я готова была «упасть» до деревни - не принятая с моей болью в других местах. *«Пусть им же будет хуже!»* Я хотела уже не писать, а делать что-то сама, лично. Уж не совсем ведь я бездарь, поднабралась от людей, пока моталась по свету. В родных краях, никуда не торопясь, можно такое завернуть! Тут и музей тебе, и клуб, и экология... Никто, кроме меня, там не сделает это по-настоящему! Быть может, тогда вот это и есть мой последний не отданный долг? Мое сегодняшнее предназначенье на земле?..

Да, так. Но и втуне пропадать с ним не хотелось. *«Падать»*, спасая гибнущую деревню припарками.

...И вот тут собрался Пленум по селу.

- Надо подумать о том, чтобы и горожанам, которые желают этого, дать возможность вернуться в деревню, - говорилось на нем. - Это дело огромной государственной важности!

Государственной?! Оттого, что я оказалась внезапно нужна, да еще в таких масштабах, я ощутила прилив сил и энтузиазма, свойственного в прошлом нашим дедам.

- А-а, - сказала я себе. - Была не была... Еду. Еду!!

И мне снова захотелось жить!

Вот тогда я вдруг услышала первую фразу этой длинной исповеди:
«Еще вчера мне не хотелось жить...»

Я, не веря себе, села за стол...

... и теперь вот заканчиваю это странное произведение. За те дни,

пока я писала, многое изменилось. Слякотная весна кончилась, и появилась трава, зацвели деревья. Жизнь обрела новый, извечно возрождающийся смысл, который не обозначить словами. И душа моя вернулась ко мне после долгого отсутствия вполне способной опять существовать в городе!

Робко подступилась ко мне и дочка:

- Может быть, я все-таки закончу десять классов здесь?

- Поглядим, - уклончиво сказала я.

Стыдно стало от догадки, что душевная смута послужила лишь тому, что я привела в порядок свои мысли и выплеснула на бумагу застарелую боль. А дальше?

Все равно ведь я не смогу без деревни. Но и возврата настоящего быть не может: я не заведу корову, не возьму в аренду землю. Я должна быть свободной, чтобы в любую минуту сорваться, если потребует того дело. А дел на свете для меня еще найдется!

А дочка...Захочет ли она укорениться там, замыкая тот зряшный - или не зряшный? - круг, который начался отъездом моего отца из деревни? Сможет ли? Или тоже подхватит ее беспокойный ветер странствий, и будет она метаться по земле в поисках того, чего нет нигде в целом мире и что есть в одном-единственном месте - на родине дедов?..

Если бы знать...

1972- 1989 годы

К ЧИТАТЕЛЮ

Если бы знать...

Если бы знать, что ближайшие годы так стремительно переменяют все вокруг - и обстоятельства жизни, и людей, и представление о ценностях этого мира! Если бы знать - наверное, многое написалось бы по-другому, и скорбная нота повествования, увы, лишь усилилась бы. Но вряд ли стоит менять что-то в созданном - ведь нельзя переиначить то, что прожито, - в действительности ли, на бумаге ли. А все дни, следовавшие за последней точкой в этом тексте, были не менее достойны описания, нежели только что представшие перед вами. Но кто даст книжную жизнь новым страницам? И нужно ли продолжение моего труда вам, дорогие читатели?

Ваши отзывы направляйте, пожалуйста, по адресу:

157340 Костромская обл. Нейский р-н, п/о Михали, дер. Починок, Нине Веселовой.

ГОДОВЫЕ КОЛЬЦА . СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА.....	2
ВСТУПЛЕНИЕ.УРАНОВЫЙ ВОЗРАСТ.....	4
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЗАВЯЗЬ.....	5
Зачатие.-Немилая родина.- Детство.- Задание.-Записные книжки.- Письмо.- Альбом.- Испытание.- Слезы.	
ГЛАВА ВТОРАЯ. ЖИЛИ-БЫЛИ.....	13
Мороз и солнце.- Крестьяне.-Агафья.- Телятник.- Решето.- Ведро от «журавля».- Мельница с крестом.- Санный обоз.- Хлеб на снегу.- Ликбез у печки.- Кино на ощупь.- Наряды.- Чай после бани.- Сон о фонтане.	
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ.....	30
Неоконченная повесть.-Фиаско.- Кино и проза.- В деревне с мамой.- По воду.- Пастухи.- Сосновый логост.- Смех сквозь слезы.- Московское чудо.- Мама, милая мама...- На карачках.- Дубликат- Тайники всевышнего.	
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ЦАРИ УМИРАЮТ.....	48
Коровы у озера.- Закулисные интриги.-Телеграмма.-Душа в душу.- Предводитель Клава.- Поминки.- Литература на полатах.- Отцы и дети.	
ГЛАВА ПЯТАЯ. КАЛИНА КРАСНАЯ.....	63
Благословенная земля.- На связи - Шукшин.- Они о нем.- Столик на двоих.- Быть честным.	
ГЛАВА ШЕСТАЯ. МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ.....	69
Бунинская осень.-Кабы на цветы не морозы.- Яблоки.-Переехал я, друженька, волок.- Боров и устье.- В желанной шкуре.- Помрачение.- Побег.	
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. КАЛИНА ГОРЬКАЯ.....	84
Предчувствие.- Сестры.- Крушение мира.-В обнимку с собакой.- Жил человек.	
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. РОЗОВЫЙ ГЛОБУС.....	98
Материнское горе.- Драгоценные конверты.- Под перестук колес.- Дни и вечера.- Голоса над горою.-Горечь.- Этот розовый глобус.	
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. «ГРУСТНИКА».....	106
За подписью Сталина.- «Ромашкино» поле.- Дюжиха.- Прощание.— От отца и матери.- Женская доля.	
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК.....	113

Командировка.- Лицо.- Жир Мартика.- Высокая.- На реке.- Больница - Покаяние.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. БЛИЖЕ К ВЕЧНОСТИ.....121
 Фотографии.- За станком.- Эстафета поколений.- Лен.-Болезнь.-Одиночество.-Согнутая.- Юные души.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. НОЧНЫЕ АНГЕЛЫ.....129
 Дорогое имя.- Книги.- Доколхозные люди.- Грустная дума - Очки.- После дождя.- Лес.- Баня.- Пение.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. ЯГОДИНОЧКУ УБИЛИ.....136
 Звонящий шатер.-В заброшенном клубе.- Мы с товаркою - «Семёновна».- Съёмки.- Карточка.-Боль.- Неотступная мелодия - Хватит о войне!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. НА ВЕСАХ ВСЕЛЕННОЙ.....145
 Тупик.-Мои колени.- Малинка.- Шагреневый кусок.-Ошибка - Выход.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. ПУСТЫЕ ГЛАЗНИЦЫ.....152
 В доме с мышами.-Тайны старой подшивки.-Кустари.- Расправа - Энтузиазм.- Изба-читальня.-Церковь.-Вести с фронта.-Мертвая ласточка.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. НА РАСПУТЬЕ.....163
 Стихотерапия.- Режиссер.- На натуре.-Серафима.- «Не в поле ветер...»- Сомнения.- Отчаяние.- Свой дом.- Ровесники.- Чужая судьба - Хандра.- Глупые птицы.- Пленум.- Возрождение.

* * *

ВЕСЕЛОВА Нина Павловна
ГODOVЫЕ КОЛЬЦА: роман (I часть трилогии)

Вологда Издательство "Свеча" 1997
В оформлении использованы фотоснимки из
личного архива Н. Веселовой
Тираж свободный

















